

СИБИРСКИЕ ОГНИ



4/2024

На первой странице обложки: **Валентин Шипило. Воздух Алтая.** (2013)



Валентин Шипило. Маршрут детства. (2022)



Валентин Шипило. Подарок сентября. (2023)

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

И. о. главного редактора:

М. В. ХЛЕБНИКОВ

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
А. Н. Тимофеев (Москва)
А. Б. Шалин (Новосибирск)
М. Н. Щукин (Новосибирск)

Михаил Косарев
ответственный секретарь

Лариса Подистова
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Татьяна Седлецкая
редактор отдела общественно-политической жизни

Евгения Акимова
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Л. Р. Юкляева
Верстка: С. В. Колотилов

4/2024

Содержание

ПРОЗА

Иван ПЫРКОВ. Беклемишевский остров. Повесть.	3
Денис ГЕРБЕР. Я никогда не видел горящего города. Рассказ.	72
Тимофей НИКОЛАЙЦЕВ. Сломанная Челюсть говорит от имени всех. Рассказ.	83
Игорь ЯКОВИЦКИЙ. Мир в собачьих лапах. Рассказ.	106
Матвей МАЗУРЕНКО. Случайное число. Рассказ.	126

ПОЭЗИЯ

Алена БАБАНСКАЯ. Сказка про меня. Стихи.	68
Вера ОХОТНИКОВА. Пихтовничек. Стихи.	136

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Сергей МАКСИМОВ. Сибирский каприс.	139
<i>Народные мемуары</i>	
Марина ЧЕРНЫХ. Харьковский дневник — 2014.	157

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Валерий ИВАНЧЕНКО. Будущее в головах. <i>Типология заказного рассказа.</i>	169
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ. Вторая профессия и вторая книга. <i>О книге Павла Арсеньева «Литература факта и проект литературного позитивизма в Советском Союзе 1920-х годов».</i>	178
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Валерий КОПНИНОВ. Убрать все лишнее... <i>Штрихи к портрету художника Валентина Шипило.</i>	183
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Авторы номера	191
---------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

И. о. главного редактора, и. о. директора ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни» М. В. Хлебников

Иван ПЫРКОВ

БЕКЛЕМИШЕВСКИЙ ОСТРОВ

П о в е с т ь

*Посвящается памяти моей мамы —
Нэли Даниловны Васильцовой*

Часть 1. ДЕБАРКАДЕР

На б́арже

Поначалу я даже не поверил, что такая огромная, неповоротливая посуда поплывет по Волге. И мне было боязно, признаюсь, ступить на трап и сделать первый шаг. Но все торопились, шли весело, и уверенность пассажиров, их какая-то взволнованная приподнятость приподняла и меня над трапом. И вот я уже нерешительно пробую ступить на самую настоящую пассажирскую баржу. И чуточку уже горжусь начальным своим робким шажочком.

Еще бы: я на волжской барже и вот-вот мы отправимся на неизведанный Зеленый остров. Первый раз в моей жизни! А людей-то вокруг невидимо, скамеек не хватает для всех, и многие просто весело размещаются на брусчатом настиле. Я заметил, что кое-где между досками прорастают зеленые травинки. Видно, «старушка» бороздила реку не один десяток лет.

Палуба баржи широченная, как спина былинного богатыря. От нее веет надежностью и основательностью. А еще слышать, как она дышит, мерно приподнимаясь и опускаясь, следуя за волжской волной.

Но вот торжественно и басовито возвестил о скором отплытии гудок, были отданы швартовы, и баржа, вволю потеревшись громадным боком о причал, как бы нехотя начала свое движение. Отец, человек наблюдательнейший и всегда учивший меня «не разевать карку» и «не считать ворон», кивнул головой в сторону капитанского мостика — смотри, мол. Там, на возвышении, за штурвалом стоял очень полный человек, гордо, но уважительно глядя на воду. Это на пассажиров,

скорее, он смотрел чуть свысока, с законной, так сказать, гордостью. Одет он был в просторную тельняшку. Колоритный был на нашей барже капитан, что и говорить. Фигура. Личность. Портрет. Он, бывало, и обедал, не отлучаясь со своего капитанского места во время недолгих стоянок. На обед у капитана нашего густо дымился борщ со сметаной, похрустывал ржаной хлеб со стрелками зеленого лука и пенился квас в запотевшей бутылки. Капитан словно бы сросся с баржей и сам, кажется, внешне походил на нее.

Когда мы очутились на фарватере, неповоротливое у берега судно наше как-то вдруг разогналось, половчело, попав, что называется, в родную стихию, и довольно-таки лихо принялось лавировать между въякорившимися в русло реки лодками бесстрашных лецатников. Ох и много же их стояло тогда на фарватере: резиновых лодчонок, утлых плоскодонок, основательных «казанок»! Капитан только и делал, что давал короткие, сердитые гудки. Но все шло своим чередом, Волга жила своей привычной, размеренной жизнью. И ритму этого голубого пульсара следовала жизнь береговая. То тут, то там дымились рыбацкие костерки, босоногие мальчишки бежали куда-то по песчаной косе, лучистые солнышки флюгеров всходили над деревянными крышами. Идиллия? Она самая. Но иногда этого не хватает. А может, и всегда. Чем-то обжитым, обихоженым, уютным веяло даже от обрывистого правого берега. На Волге ведь, знаете ли, принято говорить с некоторой даже, неизвестно отчего берущейся гордостью:

— Ну, мы же ведь на Правобережье.

Или коротко:

— Левобережье.

(И без объяснений все ясно.)

Или еще проще и лучше:

— Где-где? Не знаешь, что ли, — на Левяке живу.

Да, чувствовалась в этом неторопливом течении речи некая постоянная величина. А может быть, чувство устойчивости передавалось нам самой баржей? Может, баржа и была величиной постоянной? На барже — звучит остойчиво.

Пару лет после, когда я уж знал «в лицо» чуть не каждую выбоинку деревянной палубы, поскольку мы с отцом принялись при любой возможности рыбачить на Зеленом, таскаться по его песчаным косам, шататься по озерам-заливам, бомжевать в сторожках, довелось мне стать свидетелем любопытного эпизода из жизни старой баржи.

Представьте: теплый августовский вечер. Начинает смеркаться. Бакены умиротворенно перемигиваются зелеными и красными огоньками. Ветер, шумевший днем, стихает и опадает, позволяя воде стать зеркально-тихой. И по этой стихшей, заснувшей почти реке, рассекая воду широким носом, движется наша старая знакомая. Люди, с цветами в руках, загоревшие и обветрившиеся за просторный августовский день, тоже чуть стихли — кто неторопко беседует о чем-то с напарником по рыбалке, кто просто лежит на палубе и смотрит на первые загорающиеся звезды. Кто винцо открывает — куда ж без глоточка красненького? Кто

жабает одну за одной, обманно-равнодушно глядячи на воду, но под-размысливая, конечно же, о своем. Девчонки лыбятся — конечно, кра-савицы, конечно, поглядываю в их сторону то и дело, конечно, сердце бьется сильнее! Особенно когда встречаюсь глазами, даже хотя бы на четверть секунды, с той, в синей коротенькой юбке. Волга, она ведь женского рода...

Просто мирная жизнь. Просто счастье. Просто люди. Как это важно, оказывается, как ценно — просто люди... И вдруг, словно бы из самой тишины, — голос и дрожь гармонии:

Настанет день красы моей,
Увижу белый свет.
Кругом вода и небеса...

Старинная песня рыбаков. Странная. Откуда она вспомнилась? Кому? Зачем? Отправляются вечные водные странники на промысел, бросают берег, говорят о том, что видят и отчего болит сердце. Резану-ло тогда, оглушило. И что бы потом ни случилось в моем бытѐе, будь то радости или горести, удачи или подвохи-мели, я всегда помнил этот голос, будто бы голос самой реки, самой воды, эхом доносящийся до меня сквозь... Хотел сказать «сквозь время». Время, время... Да нет, ну его совсем... Просто сквозь тот, линзовый вечерний волжский воздух.

Что случилось теперь с тем гармонистом, кто сможет сегодня подхва-тить эту песню, где ты нынче, наша славная, громадная, непотопляемая, наша родная зеленоостровская баржа? Где ты, корыто наше, калошенька наша полуразваленная и полувечная?

Но все это потом, потом будет предъясняться памятью, спраши-ваться ради ответа или ради молчания. Да и важно ли — ради чего. И вообще — какого ради? Потом. А сейчас солнце над Волгой открытое, низовой ветерок веселый и чуточку по-утреннему зябкий, и чайки ловят на крыло солнечные блики, и мы приближаемся с отцом к неизведан-ному, манящему, зовущему Зеленому острову. Первый раз в жизни!

Даже дух захватывает!

Дебаркадер

Зеленоостровский дебаркадер всегда виднелся издалека.

Сначала на фоне золотой песчаной косы появлялось темное пятныш-ко, потом становились различимы контуры домика на воде, с дымком из трубы, а уж после, когда баржа или домик подходили поближе, можно было рассмотреть даже узоры на занавесочках — два окошка в любую погоду смотрели на воду, будто бы ожидая гостей. Обычно пассажиров приветствовал веселый коренастый шкипер, в грубом, с высоким гор-лом свитере и бескозырке. Звали его Алексей. Перед тем как принять трап, он обязательно делал раздольный, пригласительный жест рукой и провозглашал: «Вас приветствует Зеленый остров!» А когда пребывал в особенно хорошем настроении, добавлял еще несколько восклицаний.



Видя, например, спиннингистов, широко разводил в стороны руки и улыбался: «Да здравствуют щуки и судаки!» Поборников же тихой охоты встречал лукавой поговорочкой: «По грибы не час, и по ягоды нет, так хоть по сосновы шишки!» И добавлял размашисто, словно веслом загребая:

— Эх, тудыть вас растудыть в вóложку, сколь народу приташилося!

Слушайте, как же я мог забыть! Еще он звонил в маленький медный колокол, который речники называют гремком. Ну гремок, гремочек. Не слышали разве? Такой имелся на каждом дебаркадере, перекочевывал туда с палуб больших пароходов. На гремке зеленоостровского дебаркадера отчетливо виднелись большие буквы: СПАРТАК. И, приближаясь к Зеленому, народ привычно прислушивался: оповестит ли об их прибытии и в этот раз знакомый гремочек? Оповещал исправно.

Как-то баржа наша, подходя уж к дебаркадере самому, попала в стену жуткого июльского ливня со страшенной грозой. Пассажиры заметались, заплакали дети, в метре от себя ничего нельзя было различить в бушующей стихии. Капитан остановил ход полностью, мы застыли, отдавшись на милость водной стихии. Вода над нами и вода под нами — я не испытывал больше в жизни такого восторженного страха. В такое мгновение ты вдруг понимаешь, сколь мал и сколь зависим. Люди, как водится в таких ситуевинах, проявляли себя по-разному — кто-то закрывал от дождя детей, кто-то нервно смеялся, а один молодой человек спрашивал у своих соседей по месту на барже: «Извините, а баржа может переполниться водой?» И потом: «Скажите, пожалуйста, а какова грузоподъемность данного судна?» И в таком духе: «А остров не может уйти под воду?»

— Да ты совсем осудачёл! — привел его в чувство кто-то из матросов. — Три капли упало, не потонем!

А хорошее словцо — «осудачёл!» Много чего выражающее.

Отвесный дождь, как и начался, закончился мгновенно. Не улыбкой радуги во все небо, нет. Но все ж каким-никаким просветом. В секунды стало светло, и я увидел рыболова, стоящего в воде на волжской косе по пояс и меланхолично перебрасывающего удилище. Он, промокший до нитки сверху (хотя какие там нитки — всего лишь бескозырка, связанная на животе рубашка), как будто и не заметил, что прошла буря, он смотрел только на поплавок, не обращал ни малейшего внимания ни на какие молнии. И самое удивительное, что в углу рта его дымилась, неподвластная бурям и ливням, папираса... А что, может, и нужно иногда уметь быть таким в жизни: не обращать внимания на второстепенные вещи, не отвлекаться на пустяки, сосредотачиваться на главном. И что, в таком разе, может быть важнее, скажите мне, бегущего по волжской воде поплавка?..

Но вернемся на дебаркадер. Чего только тут не было! Две-три вязанки дров, рукомойник, обрывки сетей и, собственно, специальные крючки, чтобы сети эти вязать да ладить, верши, лодочные стлани¹,

¹ Стлань (слань) — съемный настил на днище лодки.



вялящаяся сорога — настоящая провесная рыба, сквозь которую лучится доброе осеннее солнышко, весла, якоря разной тяжести и формы, багры, несколько трапов; конечно, спасательные круги, шесты для промера глубин... Даже будка с собакой. Собаку звали почему-то Титан.

Внутри дебаркадера довелось мне побывать лишь однажды. В очередную яростную летнюю грозу шкипера укрыли нас с отцом, зарыбачившихся, от дождя и молний. В углу этого водного пристанища, среди тряпок, рваных одеял, поломанных бамбуковых удилиц и всякого хлама я заметил что-то вроде потрескавшегося стеклянного цилиндра. Вспышка молнии так и отразилась в помутневшем от времени стекле. Оказалось, это часть старинного бакена. И Алексей, наливая чай в жестяные кружки из прокопченного чайника, рассказал о том, как он был, еще в молодости, бакенщиком. Но об этом разговор отдельный.

Островная жизнь кипела вокруг дебаркадера. Приплывали и уплывали лодки, причаливали пароходики, собирались завсегда на острова. Все знали друг друга по именам или в крайнем случае островным прозвищам. Шкипер Алексей, перевозчик дядя Гриша (кто ж из настоящих волжан, коренных волгарей не помнит его?), лодочник Вениамин Петрович, островитянин Цыган, капитан дальнего плавания Савельев, билетерша тетя Люда — добрейшая синеглазая женщина с тихим голосом. «Теть Люд, здрасьте! Два взрослых и один детский!» — выпаливал я, запыхавшись, и, прежде чем убежал с бирюзовыми билетиками к родителям, неизменно слышал: «Вот, Ванечка, держи, рада тебя видеть».

Тетя Люда ко всем постоянным пассажирам обращалась поименно. Когда пароходик или баржа отчаливали от дебаркадера, она выходила из своего как бы вросшего в песок киоска, приютившегося в тени старого тополя, и махала кому-то неведомому рукой. Всех ждала и всех провожала. Диалоговое окошко ее будки было всегда открыто.

Она воспринималась неразрывно с водой и песком, с опадающими листьями. «Посидите у меня в тенечке, тут прохладно», — приглашала нас с отцом в июльский зной. «Погрейтесь, в киоске тепло», — звала в октябрьскую непогоду. И вот ведь что удивительно: когда мы прибывали первым рейсом, она уже была на месте, киоск ее был открыт. Значит, кто-то из лодочников переправлял ее на Зеленый? Или она так и жила на острове? Весной ее лицо казалось молодым и веселым, поздней осенью — немного грустным. Почему она мне так запомнилась, почему ее тихий голос не смогло заглушить ничто другое — громкое и бессмысленное?

Настала весна, когда омик² причалил не к дебаркадеру, а к чугунному, холодному, какому-то диковатому и совершенно безжизненному пирсу. Не прозвенел над Волгой меднобокий гремок, никто не поприветствовал нас шутками-прибаутками. Отчаянный рыболов не зашел флегматично по пояс в воду. А от билетного киоска остался только проржавевший за зиму остов, который долго еще напоминал всем о синеглазой доброй женщине, всех ждущей и всех провожающей...

² Омик — теплоход марки ОМ.



Иногда он снится мне, зеленоостровский дебаркадер. Я вновь приближаюсь к нему откуда-то издалека, различаю надпись: «ЗЕЛЕНЬКИЙ ОСТРОВ», узнаю знакомые силуэты шкиперов, осторожно ступаю по узенькому трапу, огибаю кнехты и оказываюсь внутри водяной избушки.

И слушаю рассказ настоящего волжского бакенщика.

Рассказ старого бакенщика. «Тудыть вас растудыть в во́ложку!..»

— Зеленый остров-то не таким был. Он ведь большой, лесистый. А косы какие! Вон там и там, где теперь только вода, деревья коренились. А там избушка моя стояла. Давно на дне она оказалась. И русло петляло по-другому. Оно как бы раздваивалось, разбивалось об остров. На стрежне ни на каком якоре не устоять — снесет! Вода быстро в Волге бежала, не то что теперь — болото! Да, так вот бакенщики всегда искали суводь — место на реке потише, где течняк не бурлит или где течение вообще обратно идет, чтобы бакены-то не уносило.

Вот ты про фонарь спросил. А сколько маялись мы с фонарями этими! Мы называли их створными знаками. Внутри стеклянной болванки керосиновая лампа горела. И нужно было лампу заправлять, следить, чтоб огонь не потух. И в бурю выплывали, и в штиль. Стекла фонаря чистили, чтоб огонь, значит, издалека рулевым примелькивался. На чем к бакенам подплывали? Да ясно — на веслах, не на моторах же! Тогда, в конце сороковых, никто и не слышал о них, о лодках-то моторных.

Жили мы сезонно — в скривищах или землянках, отвечая за свой участок реки. В навигационный ход спрос строгий! У меня в первую же мою путевую неделю такая вот, по неопытности, несподручность вышла. Бакен я зажег, стекла прочистил, а вот проверить кошку забыл. Кошка — это такой тяжкий груз, за счет которого бакен-то и держался на месте. Ну вот, только до берега доплыл, гляжу — уж далёко он, огонек-то мой, вниз по течению влекомый. Река ночная хоть и тихая, а струистая. Что делать? Снова на весла — и за ним, беглецом. Догнал-таки!

А еще плоты много неудобств доставляли. Вот представь: идет он по течению, широченный плот, а хуже того — кошма, ну или несколько плотов вместе, а река-то в иных местах не шире. И приходится снимать бакены, пока не пройдут плоты. Иного выхода нет. Иначе ни одного бакена не останется. Поминай как звали. Легко сказать — снять бакен! А его, родимого, еще и в обратную ставить нужно. Опять крепи перекладины, устанавливай вешки, топи груз, зажигай огонь...

Зато вечером, сплавив дела, хорошо-то как похлебать у костра стерляжью уху. Пробовал? А для бакенщиков это привычная еда была летом. И знаешь, стерляди много в Волге кувырчалось. В Волге да в воложках — узких рукавах-стремнинах, песочком отороченных... Ловили же мы ее на специальные стерляжьи крючки, самодельные, длинные. Остриющие и прочнющие. Привяжешь к бакену балберочку — значит,

снасть особенную, с крючками стерляжьими, безо всякой наживки. Стерлядка крючками блестящими в прозрачной воде играет, и, глядишь, одна-две и зацепятся. Бакен, он как вроде кормильцем был всегда, как родным вроде...

Он останавливался в рассказе, закуривал. Смотрел в угол, где доживал свой век бакенный скарб.

— Стеклышки фонарные красили в красный и зеленый цвета. Были еще белые и черные. Каждый цвет свой собственный судоходный смысл имел, то русло обозначая, то границу глыби и мели. Ведь и по сю пору бакены-то по цвету разнятся! Хотя теперь что — сами зажигаются, сами гаснут. На автомате. А я вот все ж таки грущу по крестовинам, вешкам, стерляжьим крючкам, что теперь безо всякой пользы, потому как перевелась в Волге стерлядь, по разной нашей бакенной оснастке. И храню вот ее у себя зачем-то...

Бакенщиков теперь не стало. Славное, почитаемое на реке было дело. Из рода в род передаваемое. И дед мой, и прадед ставили и берегли бакены. Еще в ту пору, когда остров не Зеленым, а Беклемишевским назывался... Ну а теперь, что теперь, — махал он рукой на кого-то, — тудыть вас растудыть в воложку.

Беклемишевский остров

Вот тогда-то впервые я и услышал это удивительное, таинственное — Беклемишевский остров.

И сразу же приблизился к островному миру. Через словцо. Слышалось, как шумят в нем — и в мире, и в слове — ветра, шепчутся о чем-то своем могучие дубы, скрываются поддубники и скрипят грузди, шелестит волжский песочек и перекачивается разноцветная галечка. Беклемишевский остров — это важные бакланы и отчаянные чайки-хохотушки, от пронзительного смеха которых бросает в дрожь; это кучевые августовские облака и пожарные октябрьские листопады. Это запах воды и древнего ила и стонное пение — знающие оценят! — всегда незримых лягушек-жерлянок. Шука ли ударит пятнистым хвостом на самой середине Щучьего озера, златобокий ли язь в протоке у Старого моста заставит биться сильнее рыбацкое сердце, сом ли великан поднимется июньской ночью из бездонного омута, чтобы разбить своим плеском лунную дорожку, — во всем этом угадывал я безошибочно зеленоостровские — беклемишевскоостровские! — приметы.

Беклемишевский остров, он сравнительно-то небольшой, но пройти его от и до — вряд ли кому-нибудь удавалось. Хоть на запад иди, хоть к восточной стороне — а обязательно преградит тебе дорогу какая-нибудь проточка, или какое болотце, или просто лесной завал. Здесь, на острове, всегда есть где укрыться, где раствориться или, может быть, даже вовсе исчезнуть. Кругом Волга, совсем вблизи — городская суетная жизнь. А на острове — свой микромир, свои сложившиеся законы и традиции. Пересеченный он, островок этот, с характером островков, с историей.





Говорят, что Беклемишевским островом зовется по Петру, когда-то-де сам царь-государь решил навестить волжский наш город на плоскодонном паруснике со съёмной мачтой, по-другому сказать — на струге. В то самое время комендантом городским был Василий Беклемишев. И встречу Петру устроил царскую — прямо вот здесь, на острове, да на горе Соколовой, что близ, на правом берегу, приказал Беклемишев разложить костры. Смоляные бочки пылали на всю Волгу! Издалека видать было огни, издали. Петру пришлось такой волжский прием по душе. И он даровал воеводе островок — вот вам и Беклемишевский. Базарят еще, что, хоть и враки конечно, есть в году летняя ночь, в июле, когда Петр-призрак на призрачных стругах сюда, к Беклемишевскому-Зеленому подчаливает. Все никак со своими ревизиями не уймется...

Однажды мы с отцом заночевали прямо на песчаном берегу острова, под открытым небом. Дело было в середине лета, повсюду — и справа и слева — дымились рыбацкие костерки, отражаясь в ночной воде. Время от времени позвякивали колокольчики на донках рыбаков, рыбаки переговаривались тихо, будто боясь спугнуть сторожкую рыбацкую удачу. Утомонились уже беспокойные моторки, уткнулись носами в берег плоскодонки, замерцали у причалов зелеными огоньками — сигналами покоя — омики, устало вздохнув, заснули до завтрашнего утра трудяги утюги³. Тихо... тихо... Но вот я услышал странный звук, доносящийся откуда-то с фарватера. Усиливающийся, нарастающий плеск. Точно бы много весел одновременно погружались в воду и отталкивались от нее с силой, чтобы вновь погрузиться. Потом звук стал смягчаться, убывать и постепенно сошел на нет.

Мы переглянулись, не сказали ни слова, но подумали, конечно, об одном и том же. Эх, любят же люди верить во всякие глупости. И на Волге, и на других реках...

Часть 2. ЛОДКИ И ЛЮДИ

Всю свою жизнь я плавал на лодках. По запутанным водным тропкам караманских протоков, по синему пунктиру березовских разливов, невольно — не прогрести! — поднимал веслами широкие листья сазанковских кувшинок, чертил узор лодочного следа по озерцам и озерам. И лодки бывали разные. Нестойкие продолговатые «березки», особенно ловкие в узких местах, где, кажется, проплыть невозможно; уверенные в себе «кефали», устойчивые, быстрые, надежные, хотя и сваливающиеся почему-то при долгой гребле на левую сторону; широкие «казанки», кургузые «ерши», не любящие лишних движений, зато легкие и неприхотливые. И резиновую лодочку опробовать мне пришлось вместе с сегодняшним моим верным напарником по рыболовным походам — Дедом. Отцом моей жены, милой моей Таточки, тестем моим, стало

³ Утюги — здесь: буксиры-толкачи.

быть. Тестем? Дед — он и есть Дед, на другие имена не откликается! Где только уже не проплывал, не пронёсился наш с Дедом видавший виды «Муссон». Три часа утра, иные люди только что спать завалились, а мы с Дедом уже накачиваем — скорей бы на воду! — верный наш «Муссончик»!..

Были лодочки, были. И всегда, как незабвенный Юрий Коваль, мечтал я о «самой легкой лодке в мире». Но все-таки настоящим лодочником — в подлинном, волжском, зеленоостровском, если угодно, смысле этого слова — я не сделался. Может, еще дорасту? Тем более что лично посчастливилось мне знать лодочников от бога.

Вот вам акварелька: тихое июльское утро, волжский залив, посреди которого, на урезе водной травы, примостилась рыбацкая лодочка. И появившаяся из-за поворота моторная лодка резко сбрасывает скорость, чтобы не нарушать тишины и не мешать рыбаку. Согласен, трудно представить. Сегодня трудно. Лихо рассекающие протоки океанские катера управляются чаще всего людьми со стеклянными глазами, не видящими и не желающими видеть вокруг ничего, кроме своей очередной дорогой игрушки. Они и не слышали никогда ни про какую береговую культуру, им даже невдомек, что огромные волны выбрасывают на берег рыбью икру, что нарушается хрупкое равновесие... «Рыбы живут в прозрачных чертогах», — писал Аксаков. Но о каком равновесии и о каких «прозрачных чертогах» я говорю, если электроудочка, одно из самых жестоких и циничных орудий убийства, именно убийства водных жителей, распространилась у нас повсеместно. Электрический ток убивает душу воды и душу человека вместе с ней. А весенние сбросы воды — в икромёт? Мы убиваем воду, а значит — самих себя. У нас вода уходит из-под ног...

Настоящие лодочники раньше, так уж было принято, переходили на весельный плав при входе в заливчики или протоки. Врожденный волжский интеллект срабатывал, воспитанием и самой рекой дарованный. Они еще есть, еще живы — жаль только, что редки стали уж очень. И лодки. И люди.

Дядя Гриша

Весна, ледоломная и говорливая зеленоостровская весна пленила меня безвозвратно. Ход вешней воды, несущей новую жизнь, открывающей праздник нереста, стал для меня навсегда желанен и радостен.

Всего пару недель как загорелся по окраинам островных протоков верболоз, еще только-только затеплились робкие свечки вербы, еще зеленоватая на изломе льдина упрямо не признает своего полднего краха, еще лыжня пробегает, прерываясь местами, по ледяному потемневшему полю, и следы рыболовной тропинки еще сохранились в самых глухих уголках маленького заливчика, а уже на фарватере свиваются жгуты вешней быри⁴, оживает русло. Могучее время, громкое, шумное.

⁴ Бырь — быстрина в потоке.



Но и самое мелодично-тихое в году. Прислушаешься: где-то высоко в синем небе, по которому плывут льдины первых, почти уже летних облаков, слышны пробные переливы жаворонка. Скоро-скоро, через считанные дни, поставят бакены. Скоро дебаркадеры — домики на воде — проснутся после зимней спячки, что водные лешие, и глядишь — их уже примутся буксировать трудяги-утюжки на летние стоянки.

Всю долгую зиму были сжаты дебаркадеры скрипучими льдами, а теперь отдышались, свободно вздохнули. Отудобели⁵. Так и раздаются среди реки довольные их выдохи: «Ух, осилили зиму! Эх, дожили до весны!»

Идет такой домик по реке, а из трубы дымок, и шкипер сидит на лавочке в ватнушке, из-под которой видна синяя полоска тельняшечки, и собака при нем. Какой-нибудь Титан. Целый мир, целая вселенная.

С таким вот весенним, радостным волнением вспоминается мне дядя Гриша — главный, пожалуй, самый уважаемый лодочник Зеленого острова. Лодочник редчайший из редчайших!

Перевоз ведь всегда имел для островитян особое значение, даже в ту пору, когда ОМы и баржи ходили исправно. На барже ведь что — на барже только до дебаркадера доберешься. А огороды, к примеру, у многих притуливались к самым дальним уголкам острова, куда без лодки — никак.

И тут приходил на помощь дядя Гриша. Идеально зная систему островных протоков, озер, заливов, он в любую погоду доставлял нуждающихся точно по островному адресу. Причем если большинство перевозчиков брало за такую дополнительную работу пятнадцать копеек, то дядя Гриша — только десять. Никто не спрашивал почему. Так было заведено испокон, и все!

Дядя Гриша был фигурой почти былинной. В свое время он прошел войну и вернулся домой без руки. Обычно, особенно ранней весной, когда еще зябкие утренники, черемуховые холода, набрасывал он на плечи темную куртку, и странно было видеть, как пустой рукав ее шевелится на ветру. Однако же с лодкой управлялся он удивительно легко; лодка его слушалась, как если бы была приручена.

И это ох как важно! В лодочках ведь островитяне не только на стрежень выходили или по заливам камышовым ныкались. В пиковые дни половодья лодка оказывалась незаменимым транспортом, пробирающимся там, где еще несколько часов назад была суша. Ледяная полая вода поднимается стремительно, это у обрывистых яров не сразу и заметишь подъем в полметра-метр, а пологий берег заливаается мгновенно и весь.

И лодка дяди Гриши — в работе. Вот пересекает она стремнину. Дядя Гриша сосредоточен, и зорек, и весь как бы напряжен, и папираса точно бы срослась с углом его не улыбочивого рта. Течение бьет в лодочный бок, вода «тельняшится», как говорят волгари. Момент ответственный, напряженный — для тех, кто понимает дело.

⁵ *Отудобеть* — ожить, очнуться.



Кто-то из пассажиров, из самых неопытных или из случайных, встает и решает перейти на другой борт. Дядя Гриша только сверкнет глазами из-под темных бровей в сторону суетного нарушителя, и тот мигом возвращается на место. И то правда — с фарватером в мае шутки плохи, голову-то на плечах иметь надо! Большая вода уважение любит, а разболтанности и суеты не терпит. Отсюда и молчаливое дяди-Гришино нравоучение!

Так что дядя Гриша был не только перевозчиком, он был, мне кажется, волжским учителем, наставником, проводником.

Немногословен был дядя Гриша, но шутку-прибаутку отпустить мог: скажем, притвориться, что забыл дорогу, особенно если видел, что среди пассажиров есть новички. «Да не знаю, — вдруг прищурится он с хитринкой на солнышко, — в ту ли протоку зашли, не в ту ли. Ну, если что, заночуем в ярах, уши наварим, удочки вон всегда припасены. Червячков-то подсобите подкопать?» И не знающие дяди-Гришин особенный нрав возмущались: «Как червячков? На каких ярах?» Но быстро разбирались, что к чему.

Мог дядя Гриша и ругнуться к месту, а вот грязной, бессмысленной брани от настоящих речников я никогда не слыхивал. Они умели и умеют говорить просто, но емко и образно.

Про лодку свою дядя Гриша почти никогда ничего не говорил, да мало кто и спрашивал. Но случилось однажды, что какой-то залетный катер перерезал дяде Грише путь, промчался, едва не задев неторопливую нашу гулянку⁶. Вот тогда дядя Гриша и высказался. Тираду его никак не перескажешь. Зато после, чуть остыв, бывалый речник сказал несколько слов о лодочной жизни, произнес их негромко, будто себе под нос, но кому нужно было — те услышали. И запомнили.

А сказал дядя Гриша о том, что лихие катера Волгу губят, нету в них ни уважения, ни смысла. Ни души. А вот гуляночка, она деликатная, идет себе тихо, но везде поспекает. «Почтение она знает, уважение ко всему». И мотор у нее не «наружу выперт», а в рундуке спрятан от сторонних глаз. «Точно сердцем постукивает в груди». И вообще раньше на Волге, еще до затопления, «гулянка в почете была», на ней и сено перевозили, и всякий скарб, и рыбацкую снасть. И урожай. И рыбу, конечно. Один отсек всегда для рыбы приспособлен был. И главное — «гуляночные умельцы» существовали, от сына к отцу ремесло свое передавали. Потому что сделать настоящую гулянку — не шутка. А теперь «доживаем», «доплаываем» с гулянкой своей вместе...

Короткой была речь дяди Гриши, но столько он вместил в нее обиды и горечи, столько сожаления о прошлой волжской жизни, которую «ни на одном кукане не удержать»!..

Как-то ближе к августу дядя Гриша вышел на дебаркадер, чтобы поймать парочку судаков на уху. Он обычно ставил гулянку на ночь под защиту высокого дебаркадерского бока. Поставил, стало быть, взял самодельный спиннинг, забросил в синюю вечернюю воду

⁶ Гулянка — деревянная лодка 8—12 метров в длину, мотор на которой устанавливался не на корму, а в специальный отсек — рундук.

самодельную блесну, легкую, латунную, очень похожую по движению на живую рыбку, и замер в ожидании. Какой-то залетный рыболов с разноцветными импортными телескопами (тогда еще в новинку!), желая показать свои познания в рыбацком деле, не удержался и дал совет: «Вы леску-то на катушку наматывайте, это же не донка!» Ответ дяди Гриши мне запомнился на всю жизнь:

— Ты наматывай что хочешь на что хочешь. А я-то на молчание ловлю.

Понимаете, «на молчание», то есть тихонечко, едва покачивая спиннингом и безмолвно беседуя с рекой. Надо ли говорить, что через каких-нибудь пару минут зеленоватый судак упруго скакал по брусковатому дебаркадерскому настилу...

Дядя Гриша и правда сливался с лодкой, со своей неразлучной гуляночкой. Киль у нее был еще на старый манер, из дуба, а обшивка, прибитая специальными медными гвоздями, — из сосны. И летом у дяди Гриши всегда пахло нагретым деревом и свежей речной волной; лодка плыла небыстро, точно бы гуляла по воде, по известным лишь перевозчику волжским тропкам и фарватерным большакам. И у гулянки, как полагается, имелись крытые каюты, в которые, впрочем, дядя Гриша не любил набивать народ, зато боковые деревянные лавки были всегда полны. Сам же наш перевозчик располагался у руля, зорко обозревая речную дорогу.

И еще дядя Гриша внимательно следил за временем — следовал собственному, лично утвержденному им расписанию, не опаздывая, не отставая от волны, и не заплывая вперед. Время-то волжское течет по-особенному, выплескиваясь из циферблатов. Волгари на часы не смотрят — всё больше на воду да на солнышко. Может, так оно и верней...

Последний раз увидел я дядю Гришу не на Волге, не на Зеленом острове, не в лодке. И не привычной весенней или летней порой. Он шел по городской улице, неуклюже, медленно, теряясь среди меркнувшего декабрьского дня. Это была не его стихия. Слишком загорелое лицо, слишком темные брови, слишком белый снег. Здесь, в зимнем городе, первый волжский перевозчик лишился своей мифологической силы, своей неповторимости, он просто передвигался вместе со всеми, как будто бы потеряв смысл существования. Мы коротко поздоровались. Речь его тоже изменилась, потускнела. Оказалось, что зимой дядя Гриша работает ночным сторожем, и зарплата совсем маленькая, и теперь он спешит на вахту. «Ну, в апреле можно уже лодку начинать красить, тут Новый год, январь-февраль, а там уж и весна...» Я хотел перевести разговор на родную для него зеленоостровскую почву. Дядя Гриша оживился:

— Сказал тоже — красить! Да в апреле уж на воду спускаться нужно, особенно если шуга пройдет рано...

— А где лодку собираешься держать? У дебаркадера? Как всегда?

— Да, как всегда. У дебаркадера самое то. И от волны защита, и от дождя. Да и переночевать, особенно в июне, прямо в лодке можно. А что там ночь — пару часов всего...

Мы говорили еще долго. И нам обоим, я думаю, казалось, что мы сейчас не посреди холодной улицы, а где-то на Щучьем озере, или у Второго бакена, или среди заросшей кувшинками по краям Девятки, или у Бочки — идем на дяди-Гришиной гуляночке. Или пришвартовываем ее к дебаркадеру.

Дядя Гриша опомнился первым, сказал, чтобы я поклонился отцу, которого он очень почему-то уважал, мы наскоро попрощались, и я долго еще видел сквозь расходящийся снег самого любимого волжанами перевозчика — нашего дядю Гришу.

Островная свобода. Урка-Цыган и Марина

Еще по Зеленому острову я помню Цыгана. Никто никогда не произносил его имени, возможно — никто и не знал его. Цыган жил в самом удаленном островном районе, за последними огородами, за Щучьим озером, в деревянной сторожке. Жил совсем один. Поговаривали, что когда-то Цыган попал в тюрьму, может быть даже убил человека, и может так статься — бежал на свободу. Никто не решался спрашивать Цыгана о прошлом, его все побаивались, сторонились и очень при том уважали. Не один год был он этаким смуглым и косматым духом Зеленого острова. Однажды, когда мы с отцом маялись на каком-то лужку, залитом майской водой, тщетно, под лягушачий хохот, пытаюсь добросить наши поплавочки до глубокого места, Цыган выплыл прямо на нас в уютной своей лодчоночке. «Эй, мужики, — забасил он весело, — забирайтесь в бударку ко мне, сорогу икряную ловить будем!» Отец подал мне знак — не бойся, мол, иди за мной — и через каких-то пару минут мы уже, встав в самые плавни, удили округлых, а иногда и шершавых, как наждак, сорожняков с цыганской «бударки».

Никогда я потом не встречал таких лодок. «Бударка» оказалась вовсе не уютной, а ладно смастеренной, устойчивой и просторной. Управлялась она одним веслом, на индейский манер, как пирога, но не качалась, была очень устойчивой, как бы вживленной в воду. На дне ее лежали прочные дубовые стлани овальной формы. Странно, но Цыган запомнился мне человеком радостным, открытым. Когда он высадил нас на берег, подплыв к самому причалу, чтобы нам не пришлось топтать по песку до дебаркадера добрых пару километров, то помахал на прощание дочерна загорелой, а может быть, просто смуглой рукой. «Приезжайте снова, на бударке поплывем!» Но больше мы с Цыганом не встречались.

С Цыганом очень дружила женщина по имени Марина. Бывая на Зеленом каждодневно, за редчайшим исключением — когда болела, зная всех островитян лично, она частенько добредала до цыгановской далекой сторожки. Урка-Цыган и Марина — та еще парочка! Уже немолодая, конечно, Марина сохранила каким-то образом налет девчоночьего задора, заплетала косу, ходила так быстро и легко, как будто бы у нее имелись волшебные скороступы. И говорила — быстро, много, перебивая себя и задавая себе же вопросы от лица собеседника. Разговор



она сводила к подробному отчету о своих многочисленных кошках-собачках, ждущих ее дома, о том, чем собирается их кормить, о своем гипотетическом островном маршруте, о грибах и рыбе. Собственно, Марина плывала на остров за добычей — за рыбешкой, главным делом, для своего стада.

И через слово, восторженно поднимая глаза, переспрашивала у кого-то невидимого, стоящего как будто бы у тебя за плечами: «Представляете?»

У Марины всегда получался монолог.

— Ну вот, сегодня двинусь к Мосту, долгонько, да, но там может баклешка пойти. А осенняя баклешечка чудесно консервируется, Пушок ее обожает. Я, знаете, обжариваю и в баночки закручиваю... В какие баночки, спрашиваете, в маленькие такие, рыбка нагулянная, в овощах у меня, открою зимой — пальчики оближешь, сама тоже ем... Еще не поймала, а уже в овощах увидела — вот я какая. Представляете? А Сенечка, песик, больше любит окушочков, да где ж я сыщу окуней без лодки. Может, к Цыгану пойти, у него лодочка всегда есть, паучок для живца... Да и вобла у него висит на веревочке, такая вся светящаяся, икру видать. Представляете? А про Цыгана поняла я, что он очень добрый, мухи не обидит, как-то щенка, на остров завезенного, подобрал, подкормил и мне отдал. Ползимы с ним носился — представляете? Или подгруздки проверить, дожди-то были ночью, песок вон прибитый. Мне, знаете, котенка подкинули в прошлую зиму, а он, оказывается, грибы любит. Представляете? Я его и назвала — Лисичка. Имя такое странное, но он мальчик у меня. Не знаю, в общем, куда решусь сегодня? Вы на Щучье? А, с лодкой... Это другое дело. Не знаю. Ну, посмотрю, пойду как пойдет. Не была на острове два дня. Два. Представляете?

Представляете — два дня пропустила она! Это ж событие вселенское.

Омик еще не подчалил, еще только у бакена развернулся, а Марина уж вся — на изготовке. Ноги напружинила, глаза наострила — еще минута-другая, и она ринется в очередной свой зеленоостровский марш-бросок, и ее девчоночья косичка быстро исчезнет за поворотом.

Марина прибывала на остров первым рейсом, а уплывала — последним. И всегда — с какой-нибудь добычей. Шла к омику она уже не так легко, как утром, нагруженная совершенно невероятными сумками, корзинками, связками с воблой. «Маленько есть!» — вскидывала она светлую свою голову. Если не баклешки своей любимой раздобудет, то грибок найдет, если не грибы — так пяток громадных, лопающихся от спелости помидорин от знакомых дачников притащит. А то боярыни-ягоды соберет, на острове крупный рос боярышник, целебный. Если, скажем, представить себе геральдическое воплощение зеленоостровского духа, вообразить, как мог бы выглядеть герб Зеленого острова, то, помимо желудей и узорных дубовых листьев, обязательно должен там быть изображен боярышник, его терпкие красные ягоды. «Сегодня по боярышничек пойдём, — деловито качали головами островные завсегдатаи, коротая время пути, — должен уж поспеть». Боярышник любили, о боярышнике вспоминали, делились



самыми невероятными рецептами его приготовления. И варенье-то из него самое вкусное и полезное, а с добавлением яблочек — просто объеденье; и пироги с ним первоклассные; и морозить его сподручно; и настойка-то на нем целебная... Считалось, что ягода боярышника, собранная в срок, обладает невероятной целительной силой; о какой бы хвори ни услышали островитяне, тотчас же начинали свои апелляции к боярышнику.

А не боярышника — так шиповника мешочек. На худой конец — дикими яблочками или мелкими твердокаменными сливами в заброшенных садах запасется Марина. На компотик, на вареньеце. У нее принцип был такой — чем-нибудь да разжиться. Не с пустыми чтобы руками.

И когда я все это рассказываю, то понимаю прекрасно, что разговор совершенно ни о чем. Именно что — пустой. Ну какие, на фиг, баночки с баклешками? Ну какой, скажите на милость, боярышник? Ну кому интересно, к Мосту пойдет Марина или от Моста? Грибы она будет собирать или желуди? Мне кажется, тут есть парадокс взгляда. Если смотреть на подобные микрособытия извне, отстраненно, объективно, так сказать, то они покажутся ничтожными. Если быть внутри, если выступать их участником, да если еще втянуться в их ритм, в их повторяемость, в круговерть мелочей, важнее которых нет ничего на свете, то невольно признаешь, что какая-то ничтожная баклешка, «идущая по осени» и почему-то прекрасно подходящая для консервов, может иметь вселенскую значимость. Повседневность? Да, своего рода. Но кто сказал, что повседневность не может быть прекрасна? Иногда бывает важно разглядеть за непроглядными завесами что-то самое-самое. Разглядеть, даже если ничего там и нет. Тем я, может, и занимаюсь...

Марина, Мариночка! Как же разыскать теперь следы твоих волшебных кед-скороступов на островном песочке?

Что до Цыгана, то думаю, все это — ну, о тюрьме и прочее — были досужие домыслы, такое зеленоостровское мифотворчество. А может, и правда, кто знает?.. Важнее вот что: люди, о которых я говорю здесь, о которых вспоминаю, жизнь вели наискромнейшую — дача, коттедж или новенький катер оставались недостижимым пределом их желаний, а ведро поддубников или песочников, не говоря уж о скрипучих груздях, воспринималось как истинное богатство. Но я понимаю теперь, что они были богатыми, о, какими богатыми они были! Почему? Да потому что были свободны. И делали, что хотели. Наверное, я не прав, но мне кажется, что время, о котором мы с вами толкуем, позволяло людям находить укрытия, или уголки, или трещинки, или микроразоры, и тех застрешин хватало на целые жизни. Сейчас попробуй еще сыщи такую отдушину.

Повар

Самый колоритный персонаж этой убывавшей уже тогда потихонечку армии — Повар. Повар — конечно же, прозвище. Откуда оно пошло? А все очень просто: пожилой рыбовод, безумно любящий рыбалку,

действительно работал когда-то в общепите, но главное — повязывал на время рыбалки фартук, чтобы не пачкаться чешуей и рыбьей слизью. Да мало того, к фартуку вдобавок примащивал полотенце — вытирать руки. Он вообще постоянно, после каждой пойманной рыбешки, после каждого заброса с шумом опускал руки в воду, тщательно шерудился в воде, а следом протирал чуть ли не каждый палец полотенчиком. И, довольный своим действием, весело кряхтел.

Все всегда подшучивали над ним, спрашивали: «Повар, ты половник-то захватил, а то посолил бы и хлебал прямо из Волги! Нечего рыбу-то ловить да домой волоочь. Лаврушки туда да сольки». Или так: «Эй, Повар, что у нас меню-то нынче? Красненькое есть? Беленькое есть? Ну тогда и никакой рыбы не надо!» Или: «И закуска ни к чему — Повар, если что, тряпку с пояса даст занюхать!»

Повар оборудовал рыболовное свое место хаотически-гармонично. И весьма, впрочем, основательно. Он притаскивал с собой целые охапки удочек и спиннингов с вьющейся полузапутанной леской, из кармана его широченных брюк вечно торчали огромные гусиные перья, а еще он зачем-то брал ведра, лопаточку, действительно пачку соли, котелок, два самодельных стульчика, свернутую скаткой плащ-палатку... У него все было замотано, свернуто, скатано и перевязано полусгнившими веревочками и обрывками изоленты. Если бы Повар все эти свои скатки раскатал, то расстелилось бы, верно, целое поле. Но он не раскатывал, держал про запас — для спокойствия и надежности.

Утренний сентябрьский штиль, широкая вода лежит — не шелхнется. Красный бакен отражается на фарватере. Солнце мягкое, приглушенное легкой марью. На воде виден каждый кружочек от играющей рыбы. На песке зеленоостровской волжской косы устраивается с чувством, с расстановкой наш Повар. Он, человек грузный, тяжелый, совершенно лысый, в огромных очках, в длиннющих — выше пояса — сапогах болотных, заходит в воду с тонкими, саморучно выточенными ольховыми колышками, чтобы воткнуть, ввернуть их в мокрый песочек поглубже — удочка будет удобно лежать на колышках, готовая в любой момент для подсечки. Когда дело сделано, кто-то из друзей-шутников, рыбачащих поблизости, с самым серьезным видом советует:

— Ты ближнюю-то рогульку хорошо поставил, а дальняя вырвется от волны, как утюг пройдет. Поправь.

— Шо, треба? — недоверчиво спрашивает рыболов.

— А то нет! — отвечает ему советчик как можно более уверенно.

И вот наш любимый Повар, перенадев очки, снова заступает в прозрачную осеннюю воду, становящуюся с каждым шатким шагом все темнее и глубже. «Сейчас, сейчас я его примощу. Только натисну половчее...» Вдруг раздается треск, и Повар, под чьим грузным телом ломается, конечно же, колышек, оказывается в воде. Долго еще хохот разносится над Волгой, подхватываемый чайками, а после уж знакомые рыболовы-шутники бросаются сушить неуклюжего своего товарища, дают ему сухие носки, штаны. Только тот все равно повязывает поверх



них мокрый фартук — иначе не может. И хохочет вместе со всеми — иначе тоже никак. На зеленоостровском наречии вся эта процедура, из раза в раз повторяемая, называлась «делать Повара». Мне кажется, впрочем, что добродушный старик немного подыгрывал своим товарищам, они шутили над ним, а он — над ними. И вот ведь как это въелось в душу — про каждый свой неуклюжий шаг до сих пор говорю: «Опять сделал Повара...»

Однажды Повару надоела береговая жизнь. То есть как надоела? Она никогда надоест не может, рыболовное дело скуки и уныния не признаёт — постоянно чем-то занят человек с удочкой: подстраивает, подпиливает, прикручивает, связывает, забрасывает, мешает подкормку, шерудится в банке с червячками навозными, моет руки. Да просто на воду смотрит — тоже дело, скажу я, немаловажное! Но вот так уж вышло, что однажды решился наш Повар гордо покинуть береговые пределы. К песчаной косе, на которой сживал он, бывало, преспокойненько с удочками и на которой как раз так лихо «делал Повара», прибило как-то в ветреную ночь плот. Не плот, строго-то говоря, а так, плотик. Несколько бревен связанных. Может, мальчишки баловались, может, волной смыло с какого-нибудь дачного бережочка. Неизвестно. Да только сам не свой сделался рыболов: «Мне далёко плыть не треба, — бурчал себе под нос Повар, связывая и сбивая покрепче подгнившие бревна, — мне только в ту бочажину добраться, забродочку дойти два десятка метров, а там я на плотик и взберусь. А там уж...»

Трудно сказать, что означало это мечтательное «а там уж», видимо — горбатых окуней и забронзовелых лещиков.

Его отговаривали, его предупреждали, что вся эта его конструкция развалится от первой же волны, — но разве переубедишь Повара? К центру плотика он примостил шину. «Вот и сиденье, — ликовал он, — вот и спасательный круг».

Взял он, недолго думая, пару удочек, кое-какой скарб, взгромоздился на свой трон из шины и пошел вдоль берега по пояс в воде, ведя за собой на привязи, как добрую животину, новоявленный плот. Добрался таким макаром и правда до заливчика с камышами, куда никак с берега подобраться нельзя было, привязал плот за ветку какой-то растущей в воде ивнины. «А шо? — победоносно оглянулся на нас, жалких береговиков, Повар. — Я ж казал — все выйдет».

В заливчике рыба непуганая, первый же заброс — и у Повара в руках красноперка. Второй заброс — подъязок, третий — добрый подлещик.

— Вот то жизнь, — радостно вытирает руки специальным своим полотенчиком Повар, — вот то рыболовля! Сижу, шину нагрело, ногам раздолье, и даже гвоздок для сажалки пристроен. Тёпло! Гарно! Никакого берега больше знать не стану!

Ну не станет и не станет. Не любоваться же на Повара целый день. И всяк из нас начинает заниматься своими рыбацкими делами. Только время от времени не без раздражения слышим мы восторженные возгласы Повара: «О, какой лапоть попался! Вот я тебя подсачу! Добра будет ушка-юшка!»



Рябь набегает, рыбешка ловится, чайки суетятся, солнышко поднимается. Рыбачим себе, о Поваре не думаем. Что завидовать, когда у самих в садках и серебро и золотце плещется.

Но Повар неожиданно сам напоминает о себе.

— Братцы! — машет он руками. — Моя бочажина чаровная. Был метр глубины, стало — пять.

— Да это не бочажина, а ты сам чаровой! — кричат Повару «братцы». — Дурной то есть! Ты практически к морю уже идешь! Эх, еще бы парус! Фартук на парус пускай!

Только тут Повар понял, в чем дело: зарыбачился и не заметил в азарте, как отвязалась от ивнины его веревочка.

— Ну киньте мотузку⁷ какую, ну спасите старика!

Не совсем к морю, конечно, но к фарватеру. И какую «мотузку», спрашивается, до фарватера добросишь — слишком далеко он уже на своем агрегате от берега.

Но рыбаки народ смекалистый. У кого-то нашелся спиннинг с тяжеленным свинцовым грузом на конце.

— Только не зашибите, братцы! — горланит Повар.

— Не бойсь, не зашибем!

Свинцовая «ложка» перелетает со свистом через плот, Повар хватается за толстенную — бельевую — леску, заматывает ее за бревно плота, и мы потихонечку, медленно вращая катушку, буксируем Повара на спиннинге к берегу.

— Щук ловил, — смеется кто-то, — судаков ловил... А вот Поваров никогда!

И зеленоостровская волжская коса оглашается всеобщим добрым смехом.

Повар спасен. С него причитается.

— Слышь, Повар, — подначивают его друзья, — ты плотик-то свой подальше в кусты запрячь, а завтра прибудешь пораньше — и в любимый заливчик. Там же, как ты говорил, гарно. И рыбищи полно, и русалку, может, какую заплутавшую зацепишь!

— Нет, нет! — отмахивается Повар. — Только берег люб мне, только песочек под ногами. Никаких плотов больше не треба!..

Бредень

Имелся на Беклемишевском и еще один авторитет. Да какой! Непререкаемый. О чем ни пойдет спор, какая ни вспыхнет зеленоостровская полемика — все к нему, к его опыту апеллировали. Правда, было и одно но: редко кто его видел и еще реже кто говорил с ним. Как это, спросите? А вот как.

Погода ни к черту. Ветер буквально с цепи сорвался. Белые барашки-гребни на волнах прыгают. Сиро, тоскливо. На Волге такое

⁷ Мотузка — веревка (укр.).

случается: вчера еще мягкий борей, и водичка приветливая, а сегодня с утра — сиверко.

— Красно солнце поутру — рыбаку не по нутру! — приветствует нас шкипер на дебаркадере. — Рыбалки не будет.

Он поеживается, закуривает, уклоняясь от хлесткого ветра, и добавляет загадочно:

— А все ж Бредень ведро взял. С пяти до семи ловил — пока на хлест не разбежался. Но то Бредень...

Возвращается Марина к вечерней барже, что-то грустноватая.

— Представляете, всего десяток поддубников отыскала — замаялась. Нет гриба. И вроде дожди прошли, и вроде в самую гущу залезла. Почему такое? Всего десяток... Ну на суп, пожалуй, хватит, завтра доберу! Вот Бредень вчера два ведра надыбал — весь остров ахал! И подберезовики, и грузди, представляете? Но то Бредень...

Чинит дядя Гриша мотор, ворчит:

— У Бредня надо подмоги спросить, он точно подсобит!

Почему Бредень? Бог весть. Может, бредешком рыбку сноровисто захватывал, а может — бродить по островочку любил Беклемишевскому. О его невероятных островных талантах слышал я и в жару, и в стужу, и в дождь, и в снег. И восхищался им вместе с другими. Больше того — годы спустя, если что-то не разруливалось — не срасталось, мысленно вздыхал: «Вот Бредень бы справился!»

* * *

Островные люди — свободные люди. Волжские лодки — свободные лодки.

В серенькие сентябрьские будни, после вольного лета, собираюсь — собираюсь, я бы даже сказал — в школу, отец надевает пиджак — на работу пора, в издательство, в журнал, мама готовится к лекциям в медицинском, и вот мы ведем эти сборы всей семьей, а потом вдруг переглядываемся: на Зеленом-то сейчас красота, дядя Гриша бороздит Волгу, тетя Люда продает кому-то три билета — один детский и два взрослых, Цыган машет загорелой рукой со своей «бударки». И шкипер Алексей гремит в меднобокий гремочек. Вот где раздолье, вот где лафа.

А еще о дяде Ване не сказал. Ох уж этот дядя Ваня! Он, заслуженный в прошлом военный, истинный офицер по духу, мягчайший и тонко знающий жизнь человек, торжественно выходит со связкой удочек на специальные — «пензионерские», как сам их называет, — мостки на опустевшей островной базе отдыха, которая стала со временем рыболовной нашей Меккой. А по водичке синей дубовый уж листок первый проплывает. Вот где жизнь-то, вот где вольница! Дядя Ваня, искуситель, частенько, случалось, сбивал нас с пути истинного, а может — наставлял на тот самый путь, как знать? Говорит, бывало: «Ну, первая неделя в школе — притирка к цели (он танкистом служил), день Ванюшка сходил, а следующий можно и Волге отдать». Он так и говорил: «Волге





отдать». Умел дядя Ваня как никто другой обихаживать, насиживать местечко для рыбной ловли. Если на мостках располагается, то кресло старенькое с собой захватывает, если в жару дело — то он уж под тентом, если в дождь — под зонтиком. А на столике у него чаек горячий дымится. Вода из залива уходит, узенькая проточка, связывающая заливчик наш с большой водой, пересыхает, никак рыбе ни пройти ни выйти, и тогда дядя Ваня берется за лопату — в его-то почти восемьдесят! — и углубляет проточку «на штык», как сам, по-армейски, выражается. А по бокам ставит пару флажков, чтобы приплывающие лодки на мель не садились, точно по углубленному месту шли. Все только и повторяют с поклоном — да, силен дядя Ваня!

Так, стало быть, «Волге отдать». И разве после такого не отдашь? Срывались мы с отцом в осенние просторные деньки, охотно обрывали паутинные связи с городом, прогуливали и школу, и работу. И мама только головой качала. Но — отпускала. Дома это называлось так: «Пока погода летняя». Или родители на мои мольбы о внеурочной, в буквальном смысле, поездке на Зеленый отвечали: «Загадывать не будем. Утром решим, по обстоятельствам». Это означало, что нужно быстренько готовить снасти к рыбалке...

С самого детства я уважительно и с некоторой, не скрою, белой завистью относился к людям, которые отправлялись на Зеленый каждый день — как Марина, как на работу. В основном это были, конечно, чудачки, пенсионеры — из старой гвардии, или, как говорится, люди старой закалки. Какой-нибудь комариный залив, или поддубниковская грибная делянка, или продутая свежим ветром волжская коса — вот их жизненные ориентиры. Они сознательно доживали жизни в этом стремлении к волжской воде, отдавали остатки лет Волге. И вода, я полагаю, дарила им силы. В чем-то очень ограниченные, они все равно выделялись из людской массы своей обветренностью и костровой прокопченностью, на них заметно было тавро вольной жизни. Свободные они, островные люди и волжские лодки.

Часть 3. ЗЕЛЕНООСТРОВСКАЯ МЕККА

Так случилось, что свободу поддубниковскую зеленоостровскую познали мы с отцом не вдруг, не с первого самого дня, да и года, пожалуй, не с первого. Нужно было сперва просмолиться как следует ушиним дымком, вобрать в себя хотя бы несколько крупиц песчаной мудрости, слиться с отражениями в заливах и протоках, узнать поименно все озера, лесные глубины и речные мели. Вторая коса, У трех братьев, Бочка, Щучье, Долгое, Старый мост, Девятка, Продира, Иваново озеро, За пароходом, Первая поляна...

И только после этого единения с островной жизнью мы обрели здесь, среди песков и дубов, волшебное место рыбацкой радости и душевного

отдохновения. Обрели случайно. Или это только так кажется, что случайно? И правда, многое ли происходит с нами случайного в жизни?

Над такими и подобными вопросами любил по-философски задумываться Николай Павлович Рыжков — он-то в урочный час и открыл перед нами ворота зеленоостровской Мекки.

Но прежде хотя бы пару слов, для зачину, еще об одном вольном зеленоостровском лодочнике — Вениамине Петровиче. И о его островном окружении.

Вениамин и К°

До глубины души заводской человек, Вениамин всю свою сноровку, весь свой опыт вкладывал в лодку. С некоторых пор, выйдя, как я понимаю, на пенсию, он и жить стал прямо на Зеленом острове — рядом с любимой лодкой. Да что там рядом — прямо в ней, в родимой.

Прибудешь, бывало, на зеленоостровскую базу отдыха, директором которой стал тогда как раз радушно привечавший в своих владениях коллег по писательскому цеху Юрий Иванович Сидоренко, о чьем отце, дяде Ване-то, я говорил уж (вот она, Мекка-то зеленоостровская, вот она, улыбка судьбы!), так вот, прибудешь, а Вениамин уж возится с мотором: руки перепачканы мазутом, из кармана торчит обрывок ветоши... Раз Вениамин Петрович на месте, работает — значит, порядок!

В первый раз увидел я Вениамина Петровича, когда он набирал воду в прокопченный насквозь чайник. Вениамин шумно, широко зашел чуть ли не на середину залитой полый водой луговины, забрел прямо так, босиком, отогнал широкой своей ладонью влекомые ветром плавни и ловко черпанул ледяной майской водички. «Смотри, — подмигнул он мне, открывшему рот, — ни одной соринки. Чаек заварим что надо! А вода здесь, на Зеленом, — особенная, она своих любит».

Славное было время. Разгорался май. Остро и даже пьяняще пахло дубовым листом, последним появляющимся на свет по весне. Соловьи просто надрывались в кустах ивняка и цепкого боярышника. Лягушки старались не отставать и устраивали свои собственные, лягушачьи концерты. «Теперь все на уху!» — кричит Юрий Иванович из своего домика на воде, и обитатели базы подтягиваются на ароматный дымок. Тут и Вениамин Петрович с женой, добрейшей и немного отчего-то грустной женщиной, у которой был, казалось мне, родной голос, и Виталий — истинный волгарь и умелец, каких не сыскать, и Олег Максимович Лукьянов, замечательный писатель-фантаст, один из самых начитанных и образованных людей, каких только мне доводилось видеть, и тот самый дядя Ваня, конечно же, и Николай Рыжков собственной персоной. И мы с отцом.

И разговор сразу же заходит о лодках: где просмолить, где подкрасить, из чего смастерить новые стлани, какой болтик вылетел из мотора, как починить треснувшее весло...





Ход весенней воды, несущей новую жизнь, открывающей праздник нереста, был для меня всегда радостен. Крутятся в водоворотах течения сухие плавни, идут по реке вымытые из глухих бочажин прошлогодние камыши, порой и льдинка, чудом уцелевшая, черная, игольчатая, проносится. Бакены кренятся, как будто они бурлаки, волочащие на своих плечах могучую реку. Чайки капитанят на сухих островках, весело гудят пароходы. Пахнет водой, у пирсов — немного краской и мазутом. Пароходики все покрашенные, новенькие, как игрушечные. Звездочки у омиков на носах красные, якоря — белые. И на Зеленом — шум-гам. Кто-то забрасывает удочку прямо с крыльца подтопленного домика, кто-то подновляет катер, кто-то суматошно ищет резиновые сапоги... А вот некоторые, вроде Вениамина Петровича, обходятся без всяких сапог. Вениамин всегда по весне передвигался по острову на лодке, отталкиваясь от деревьев и мелкого дна веслом, что шестом. Ну, разумеется, не на моторке своей ненаглядной, а на простой деревянной «березке». Кстати, не он один. Нина Кирьяновна, под чьим неусыпным вниманием находилась вся хозяйственно-бытовая жизнь на турбазе, тоже передвигалась от домика к домику, и вообще по залитому вешней водой острову, исключительно лодочным способом.

Удивительная женщина Нина Кирьяновна! Сколько ни встречал ее — всегда смеялась. Или улыбалась, по крайней мере. Сколько кто ни спрашивал, убывает ли когда-нибудь она с острова, — всем отвечала загадочно: «В городе квартира у меня, а здесь — дом! В доме всё лучше!» Кирьяновна всегда на месте и всегда при деле — что-то моет, или чистит, или стирает, или варит. И выглядит так, точно не работу тяжелую работает, а отдыхает.

— О, рыбаки пришли! — встречала нас с отцом обыкновенно Нина Кирьяновна на базе. — Ну, рыба, держись! А я вот, видите, в магазин собралась с утра пораньше!

И смеется.

К слову, на Зеленом, начиная с первого мая, действительно работал магазин, ну простой магазинчик с самыми элементарными продуктами и вещами — соль, сахар, мука, конфеты, вино, курица, спички и все такое. Магазин был недалеко от базы, и здешние обитатели охотно плавали за необходимым. Плышет Нина Кирьяновна, скажем, сноровисто огибая деревья и пеньки, а на корме гора подушек и пододеяльников, а навстречу Вениамин Петрович, из магазина уже в лодочке скользит:

— Здорово, Кирьяновна! Тебе соли на кухню забросить? А то накупил полпуда, думаю, старый дурень, рыба скоро поперет, а она-то еще не пошла толком. Вода поднялась, а рыбка пока нет. Ну, забросить, что ли?

— Да, Петрович, если не трудно. А хлеба взял?

— А то как же!

— Ну тогда пару буханок, потом рассчитаемся.

— Придумала тоже — «рассчитаемся». Если только натурой!

— Мне натурой нельзя, — кокетливо поправляла платок Кирьянова, улыбаясь смущенно, — я еще в девках хожу.

— Ну тогда с тебя обед из трех блюд с компотом — я нынче голодный и жадный.

И они смеются, когда их лодочки, поравнявшись, соприкасаются боками...

Понимаю, сегодня это все звучит фантастически — магазин, работающий с самой ранней весны до поздней осени, до конца навигации, на волжском острове. Но чья лодка соприкоснулась хотя бы едва-едва, боком, с тем временем, сразу поймет, о чем речь, и нисколько не удивится.

«Глаза б мои его не видели...»

Нина Кирьянова всему и всегда улыбалась. А вот Игорь Дмитриевич, напротив, всему и всегда хмурился. Он был, пожалуй, самым нелюдимым и вредным сторожем базы. Стучимся с отцом в черемуховое весеннее ненастье на базу, а калитка затворена. Никто из сторожей не запирается, кроме Игоря Дмитриевича.

— Игорь Дмитриевич! — стараюсь сохранять добродушную интонацию, кричит отец. — Это мы с Ваней.

— Кто? — спрашивает вредный старик, стараясь, в свою очередь, сохранять в голосе недоумение и металлическую холодность.

Он видел нас десятки раз уже, обсуждал рыбалки, читал газеты, приносимые папой на базу, но все еще не принял за своих.

— И почто в такую погоду холодную приплыли? — дребезжит он из-за калитки.

— И правда, зря, наверно, — вынужден согласиться отец. — Но раз приплыли — куда ж нам деваться?

О, папа умел быть дипломатом, когда приходилось!

— И то верно, деваться некуда, — двусмысленно вздыхает Игорь Дмитриевич, неспешно погромыхая связкой ключей.

Потом надо как-то перейти к разговору о лодке. Это не очень-то просто. Ведь у Игоря Дмитриевича, в отличие от всех остальных работников базы, есть специальная тетрадь, в которой он скрупулезно ведет учет прибывших и убывших лодок. Хотя никто его об этом, конечно, не просит.

— Может, в такую бурю не поплывете? — Игорь Дмитриевич с грустью смотрит на ледяную свинцовую рябь залива. — Может, на мосточках?

Если бы все было так просто! Но «на мосточках» самая волна расходится, нужно по такой погодке прятаться за прошлогодние тростниковые редуты. Да и рыба там прячется-трется хорошенькая. И отец не отступает.

— Да мы здесь, у бережка, прямо на виду, чтоб вы не беспокоились.

Ход отца тонкий. О чем может беспокоиться Игорь Дмитриевич? О том, что мы, друзья директора базы, угоним лодку? И он немедленно уступает.





— Да я уже отпираю, отпираю... Ну а чего ж, посидите... Может, и клонется какая шальная. А мне на рыбалку неохота. Глаза б мои этот залив не видели.

«Ну а чего ж» и «глаза б мои этот залив не видели» — излюбленные присказки Игоря Дмитриевича, которые он несколько варьирует в зависимости от обстоятельств. Попросит, скажем, Юрий Иванович им с Виталей подсобить маленько, траншейку для холодного копчения рыбы углубить, Игорь Дмитриевич, нарочито вздыхая, с шумом достает лопату из подсобки и декламирует, укоризненно глядя на Сидоренко:

— «Вырыта заступом яма глубокая...» Ну а чего ж не подсобить, подсоблю, не семьдесят же мне лет-то...

Или обратится Кирьяновна в горячую пору:

— Игорь Дмитриевич, захвати мне пачку соды на кухню, а то закончилась, ты ж все равно в магазин собрался!

— Да в магазин, в магазин, — кивает старик головой. — Глаза б мои его не видели.

А когда видел меня, бурчал под нос песенку:

Хорошо на Волге жить,
Плывут пароходики.
Незаметно протекают
Молодые годики.

Игорь Дмитриевич ворчал и бурчал на всех и конфликтовал со всеми. Он был всегда в шляпе, в синей плотной рубашке. На загорелом лице сурово сдвигались темные брови. Говорил он как бы нехотя, с напряжением открывая рот. И его дежурствам, что удивительно, всегда сопутствовала дурная, сырая и ветреная погода. Сварливая, скажем так.

Мой старший брат Саша, приезжавший к нам обычно в летний учительский отпуск, отчаянный любитель спиннингов и тонкий ценитель блесен, как-то приплыл порыбачить на остров без нас с отцом, и Игорь Дмитриевич, прекрасно Сашу помня, дал ему лодку и весла только после того, как взял в качестве залога электронные часы...

А вот еще вам случай. Рядом со сторожкой Игорь Дмитриевич устроил свой маленький личный огород: посадил помидорку⁸, огурчики, укропчик там всякий. К июню молодой укроп уже можно было срывать, и отец частенько захватывал, мимоходом, кустик-другой — к ушнице. Делал он это очень оригинально. Собирает потихонечку букетик цветов, подмаренничек там всякий, донничек, а сам к огородным владениям Игоря Дмитриевича продвигается, под цветочным-то прикрытием. И раз — веточку-другую к букетику пристроит. Как бы случайно. Как бы нечаянно. Воровством тут и не пахло, если учесть, что семена нахмуренному нашему огороднику мы же из города и привозили по его просьбе.

⁸ Помидорка (помидора) — помидоры (диал.).



Что не помешало, впрочем, Игорю Дмитриевичу поймать нас, что называется, за руку.

Папа, значит, приманивает к букетику очередную зеленую ароматную веточку, я боюсь, как могу, но Игорь Дмитриевич тут как тут.

— А я-то думал, — дребезжит он над папиным прямо ухом, — почему это у меня укропа все меньше и меньше?

Укроп, скажу, штука копейная. Просто нам с отцом хотелось зеленоостровского, понимаете? Уха из зеленоостровских окуней, приправленная зеленоостровским укропом. Это ж романтика просто.

Но Игорь Дмитриевич не романтик. И продолжает свой наскок:

— Это что же вы, мой укроп едите?

— Нет, — спокойно, как всегда, находится отец. — Это Юрий Иванович попросил. Для всей базы. Для большой вечерней коллективной ухи...

— Ну а чего ж, — вздыхает Игорь Дмитриевич обреченно. — Пенсионерский укроп всем сладок...

Таким-то был самый суровый и злобный сторож зеленоостровской Мекки. Единственное живое существо, в судьбе которого он принимал теплое участие, звалось Тобик — старый-престарый пес непонятной породы, весь поседевший и выцветший. Тобик походил на злого сторожа угрюмостью и колючестью. Даже если давали мы ему с отцом сладкую косточку, он, казалось, не очень-то радовался ей и, утаскивая ее в свою конуру, ворчал под нос: «Ну а чего ж. Мне, старику, кости с барского стола. Заслужил...»

Случилось так, что мы с папой застали последний день Игоря Дмитриевича на базе — провожали его вместе со всеми в город, устал он дежурить, надоело. Да и зрение начало подводить очень уж. Погода была ветреная, серая. Посидели за столом под дубом, повспоминали истории из былого, Юрий Иванович что-то подарил суровому старику на память.

Он поблагодарил Сидоренко, даже приобнял его, и попросил не прогонять с базы Тобика. Никто этого делать не собирался, конечно. Но Игорь Дмитриевич произнес то ли в очередной раз задремавшим, то ли впервые дрогнувшим голосом:

— Собака старая, долго не протянет, вы ее подкармливайте тут... Тобик, он много лет всем нам служил, глаза б мои его не видели...

И снова Вениамин

Но пора вновь обратить взгляд на Вениамина Петровича.

Вениамин мог часами рассказывать о лодках и веслах, вспоминать истории и интересные случаи из волжской жизни. Да вот, к примеру. Вышел как-то Вениамин на фарватер, поздней-поздней осенью, в конце ноября, после уж закрытия сезона судоходного, в минусовую, вышел на ночь, заякорился, кормушечку опустил, и лещи, краснобокие, заматеревшие, с глубины двадцатиметровой брать начали. Азарт, холода не замечаешь, на борту фонарик светит, чтоб от баржи уберечь в кромешной-то тьме осенней.



— И, — торжественно и даже с какой-то гордостью повторял всякий раз Вениамин, поднимая корявый указательный палец с посиневшим, приплюснутым за верстаком ногтем и переходя на шепот, словно бы мы все теперь оказались посредине осенней ночной Волги, — гляжу, а фонарик-то как-то странно в воде отражается, потому что не в воде уже, а во льду. Пока я ловил, за ночь буквально, Волга встала! Хорошо, у меня шест всегда под рукой, как посветлело, начал пробиваться к берегу. А лещей таких с тех самых пор я не то что не ловил, но даже и не видывал...

— Это ты, Веня, поллитру не взял с собой, плесканул бы — и всю шугу бы растопил! — широко улыбались слушающие эту историю уже в пятидесятый раз островитяне.

— На Волге ни-ни, нельзя, Волга, она уважение любит! — отвечал Вениамин Петрович.

Да, Волга для людей, о которых говорю теперь, была священным пределом, местом жизни, местом работы, местом погружения в себя. Ведь не за лещами же одними выплываешь ты морозной предзимней ночью на бездонные волжские ямы, не за рыбой, не за добычей. Тут что-то большее есть, глубина, что ли, иного измерения. Для кого-то Волга — она и искусство, и история...

Истории историями, но больше всего нравилось мне просто смотреть на руки Вениамина Петровича — загрубелые, натруженные постоянной работой руки, знающие истинную поэзию дела. Вот он подходит к мотору, кажущемуся до поры неживым, застывшим, и что-то вдруг начинает вертеться, вращаться, стрекотать, и становится ясно, что у мотора тоже есть норы, он тоже неповторим по-своему, а значит, и уникален.

Частьенько, особенно летом, Вениамин и дневал и ночевал прямо на своей лодке — благо она была с каютой. Старый лодочник был со своей лодкой в непростых отношениях. Когда моторка слушалась его, была с ним заодно, Вениамин Петрович расхваливал ее на все лады: уж такая лодочка-то у него незаменимая, уж такая спорая. И быстра она, и волну держит. Если же лодка начинала барахлить, если что-то не контакило, не получалось на раз-два запустить чиненый-перечиненый мотор, то старик грозил посудине своей страшными карами и подробно рассказывал, как, и кому, и когда продаст «нерадивое корыто».

— Ты думаешь, — обращался к лодке Вениамин, — я это и дальше буду выходки твои терпеть, буду укутывать брезентом на зиму и поднимать на распорочках? А может, ты возмечтала, что я покрашу тебя, как весной, красочкой свежей, такую-растакую?.. А ты мне навстречу, паскудинка, хоть шажочек, хоть гребочек один сделала? Нет? Ну так и не надейся, ближе к зиме продам, продам, терпеть такого не буду. Что молчишь? Вон, Васька уже не впервой интересовался, а что — хоть копейку какую выручу.

Лодка слушала хозяина настороженно, как будто была она коровой-кормилицей, от которой грозятся избавиться. Лодка понимала, конечно, что Вениамин Петрович ни на что и никогда ее не променяет — слишком

многое и слишком долгое связывало их. Растросить⁹ такую связь невозможно. Но на всякий случай становилась покладистой.

Был у Вениамина Петровича сосед по лодочному ну не то чтобы кварталу, а так, хуторочку на воде. Звали его все по фамилии — Истомин. Он тоже, как и Вениамин, жил на базе, под крылом Юрия Ивановича, но большую часть времени проводил в каюте своей гуляночки. Вместе Истомин и Вениамин, как настоящие соседи, плавали на коренную, ловить на кольцо разную фарватерную рыбу, леца в основном, стрежневую густеру, сопу. Вместе ладили снасти. Вместе вывешивали свой улов вялиться на солнышке в специальных сушильнях. А в плохую погоду, когда на открытой воде боковая хлесткая волна расходилась, сидели они по каютам, покачиваясь у понтонного мостка и изредка переговариваясь. Благо их лодки-дома были совсем рядышком. И к ним на лодки, по мосткам, приходила жена Вениамина. Придет, попробует уговорить стариков ночевать в домиках, да так ни с чем и отправится восвояси, тихонечко жалуясь кому-то на своего отбившегося от рук и от суши горе-мужа. Только ужин старикам оставит — и уйдет.

Раз, помню, в одну из поздних, осенних уже, ночевок на Зеленом, проснулся я раньше положенного, еще когда лишь полоска утреннего света — и та мерещится только. Вышел из домика — ночь звездная, в стихшем, недвижимом заливе Млечный Путь отражается бледным свечением. Зеркало. Амальгама. Вдруг смотрю, в истоминской лодке огонек засветился, издалека видать его в запотевшем окошке. И сам Истомин, кутаясь в телогрейку, горбясь после короткого стариковского сна, выбирается из лодки на понтон и кличет Вениамина Петровича — на рыбалку, стало быть, будит его, с вечера договорились плыть вместе. Он зовет Вениамина сначала тихо, потом громче и громче, в ночной осенней тиши почти криком звучит его голос:

— Эй, Вениамин Петрович! Вениамин! Венька, старый ты хрыч! Жив там еще, что ли, в своем корыте?

— Да жив, жив... Что утро зря шугаешь? Могли бы и поспать еще часик — не на работу...

* * *

У времени — работа своя. Поднималось солнце, и опускалось солнце. Зеленели листья, и облетали листья. Приходила вода по весне и убывала по осени. И коренастое племя зеленоостровских лодочников и рыболовов убывало с каждым годом. Сначала не стало дяди Гриши, не пережившего одну из суровых зим середины восьмидесятых, не дождавшегося праздника перевозчиков и всех речников — половодья. Его темная куртка не промелькнула больше на фоне цветущей черемухи.

⁹ Растросить — разорвать, разомкнуть.





Погиб Цыган, сгорев по пьяному делу в своей сторожке. И его «бударка» потом доживала сиротский лодочный век, угрюмо уткнувшись носом в глухой чакан¹⁰.

Некого стало навещать на острове Марине.

Исчез с золотой волжской косы Повар. И песочек речной враз потерял свой драгоценный цвет.

Потом сложились для вечного покоя руки Вениамина Петровича. И лодка Вениамина тоже сложила весла, как руки. И никому-то ее не продали...

Мне запомнилось, как жена Вениамина Петровича (слово «вдова» тут как-то не к месту) все плакала, все повторяла: «Венечка умер...» И в ее изменившемся, каком-то чужом, неузнаваемом голосе слышалась боль утраты, нашей общей утраты, ведь потеря таких людей невозполнима, а пустота страшна. И моросил над островом дождик, и капли-слезы текли по стеклам съездившихся от ненастья домиков. «Венечка умер... Венечка... Венечка...»

Я вот еще о чем захотел вспомнить почему-то. О пути к причалу и о самом отправлении на Зеленый. Нужно было поспеть к первому утреннему троллейбусу, выйти на Соборной, спуститься по заросшей цветами и высокими травами лестничке к Набережной, зайти в здание Речного вокзала, за билетами, и быстренько — вдруг не успеем! — к столбику номер шесть. На Зеленый всегда было отправление с шестого причала почему-то. И обязательно каждый рейс — на Шумейку, в Пристанное, в Усовку, на Зеленый остров — объявлялся. И вот когда объявление уж прозвучало, когда трап матросы установили, когда нужно первый шаг по трапу сделать, перед этим самым шагом за мгновение — я испытывал внутреннюю дрожь. То ли от волнения, то ли от счастья. Да еще и прохладно утром у большой воды, всегда прохладно, даже в жару. И теперь, когда прохожу зачем-то мимо причала номер шесть, с которого много-много уже лет не отправляются никуда омики и тем более баржи, я испытываю необъяснимое волнение, даже мурашки по коже пробегают. И еще я смотрю в сторону Зеленого, когда бываю у причалов, как-то инстинктивно, само собой получается.

В тумане. «Ни мур-мур не видно!»

Осенью, знаете, в сентябре-октябре, случались обидные туманы по утрам. Всю неделю собираешься, внутренне готовишься к выезду, ждешь единственного выходного, нервно постукиваешь-барабанишь по барометру — не падает ли атмосферное давление, проверяешь; наконец, загодя, на самом первом-препервом троллейбусе, приезжаешь на Речной вокзал — а рейс отложили. Люди стоят, ждут, когда матросы трап установят, а по речному вокзалу объявление: «Уважаемые пассажиры! В связи со значительным туманом, затрудняющим видимость, диспетчер принял решение отложить отправление “ОМа-126”,

¹⁰ Чакан — рогоз.

следующего до Зеленого острова, на один час. Следите за дальнейшей информацией».

— Да разве это туман, — машут возмущенные рыболовы, грибники и дачники куда-то в сторону мостовых быков, которых даже и контуров не видать за пластами белых низовых наплывов, — разве это «значительное затруднение»? Всё за километр как на ладони. Да уже через пять минут плыть можно! Эй, где там диспетчер?

Из окошка речвокзала показывалась, в таких случаях, голова диспетчера — Багорика. Фамилию его, понятное дело, никто упомнить не мог, имя-отчество тоже растворилось где-то в «плохой видимости», а вот прозвище Багорик подошло ему один в один. Он был невысокого роста, моложавый, с худыми цепкими руками, с остро заточенным подбородком и скрипучим голосом. Одно слово — Багорик. И вот диспетчер Багорик, зябко потягиваясь, поскрипывал, разъясняя людям ситуацию:

— Никак нельзя, по сводке через час туман сдвинется, тогда и навигацию пустим. Ни мур-мур не видно. Часик всего подождите, посидите, сил наберитесь — целый день же впереди, часом больше, часом меньше...

Люди негодовали:

— Багорик, да ты что, издеваешься? Как это «ни мур-мур»? Как это часом меньше? Да за час сколько можно груздей набрать, да за час и до Девятки (самой дальней островной протоки) дойти можно!

— Да за час и уха будет, — нетерпеливо потрясали связками бамбуковых удилиц рыболовы, — ради утреннего клева только и плывем! Повар уж фартук нацепил! Сколько можно здесь торчать? Бредень, верно, уж с уловом возвращается!

— Баклешка утром самая жирная идет, — задумчиво подтверждала Марина.

И обязательно прибежал, запыхавшись, кто-то безнадежно опоздавший. Всегда находится тот, кто пытается нагнать время. Весь взмыленный, с гроыхающим рюкзаком за плечами, тяжело отдыхаясь на ходу. Прибежал человек и радовался — на спасительные минуты задержалась отправка, поспел, нагнал, не зря мчался. И тотчас начинал требовать, вместе со всеми, немедленного отправления.

Наконец компромисс находился, парходики выпускали в рейсы, и они потихонечку, так же нехотя, так же зябко поеживаясь, как и диспетчер Багорик, разбредались по своим направлениям и исчезали в осеннем волжском тумане.

* * *

— ...Эй, Вениамин Петрович! Вениамин! Венька, старый ты хрыч! Жив там еще, что ли, в своем корыте?

— Да жив, жив... Что утро зря шугаешь?



Часть 4. ОСТРОВНЫЕ СОКРАТЫ

А вот теперь о рыболовной Мекке чуть размашистее скажем, сделаем гребок нашего вёсельного разговора чуть пошире.

Отец русской демократии

Рыболовными страстями Николай Павлович Рыжков — а сначала скажем о нем — никогда одержим не был. Хотя уху любил весьма и весьма. Он был мастером иных речей.

В молодости еще, в шестидесятые, он создал попавший в опалу литературный кружок, после разгрома которого все время находился у истоков чего-то — молодежных газет, журналов, издательств. Николай Рыжков так и остался где-то там, в шестидесятых, не сумев или не захотев воспринимать всерьез происходящее со страной далее, не вписался ни в один поворот дальнейших событий. О Рыжкове помнят сегодня единицы, но человек это был масштабный. Мог, например, несколько месяцев прожить на даче у своего друга Валентина Берестова где-то в Подмоскovie и съесть весь берестовский запас картошки на зиму, а потом пригласить его на все лето на Волгу, мог целый день проговорить с Вознесенским в Переделкине, мог советовать что-то дельное еще одному своему другу, Константину Шилову, автору превосходной жэзээловской книги о Борисове-Мусатове. Николай Павлович был проводником, помощником, спутником литературы, но имя его не вырвалось из пределов чужих книг, публикаций, архивных находок и примечаний. Зато в книге Зеленого — Беклемишевского! — острова оно звучало ярко и убедительно.

Прозвище у Рыжкова было самое подходящее — Отец русской демократии. Где бы ни работал Николай Павлович — в издательстве ли, в библиотеке ли, — его просили оттуда в течение, самое большее, года. Очень уж он свободен был в суждениях и притом не признавал никакой над собой начальственной власти. То есть был человеком абсолютной вольности. Обед в библиотеке с часу до двух, допустим, Николай Павлович уходит в двенадцать, а является к трем. На все расспросы отвечает: «Да разговорился с Володей (то есть с папой с моим, с которым Рыжков дружил ближе всех), начали вспоминать “Историю русской словесности” Петра Полевого, еще и еще». Или так: планерка в газете, выступает представитель обкома, Николай Павлович, вместо того чтобы изображать внимание, играет в коробочку с Борисом Дедюхиным, прекрасным писателем-историком, работавшим, скажем, с Кирой Муратовой. Если спичечный коробок, подкинутый большим пальцем, падает плашмя — один балл, на ребро — два балла, а встает «на попа» — пять. В самый ответственный момент выступления, когда речь заходит о воспитании молодежи, о новых задачах партии, Рыжков кричит на всю редакционную комнату после удачного кувырка спичечной коробки: «На попа!» Обкомовец, и до того косившийся на Рыжкова



с Дедюхиным, не выдерживает: «На какого попа? На какого еще попа, к чертовой бабушке?»

В коробочку, скажу я вам, все играли, но не при товарище же высокопоставленном...

Литературу Отец русской демократии знал так хорошо, как, думаю, ни одному профессору ни в одном университете не снилось. Николаю Павловичу достаточно было просто взять стакан в подстаканнике, отхлебнуть чаю, крепкого-крепкого, с лимончиком или с травами, достать из вазы тонкими пальцами воздушную зефирину или огрызок какого-то перезасушенного плюшкинского печенья — неважно! — опустить его на мгновение в кипяток, откусить со вкусом, закурить дешевую, спрошенную у кого-то, у тех же сторожей на острове, папиросу или отцовский «Космос» (Рыжков всегда был гол как сокол), затянуться, поправить свитер на горле (он вечно ходил в свитерах и кофтах) — и перед тобой уже вырисовывались целые литературные направления, ты видел живыми героев книг, ты их чувствовал, Николай Павлович как бы приводил их с собой к тебе в гости, и Онегин, Печорин, Обломов, Безухов тоже, вместе с ним, угощались твоим печеньем и не спеша попивали чаек с лимоном. После разговоров с Рыжковым мне все школьные занятия по литературе и все лекции казались просто смешными. Зачем что-то объяснять заумными словами, когда можно просто обмакнуть сушку в чай. И все — вот он, во всех подробностях, литературный процесс!

Иногда Николай Павлович начинал говорить о женщинах — и делал это абсолютно литературно. Ну, допустим, говорит, обращая ко мне, шестикласснику: «Ты, конечно, помнишь, как заканчивается “Сентиментальное путешествие” Лоренса Стерна: “Так что, когда я протянул руку, я схватил *fille de chambre* за...” С этого многоточия, — продолжал Рыжков, — начинается, как ты понимаешь, целая эпоха в европейской и русской литературе. И голые локти Пшеницыной в романе Гончарова “Обломов” — из того же ряда. А там недалеко и до Набокова, Бунина, еще и еще...» Николай Павлович и представить, верно, не мог, даже допустить гипотетически, что кто-то еще не читал ни Стерна, ни Набокова...

Был он высоким, худощавым, лунно-седым, с длинными руками и тонкими пальцами, как бы нащупывавшими невидимую ткань истины в ходе разговора. Семейная жизнь Николая Павловича как-то не ладилась. Жена ушла, да еще, насколько помню, квартира была разделена при этом, но главное, но самое-то главное — остался Рыжков без книжных стеллажей, которыми так гордился и среди которых ходил королем. Без книг — это разве жизнь. «Знаешь, Володя, — рассказывал Николай Павлович папе о своих страданиях, допивая десятый стакан чаю и машинально, не обращая внимания на кислый привкус, дожевывая лимонную дольку вместе с цедрой (он почему-то всегда так поступал — сначала пил чай с лимоном, а потом лимоном же и заедал его, и не прищуривал глаза, как будто жевал корочку хлеба), — знаешь, она мне так это объяснила: книги ей нужны, у нее еще могут быть дети, и добавила: “А Пастернака́ я сама люблю читать”. Так и сказала — “Пастернака́”. У меня из головы





это не идет который день, она же из вредности просто...» И пошел бедный Рыжков, без книг, как без воздуха, задыхающийся, по библиотекам. А вместо чаю принялся попивать вино, а после и водку. В такие вечера (вся эта драма разворачивалась зимой, в метельные, колко-снежные дни) являлся Николай Павлович к нам, едва уже стоя на ногах, в помятом тонком пальто и грязных брюках, в коричневой шапке, надетой задом наперед, успевал вспомнить несколько литературных анекдотов, после чего падал на диванчик в «темной», как мы ее называли, комнате и мог проспять там сутки. Бабушка моя, Мария Григорьевна, мама мамы, рукой махала: «Что за человек такой паршивый? Не работает, пьет, как будто бездомный». Папа с мамой отвечали: «У него горе, отняли книги, а Николай Павлович — он книжный червь, умница». «Что умница — сомневаюсь, — вздыхала бабушка. — А что червь — нисколько». И принималась вязать: нет мне, мол, дела до ваших глупостей и странных друзей. В войну она работала на железной дороге, и если бросала клубок, то он катился ровно, как будто по невидимым рельсам. (Бабушка не очень-то одобряла моей рыбацкой страсти, подпитываемой отцом, — испортите ребенка, плохо учиться будет! — но как-то на день рождения сшила специально для меня азбуку с картинками-кармашками для букв: Щ — щука, О — окунь, Л — лодка, В — Волга... И только на П был поезд...)

В коконе книжных переплетов Рыжкову жилось уютнее всего — это точно. Отец русской демократии обретался среди книг, людей, пишущих книги, людей, читающих книги, книги издающих и собирающих, и всех остальных. Именно в такой последовательности. Вскоре он снова женился, трогательно воспитывал сына, в начале девяностых старался поддерживать семью как мог, надолго уезжая в Москву, чтобы «мемуары бандитам писать», как он сам говорил. Да еще на заказ выполнял курсовые, дипломные и кандидатские работы — примерно на одном и том же высочайшем уровне, не замечая между ними разницы, как не замечал различия между хлебной коркой и лимоном. Папа отчитывал своего друга за поденщину, за «разращение студентов», он строго спрашивал: «Когда ты, Николай, сам начнешь писать, для себя, когда возьмешься за рукопись?» Николай Павлович отшучивался: «Гимнастика для ума, еще и еще... А над рукописью я уже работаю, только пока в голове. Вынашиваю».

При том что Рыжков за всю жизнь не поймал ни одного ерша, не сделал ни одного гребка на веслах, не нашел ни одного гриба и вряд ли отличил бы подосиновик от мухомора, в зеленоостровскую жизнь вписался он идеально. У Юрия Ивановича на базе он был совершенно своим человеком, даже сторожа, с высоты практической жизни глядевшие на писательские посиделки, относились к Отцу русской демократии как к ребенку, за которым близ воды нужен догляд. Ну а Рыжков только на острове, в свою очередь, не склонял понуро головы. Где бы ни видел я Отца русской демократии, в каком бы месте города, в каком бы доме ни встречал (кроме Дома книги, конечно), он вечно горбился, будто под неподъемной какой-то ношей. И только

на островных просторах — распрямлялся, точно бы сбрасывал с себя слежавшийся за зиму снег. Может, это потому так получалось, что Николай Павлович и сам был немного островом, отколовшимся когда-то от Большой земли?

* * *

— Пырковы, — встретил как-то Отец русской демократии нас, устало плетущихся по раскаленному песку к дебаркадеру, закусанных комарами, оборвавших все удочки о береговые зацепы, нервных и изможденных, — Пырковы, вы тут, это, еще и еще, где так измотались? Вот же, совсем рядом с причалом, база практически рыболовная, там Олег Лукьянов сторожем работает, а Сидоренко Юра все это дело возглавляет. Там вам и стол будет, и дом, и лодка. Я уж давно на базу повадился, отличное место. И водичка, и мостки, и скамеечки, и заночевать в домике можно. В будни народу не так много. А осенью вообще тишина. Еще и еще...

Значит, счастье было буквально под боком. Мы с Батькой — так звали у нас в семье папу — остановились и переглянулись. А Рыжков продолжил:

— Давайте завтра, со мной, к Юрию Ивановичу, Юра светлый человек, будет рад!

Философ, стоящий на голове

...Вот вам классическое зеленоостровское летнее утро: Олег Лукьянов выходит на мостки, шумно ныряет в воду, смешно отфыркивается, поднимается из воды по лесенке и встает на голову. Так вот прямо, стоя на голове, Олег Максимович спрашивает Рыжкова: «Нет, Николай, ты мне скажи — в чем все-таки были истоки поэзии Гумилева? Ведь как написал-то: “Людская кровь не святее изумрудного сока трав”. А? Как сказал?» И Николай Павлович отвечает откуда-то из-за кустов боярышника: «Не с этого надо начинать, Олег. Тут ведь дело такое, тут без веховцев не разобраться, нужно смотреть на картину в целом — Леонтьев, Федотов, все движение русской философской мысли, еще и еще...»

Надо заметить, что Отец русской демократии умел сплести тончайшие и умнейшие речи из одних почти междометий и разных служебных слов. Любимая его присказка-связка так и звучала, как вы, наверное, уже догадались: «Еще и еще». «Пырковы, — обращался он к нам с отцом, бывало, когда мы собирались на дебаркадер, чтобы плыть домой на последнем вечернем омике, — давайте заночуем сегодня у Юрия Ивановича, все вместе, домики есть... Сейчас сварим уху, посидим, выпьем чаю, побеседуем, еще и еще...» И иногда, признаюсь, мы поддавались на подобные призывы. И действительно варилась уха, коптились окуньки (Виталий их коптил, если быть точным, на ольховых опилках), разливался в железные кружки чай, завариваемый Лукьяновым из трав, и всю ночь шла беседа. Обычно я засыпал, когда дело доходило до черной



розы дворянского масонства или до той же, любимой Лукьяновым, «Розы мира».

Олег Максимович, близко друживший с Рыжковым и Сидоренко, очень тепло — с моим папой, был, в отличие от Отца русской демократии, философом-практиком. Если он задумывал книгу, то ее писал, доводил до конца, если замышлял на шахматной доске комбинацию, то проводил ее с блеском. Шахматные баталии Зеленого острова — тема отдельная, особая. В клубах сигаретного дыма ладьи и офицеры превращались в могучих хранителей островной жизни, все играли напряженно, вкладывая, как мне казалось, в каждую пешку какой-то особый литературный подтекст, а побеждал всегда Лукьянов. Сидоренко, лихо ставивший фигуры на доску так, что они не попадали в отведенные им клеточки, восклицал: «Ну, ты, Олег, вообще... Да с тобой же играть невозможно!» Папа пыхтел, закуривал одну за другой, доводил партию до самого конца, до эндшпиля, и у него всегда оставался король и пешка, а у Олега Максимовича — король и две пешки. И отец сдавался. «Эх, опять одного хода не хватило, одной пешечки». Все только улыбались.

Так вот, Олег Максимович наполнял зеленоостровский быт каким-то сверхфилософским деятельным смыслом. Оставили отдыхающие (чудаки-люди!) целую сетку зеленых помидоров — Лукьянов готовит из них ароматнейшую икру, повязавшись цветным фартуком и азартно подбрасывая-переворачивая на сковородке обжаренный лук, по всей базе от этой поджарки дух расходуется; порвался у Виталия вентерь¹¹ — Олег Максимович помогает его чинить-штопать; забросало все дорожки желтой дубовой листвой после осеннего урагана-листобая — Лукьянов метет листья. Да приговаривает еще: «Самая красивая и достойная работа — быть дворником. Самая в литературе почетная!»

О Поэте, метле, листьях и девушке в бикини

Между прочим, о метле и листьях дополнение. Среди прочих философов и писателей заезжал к Юрию Ивановичу на базу один совершенно замечательный человек. Назовем его так — Поэт. Он был великолепно образован, много читал, мог поддержать любую высокую беседу, но имелся у него один недостаток — слишком уж серьезно относился он к своему творчеству, не допускал самоиронии ни малейшей. Природу Поэт любил и ценил, чувствовал ее красоту, мог прохаживаться неторопливо по дорожкам среди дубов и домиков, заложив руки за спину и поглядывая по сторонам. И надо ж такому случиться, что Лукьянов — без всякой задней мысли, конечно, — попросил Поэта помочь ему подмести дорожки: листьев напало за ночь немерено. Надо было видеть Олега Максимовича: по пояс голый, немного, как всегда, взлохмаченный,

¹¹ Вентерь — рыболовная снасть-ловушка: сеть, натянутая на ряд обручей.

с открытой улыбкой, обнажающей несколько железных зубов впереди, с двумя метлами в руках.

— На, держи, поможешь, а то один до вечера буду шваркать! — И тык Поэту метлу прямо в грудь.

А тот, в штиблетах, в аккуратной куртке и модных брюках, постоял, помедлил немного, с удивлением посмотрел на Олега, показавшегося ему тогда, я думаю, дикарем, молча прислонил метлу к дереву, молча зашел в свой домик, собрался и отправился в город, никому не сказав ни слова. И никогда больше не возвращался. Олег Максимович жутко смутился, он вообще не любил обижать людей и ни о ком никогда не говорил плохо, вот философскую концепцию разгромить — дело другое... И Юрий Иванович, которого как раз не было на Зеленом в тот злополучный день, после разочарованно качал головой: «Это ж Поэт, он же, может быть, сочинял в ту минуту, понимать надо, ну ты, Олег, вообще...»

Я тоже, грешен, однажды невольно обидел замечательного человека. Мы с отцом во время грозового ливня — в июне дело было — забежали на несколько минут, переждать грозу, в домик Поэта. Он сам нас зазвал. Я вошел и опешил — повсюду: на кровати, под кроватью, на столе, на дощатом полу — лежали листы со стихами. Даже из кастрюли на плитке выглядывало несколько напечатанных ровных столбиков. И Поэт предложил нам послушать его новое творение — и мы согласились, куда ж деваться, ливень-то никто не отменял. Понимаете, самое смешное заключалось в том, что Поэт был в каких-то совершенно куцых плавках, а мы — в рыбацких своих защитных панцирях. Он читал вдохновенно, сидя на стуле посреди зеленоостровской грозы, освещаемый вспышками молний, практически голый, с черными как смоль, аккуратно подстриженными волосами, и в особенно патетические мгновения взмахивал рукой. «Жаль, что Поэт не девушка, та, в желтеньком миленьком бикини, что бежала от дождя впереди нас! Ну какая же клевая!» — подумал я в ту секунду. Мысль для меня, пятнадцатилетнего, была простительной, я полагаю. И тем не менее я улыбнулся, причем на самом патетически-патриотическом месте. Стих был, помню, о конях, мчащихся по древней Руси и несущих куда-то на своих загривках русских богатырей. Поэт заметил промелькнувшую некстати улыбку, начал читать еще более выразительно, тут вспыхнула самая отчаянная молния, покотился гром, и, чтобы перекричать грозу, автор загремел во всю мощь своего голоса, и при этом загремел со стула на пол. Каюсь, не выдержал и стал хохотать, закрывая лицо руками. Мне было стыдно — но я хохотал. Отец дергал меня за руку — но я хохотал. Не знаю, что на меня нашло, истерика какая-то просто... Поэт бросил читать, швырнул стихи в сторону, помолчал, посмотрел на меня, посмотрел на отца долгим взглядом и проговорил сокрушенно: «Этот юноша, Владимир Иванович, пойдет дальше нас с вами...»

Потом, через какое-то время, Поэт стал первым моим — и лучшим, вполне возможно, — редактором. Стихи Поэта о лошадях, куда-то все мчащихся по древнерусскому полю, напечатал какой-то громкий





альманах в Москве, и все читали и признавали — да, серьезная вещь. Меня же разбирал смех — грешен. Порой мы и теперь видимся с Поэтом на городских улицах, я иду обычно по одной стороне, а он по другой. Все такой же рыцарь литературы — в штиблетах и аккуратной куртке. Только совсем седой. Мы приостанавливаем шаг и уважительно киваем друг другу, разделенные потоком машин и повседневных дел.

* * *

Так вот, Лукьянов тоже не хотел обидеть Поэта. Вообще, об Олеге Максимовиче можно говорить бесконечно. У них с женой, блестящим латинистом Ларисой Михайловной, был доберман Дуглас. Большой, умный, с удивительно глубокими глазами. Дуглас клал голову на колени Лукьянову, а тот его гладил, пока обдумывал очередной шахматный ход. Часто Олег Максимович, в Дугласе просто души не чаявший, повторял: «Как человек!» Дуглас потом потеряется где-то в городе, его, оставленного на минуту возле магазина, кто-то уведет, и Лукьяновы так до конца и не смиряются с этой потерей. «Люди, — напишет Олег Максимович в газете, — верните нашего друга, члена нашей семьи за любое вознаграждение!» И в этих отчаянных словах скажется вся любовь Олега Максимовича к Божьему миру, вся его наивно-прекрасная вера в доброту человеческих сердец.

Лукьянов говорил предметно, он помнил наизусть десятки страниц философских трактатов, ему не нужно было на ощупь пробирать-ся к пониманию каких-то закономерностей — он владел настоящей школой философского мышления. И при этом не был абстрактен, что часто случается с кабинетными философами. На веранде одного из летних домиков стоял цветной телевизор, никто из обитателей базы его не смотрел, но вечерами он как-то сам собой включался и что-то бубнил о политике и погоде. И паук свил паутину в углу экрана. Отец, помню, минуту посмотрев в экран, покачал головой и сказал мне: «Самое интересное во всей программе — вон то тончайшее кружево, присмотришь, какая ювелирная работа, какая гармония, какая мысль. А главное — все правда!» Олег Максимович, случайно услышавший реплику папы, улыбнулся: «Владимир Иванович, ну ты в одной фразе целый роман уместил! Вань, слушай и учись — это целая школа!»

Можете представить теперь, что я слушал и чему учился...

Юрий Иванович — главарь зеленоостровской банды

Из всей этой нашей зеленоостровской банды Юрий Иванович, пожалуй, был наиболее приспособленным к жизни. Не случайно же директор базы! В прошлом спортсмен, с прямой спиной и уверенной походкой, всегда подтянутый, он и рассказы писал сосредоточенно-собранные, в них как бы все время угадывалась планка, которую автору предстоит взять в будущем. Без Юрия Ивановича на базе как-то все

начинало рассыпаться, а когда он появлялся — все снова работало и пело. Сидоренко был осью островной жизни. Как нет Юрия Ивановича, вся наша банда разбредается куда-то по разным углам. Мы с отцом спешно улепетываем, взмахивая веслами, на рыбалку, Виталий принимается что-то ладить за верстаком, дядя Ваня отправляется на пенсионерские мостки, Лукьянов излагает теорию Бердяева Дугласу, Рыжков ложится на раскладушку, поставленную под дубом, накрывает половину — насколько хватает! — своих длинных ног рваной ватнушкой, смотрит в небо и меланхолично уворачивается от желудей. У него там целый мирок образовался, вокруг этой раскладушки: на траве под ней остывает чай в кружке, которым угощаются уже не без удовольствия муравьи, лежит какая-то раскрытая книга... Не сразу и докличешься Отца русской демократии из его самого просторного и самого свободного в мире логова.

Но как только сидоренковский легкий «Прогресс», завернув с коренной в наш родной заливчик, изящно скользит к мосткам, все вокруг объединяется, склеивается, срастается. И даже Рыжков выходит из книжного забытья. Это так важно, так здорово, когда есть она, ось жизни.

— Да вот, — как бы извиняясь за что-то, говорит Сидоренко, — по пути бросил спиннинг пару раз вдоль камыша, ну и щуку вытащил. Как думаете, на уху хватит?

И поднимает матерую такую щучину со дна лодки. Даже Бредень бы заценил!

У Юрия Ивановича многое получалось с листа, на лету. Он просто брался — и у него все выходило. Решил как-то он завести в домике своем зеленоостровском громадный аквариум во всю стену, поколдовали они с Виталием пару дней — и готово. Зайдешь, особенно в дождик, в ненастье, к Сидоренко, переждать непогоду, а там и чай с вареньем из черноплодной рябины, и разговоры, и — аквариум. Таких громадных я не встречал больше. А населил его Сидоренко речными рыбками и рыбинами, улитками, водоросли посадил волжские, положил на дно причудливые коряжки и разноцветную гальку, насыпал песку, устроил аэрацию. То есть перенес часть волжского залива к себе под крышу! Иному человеку истории с аквариумом хватило бы на всю жизнь, но Юрий Иванович, закончив одно дело, брался за другое. Понтонные, с навесом, широченные мостки для отдыхающих, выходящие на середину залива. Со скамеечками мостки, чтобы можно было прямо на воде встречать восходы и провожать закаты. Сказано — сделано! «Хочу мостки, — запальчиво говорил Сидоренко, — чтоб как солнечная дорожка!»

Тогда, впрочем, он еще, вернее всего, не знал о главной мечте своей жизни, может быть, только чувствовал, предчувствовал ее. Через много лет, так и не покинув Зеленый остров (единственный из всех нас!), хотя и не занимаясь больше базой отдыха, Сидоренко стал знаменитым на всю страну виноградарем. В одном из любимых моих стихотворений Юрия Ивановича выражена надежда, что когда-нибудь можно будет посадить виноград на Луне. Ну, на Луне не на Луне, а вот на песчаной островной почве Сидоренко выращивает виноград удивительный, спецы со всей страны приезжают к нему на Зеленый





обменяться опытом — восхититься да поцокать языком. Один выведенный сорт, кажется, самый насыщенно-терпкий, так и назвал Юрий Иванович — «лунный». И создал невероятное — неземное! — по вкусу «Лунное вино». Лунное вино Беклемишевского!.. Ведь какие луны-то встают над Зеленым островом сентябрьскими ночами, какие дорожки фосфорятся на темной воде!

Я почему-то уверен, что долгие разговоры-беседы с Отцом русской демократии, Олегом Лукьяновым и моим папой помогли в будущем Юрию Ивановичу найти свое истинное призвание, ведь возвращение винограда — это особая философия, особый взгляд на мир.

* * *

Философия, знаете ли, философией, а рыбалка рыбалкой. Иногда, к моему отчаянному негодованию, получалось так, что трудно было вырваться из вдохновенно сплетаемой лозы литературно-философских разговоров на рыбалку. Николай Павлович, Олег Максимович, Юрий Иванович и мой папа любили уединиться под раскидистым древним дубом, усаживались за массивный, основательно сработанный Виталием стол (рыжковская раскладушка стояла чуть поодаль, с краешку ажурной дубовой тени), на котором всегда имелась белая бумага. И говорили, говорили, говорили. «Ну вот, — обронил как-то неразговорчивый, но меткий на язык Виталий, подмигивая мне заговорщицки, — опять островные Сократы собрались».

Я поглядываю на отца нетерпеливо — время-то рыбацкое утекает, утро заканчивается драгоценное, а разговору и края не видно! — папа, в свою очередь, хватившись времени, пытается найти предлог, чтоб поскорее отправиться ко мне, в лодку. Наконец, обыкновенно, он говорит с напускной тревогой: «Николай, там Ваня один в лодке, как бы не перевернулся!» И бежит ко мне, а у меня уж все готово — весла, удочки, черви, прикорм, якоря. У нас было с папой местечко посреди залива, специально нами подготовленное, взлеянное, мы вытащили граблями водоросли, насыпали на дно несколько ведер чистейшего речного песочку и всякий раз вылавливали там двух-трех здоровенных, темно-зеленых, черноперых линей с золотым отливом. Вот поплавочек мой лежит на воде, едва тревожимый синей рябью и верховой мелочевкой, потом приподнимается, снова ложится, а после уж плавно уходит под воду. Подсекаю резко, и удочка сразу дугой, и я отцу: «Давай!» Это означает на нашем языке, что нужно браться за подсачек, быть готовым к тому, чтобы подхватить где-то там, в воде, среди травы, упрямую сильную рыбину. Ну что, скажите, важнее — «Вехи» или линева поклевка?

«Поплыли, поплыли скорее», — шепчет отец, занимая свое извечное место на носу и оглядываясь на философствующих друзей-писателей. А из-под дуба уже доносится, достигает нас какой-нибудь очередной вечный вопрос. Ну, скажем, что можно считать в «Плаванье к Небесному Кремлю» вымыслом, а что правдой?

В этом нашем с отцом азарте, в этом «Давай!», в якорях и веслах тоже крылась целая философия. Рыбацкие вехи тоже могут быть еще как важны, я полагаю.

Чудо-плотник Виталия

Мне вообще кажется, что на природе, особенно на Беклемишевском острове, в ходу и в чести была философия дела. Вот о Виталии я упомянул пару раз. Знаете, его плотницкий дар перешел как-то и на его образ. Какой он, Виталия? Коренастый, загадочно усмехающийся, мало говорящий, с прищуром, с жилистыми руками, похожими на ветви дуба. Казалось, что все сделанное вокруг было сделано этими корявоватыми ручищами. Ни блеску в них, ни лоску, ни особой проворности. Но денек работы — и вот готов дом на сваях, да на таких высоких и надежных, что ни один паводок не достанет. «На курьих ножках», — широко улыбается Виталия. Или мелочь какая, стлань например. Подержит треснувшую стлань мастер, поврачует руками-ветвями, что-то подобьет, подправит — и стланька новенькая, чистенькая, ладненькая. Вот вам и «мелочь». Для настоящего знатока мелочей не бывает! Как-то Юрий Иванович решил лещей десяточек завялить. Так это ж нужно сколотить здоровенные ящики, обтянуть их непроницаемой для насекомых сеточкой, оборудовать в них все для удобного провеса. Иному — работы на неделю. Для Виталия — на час.

А уж как он мосточки обстругивал, как любил покрасить их, подновить. Дядя Ваня только еще подумал когда-то про «пенсионерские» свои мосточки, «со всеми удобствами», а Виталия уже соорудил их. И не за награду, не ради какой-то выгоды, а просто ради самой работы. Если не пел рубаночек, не звенела пила, не шамкала шкурка, — Виталия грустнел, терял азарт жизни. Но случалось такое редко-прередко.

Особый же пиетет испытывал наш чудо-плотник к столам. Скамейки, стулья — это все да, это все замечательно. Но вот столы! Виталия, как я уж обговорился, всегда норовил поставить стол под дубом, как будто подчеркивая этим свою необъяснимую или известную только ему одному связь с могучим деревом. От вопросов отшучивался, обычно так: «Люблю, чтоб желуди по башочке стучали, спать не давали!» Представьте: массивный квадратный стол на толстых ножках, хорошо обтесанный, пахнущий живым терпким деревом. Притронешься к нему в жару — он прохладен. Тронешь его в ненастный день — он сух и тепел. Еще бы такой не полюбить! Он так и тянет к себе, так и зовет. Устраивайтесь, мол, начинайте разговариваться, когда еще так собраться придется?

Изредка, несколько раз всего, появлялся на базе отец Витали — тоже плотник. Он был уже очень человеком пожилым, ходил медленно, опираясь, как сам говорил, на «бадик». Когда он видел рожденные плотницкими трудами сына столы, стулья, скамейки, домики на высоких сваях, удовлетворенно качал головой. А иной раз кряхтел сердито — нет, мол, не тот уголок взял, тут бы пониже, а тут — повыше... «Стол хорош, а табуреточку можно и брежнее сколотить». Виталия заверял,





что поправит, и становилось понятно, что за умелец учил и все еще учит его волшебству плотницкого труда. «Я что, — улыбался потом Виталя, — я так, тят-ляп топориком машу, а вот батя мой иного ранга мастер. Действительно мог чудеса с деревом творить». Да, Виталя, дорогой, наши отцы — богатыри, не мы...

...Из Ленинграда к Юрию Ивановичу приезжал известный кинорежиссер. В маленьких круглых очках с длинной аккуратной бородкой. Каждое лето. В августе. Ровно на четырнадцать дней. Каждое утро он шел на веслах к фарватеру, чтобы поймать одного леща. Он не гонялся за стаями скользких подлещиков, не любил бойкую стрежневую густерку или сопу, нет — ему нужен был один матерый темно-золотой лещ. С самой глубины. С самого течения. Он ловил свою рыбину, приплывал на базу уже к вечеру, показывал рыбину каждому встречному с вопросом: «Как вам кадр?» И отправлял улов просаливаться в бочку под гнет, и садился отдыхать за Виталькин стол под дубом.

Сначала к нему присоединялся Олег Максимович Лукьянов, потом дядя Ваня, потом Юрий Иванович, потом и мы с отцом, если оставались на ночь. Августовские звезды разгораются быстро, созвездия проступают одно за одним, отражаясь в стихшем, замгнувшем¹² заливе, все набрасывают ватнушки — ночью у воды зябковато. Является вскипяченный с шиповником чай — Олег Максимович был знатоком и ценителем шиповника.

Кинорежиссер обязательно подливал в свою чашку коньячку и проносил с каким-то непередаваемо-загадочным выражением:

— Вы даже не знаете, насколько Зеленый остров кинематографичен. Даже не знаете. М-д-а-а... Я всякий раз как будто бы попадаю здесь в фильм о своем детстве, который еще не снял и, может, никогда и не сниму. М-д-а-а.

И пока чай дымится в жестяных кружках, чуть остывая, начинаются обсуждения мировых философских тем — то Платон выглянет из-за дуба, то Аристотель зашелестит в листе, то Пифагор начертит на небе горящую формулу, то покажется силуэт Дон Кихота, то Цицерон сверкнет глазами: недаром же у Лукьянова жена — латинист выдающийся. Когда, кстати, Лариса Михайловна Лукьянова читала на латыни стихи Овидия, уважительно смолкали, познавая, видимо, свою ограниченность, обычно бойкие и настырные зеленоостровские комары. А порой, бывало, то ли рванный ватник Отца русской демократии, то ли пугачевский тулупчик мелькал в зарослях боярышника.

Какие планы строились, какие имена назывались за Виталькиным чудесным дубовым столом: Даниил Андреев, Николай Бердяев, Владимир Соловьев, Николай Гумилев, Сергей Эйзенштейн...

И я, уставший после рыбалки безмерно, едва ли не спящий на ходу, видящий перед глазами поплавок, который утягивает под лист кувшинки непостижимо прекрасный и желанный линь, все-таки чувствовал, как срастается она — человеческая мысль, как обретает форму и вес.

¹² Замгнувший — задремавший (диал.).

Особенно в звездную августовскую ночь. Особенно за дубовым Виталькиным столом под открытым небом.

* * *

Утром выходим с отцом из домика, а на столе, под тем самым дубом, лежат забросанные желудями белые листы. Рядом стакан давно остывшего, недопитого, крепкого-прекрепкого шиповникового чаю. И только одно слово выведено на бумаге большими твердыми буквами: «РАССКАЗ». Мне отец говорит:

— Запомни эту картину, и желуди, и чай, тут, видно, всю ночь шла работа, мы-то спать ушли, а люди перебирали сюжеты, искали образы, планировали раскадровки. И какая у бумаги содержательная белизна, не то что в какой-нибудь папке. Или там кабинете. Если на бумаге нет слов, это не значит, что она пустая.

Да, Николай Павлович Рыжков так и не написал книгу, хотя соби-рался до конца жизни. Он так и остался литературным проводником, а Зеленый остров, вполне может быть, так и остался лучшим в его жизни местом обитания. Местом свободы мысли и духа.

И когда я думаю об Отце русской демократии, да и обо всех островных Сократах, и о папе своем тоже, то представляю их всех за чудо-столом, сработанным великим умельцем Виталькой, за степенной философской беседой, звездной августовской ночью, под древним дубом, роняющим тяжелые желуди.

Запомнил, папа, запомнил...

От «ерша» до «кефали»

— Давайте завтра со мной к Юрию Ивановичу, Юра светлый человек, будет рад!

Мы соглашаемся. Мы внутренне ликуем. Мы нетерпеливо ждем завтрашнего утра.

Но не все так просто да гладко. Пути рыбацкие сложны и непредсказуемы. Да, на Зеленом мы долго маялись без лодки. И вообще без своего, родного, пристанища, где тебя всегда ждут, где тебе всякий рад. И потому, быть может, первый же выход на лодке с уютных, сработанных Виталькой, конечно же, мостков зеленоостровской Мекки превратился для нас в нелегкое, скажу так, испытание.

А дело такое вышло. Ну, привел нас Отец русской демократии на базу, к гостеприимному Юрию Ивановичу, познакомились мы со всеми сторожами-хранителями здешней гармонии и попросили лодочку. Мы — это я, папа, мама и брат мой Саша, заядлый, как я уж говорил, спиннингист.

Нам четверым сразу же предложили две большие, устойчивые, ходкие лодки — «кефали». Но надо было знать моих родителей, привыкших вести себя скромно. Даже более чем.





— Нет, — замахал руками отец, — мы же далеко не поплывем, мы тут, в маленьком заливчике, рядом с мосточками. Так что нам этой железненькой лодочки хватит.

И показал на кургузую, действительно отнюдь не деревянную лодочку. Как только не уговаривали моих сесть хотя бы в одну просторную «кефаль», какие только доводы не приводили. Всё зря.

— Ну, дело ваше, Владимир Иванович, — пожал плечами Виталя. — Берите своего ненаглядного «ерша».

Оказалось, что так прозывалась приглянувшаяся папе кургузая и куцая, правда на ерша похожая, лодочка-жестяночка.

Два слова буквально о психологии. Такой зеленоостровский отступ. Для рыболова без лодки, свыкшегося уже с трудностями береговой ловли, со всеми этими топиями, зарослями, колкими кустами, зацепами, комарами, всякая держащаяся хоть как-нибудь на воде соломинка — что лодка. Цыганова «бударка» — что небольшой корабль. Поэтому, я думаю, неудобный «ерш» показался папе и верхом комфортабельности. Мама согласилась: а вдруг наедут отдыхающие, а мы чужие лодки занимаем. Нам, правда, и «ершика» хватит. И только Саша, всегда имеющий свое мнение, заикнулся было, что, может, ему, как спиннингисту, разумно было бы занять удобную «кефаль», однако его инициатива не нашла поддержки.

И мы действительно, как есть вчетвером, разместились в двухместной (если честно, в полутораместной) посудинке.

Мы отплываем, мы торжествуем, мы обретаем свободу. Больше нет береговых коряжистых ограничений, все водные пути открыты!

Я на веслах, отец на носу, Саша и мама на корме.

— Главное, термос не забыть, — в очередной раз напоминает отец, с каким-то особенным пиететом относящийся к старенькому, облупленному, но очень вместительному и все еще отлично держащему температуру термосу. — С таким термосом любая жара нипочем!

Грести тяжело, нос «ерша» то и дело норовит забраться в воду, железное дно и борта угрожающе быстро нагреваются на июльском солнце.

Подплываем к водной траве. Отец бросает якорь с носа.

— Нэля, Саша, — говорит, — теперь корму заякорить нужно.

Саша осторожно опускает якорь в воду, и он быстро тонет, утягивая за собой обрывок слишком короткой для пятиметровой глубины веревки. Она, извиваясь, неумолимо исчезает где-то там, среди упругих кувшинковых стеблей.

— Почему корму болтает? — недовольно спрашивает отец. — Подкармливать нужно одну точку, а нас то туда, то сюда по воде водит. Саш, натяни веревку потуже.

— Не могу, — флегматично отвечает Саша. — Якорь на дне.

— Я знаю, что на дне. Ты веревку подтяни просто.

— Да нет, совсем на дне. Вместе с веревкой.

— Утопил?

— Утопил...

Саша не любит признавать ошибок, стоит на своем до конца. И потому победоносно добавляет:

— А для блеснения даже лучше, что вертит: можно разные места облавливать.

— Ваня, ты почему не проследил? — негодует отец. — Ну этот, блеснильщик, с ним-то все ясно, но ты же опытный человек. И опять карку раскрыл!..

Последний аргумент задевал действительно за живое. Обидно, знаете ли...

— Не трогай ребенка, — вмешивается мама. — Мы же отдыхаем просто. Вон сколько воды — лови хоть с этого борта, хоть с другого. А я постелю что-нибудь на дно и прилягу. Позагораю...

— Я тоже загорать решил, — поддерживает идею Саша. — Сейчас только вон под те тростники воблер заброшу, щучку возьму, и прилягу. А вы ловите свою шелупень.

Саша, длинными своими руками, делает могучий замах, воблер, вооруженный парой острых тройников, злобно впивается в рукав моей ветровки. Я резко подскакиваю и задеваю стоящий рядом на узеньком лодочном сиденье термос. Как будто в замедленной съемке (кинорежиссер-лещатник, с которым мы пока незнакомы, внимание!), начинает он качаться. В одну сторону, в другую. В одну, в другую. И, не найдя равновесия, все-таки падает. Прямо на железное дно.

— Ой. — Откуда-то из-под лавки приподнимается мама. — Тут, кажется, что-то разбилось.

— Как разбилось? — переспрашивает отец, не желая верить в случившееся.

— Вдребезги, Володя. Колба будто взорвалась...

Папа молчит какое-то время. Смотрит на синюю воду залива, на веселую летнюю рябь. И вдруг с облегчением говорит:

— Ну и ничего. Он все равно старым был. Новый надыбаем где-нибудь. Ваня, ты мне червячков передай, они там, рядом с тобой, в мешочке. Я успел подкопать пару десятков.

Я оглядываюсь, припоминаю, что мешочек и правда был под рукой. И с ужасом понимаю, что задел рукой не только термос, но и мешочек. Тоже любимый Батькин. И он упал в воду и, видимо, тоже оказался на дне.

— Пап, а давай на тесто, а? — как можно жизнерадостнее спрашиваю. — На твое любимое тестцо?

Следует пауза. И повторение пройденного.

— Утопил?

— Утопил...

— Давай тестцо, ладно. Половим белёшки.

— Сейчас, — откликаюсь еще жизнерадостнее, а сам понимаю, что тесто оставил дома. Перед выходом Батька напомнил взять из холодильника замешенное им с вечера тесто на меду и с ванилью. А я забыл.

— Тесто дома осталось, — говорю прямосердечно. — Давай на хлебушек.





Батяка ничего не отвечает, оценивая масштаб катастрофы.

— Нэль, — обращается он к маме, — сильно жарко?

— Совсем, Володя, сварилась. Зря мы от большой лодки отказались...

— Давайте так. Сейчас поплаваем по заливу, Саша побросает спиннинг, выловит окуня или щурунку, и — домой.

Мы так и делаем. Саше попадаетея неплохая щука. Батяка хвалит прозрачную воду. Я быстро гребу, хотя четыре человека для «ерша» — многовато. Потом, уже на берегу, купаемся, обсуждаем, какая рыба на каком месте стоит. Саша полон надежд: щуки здесь немало, Батяка утверждает, что наметил три-четыре линевого окошка, мама подставляет ветерку с воды усталое лицо. Все наперебой твердят, что устали и что пара дней отдыха от отдыха необходимы.

Плывем в город вместе с Рыжковым — на барже. Николай Павлович все посматривает на пятнистый щучий хвост, выглядывающий из рюкзака.

— Коль, держи щуку, — не выдерживает папа. — Уху заварить дома.

— Ваня, — окликает он меня тихонечко. — Давай завтра вдвоем на базу рванем. Я опять тестца замешу (только уж не забудь). По пути купим в киоске газет сторожам, а то Игорь Дмитриевич, мне показалось, косился на нас подозрительно. А вообще тут так красиво. С натуры можно будет писать — представляешь? Видел, какие дубы на берегу? А под дубом прямо скамеечка ладненькая и стол. Здорово! И лодок, главное, полно. И якорей целый набор. И весла отличные, легкие на взмах. Ты греб — я залюбовался. И не табанил. Молодец... Возьмем лодку настоящую, «кефаль». С самого утра встанем на глубинку. Подкормим точку. Хорошие поклевочки увидим, поговорим с водой. Поплывешь со мной?

— Еще бы, — соглашаюсь радостно. — Подкормки сделаем сейчас, червячков прямо утром в тростниках копнем, и в линеовое окошечко, что сегодня присмотрели...

— Мам, — жалуется подслушавший разговор Саша, потирая обгоревшее совершенно плечо. — Эти маньяки завтра опять собрались.

— Пусть их, — улыбается мама. — На лодке так все-таки хорошо... Только уж, пожалуйста, не на «ерше»...

* * *

И завтра, и послезавтра, и еще долгие годы — жаркими летними полднями, майскими ветренными утрами, осенними, заколдованными тишиной вечерами — мы отражались в воде зеленоостровских заливов и протоков. Мы плавали по большим волнам в бури, мы выходили на фарватер, мы забирались в самые дальние, заросшие чаканом уголки здешних вод. Мы слились с Зеленым, породнились с ним навсегда.

Плывем, помню, домой на барже, и радостно-радостно сердцу: сейчас будем готовиться с отцом к завтрашней рыбалке, а утром уже — снова на Волгу, снова на Зеленый!

Но больше всех, пожалуй, радовался Рыжков, укладывая рыбину в сумку. Саша, видно по всему, не очень-то хотел расставаться со щукой — первой своей зеленоостровской добычей.

Да что поделать — в зеленоостровском свободолюбивом мире не заимели бы мы ни лодочки, ни пристанища без него — незабвенного Отца русской демократии.

«Еще и еще...»

О вокругостровном путешествии

Николая Рыжкова

Николай Павлович Рыжков, хоть и привел нас в рыбацкую зеленоостровскую Мекку, за всю жизнь не поймал ни одного ерша и не сделал ни одного гребка на веслах. О том уж речь велась. Но у каждого правила есть исключение, как известно. Поэтому уточню: ни одного *правильного* гребка на веслах...

А с *неправильного* весельного гребка начинается история удивительного рыжковского открытия, о котором и расскажу все, что знаю.

Чудесным весенним деньком, лирически слушая на своей раскладушке под зеленеющим дубом соловьиные трели, Отец русской демократии вдруг что-то понял. Лучше бы, наверное, он этого чего-то не понимал, а продолжал оставаться в философски-напряженно-благоговейном неведении. Но он понял. И вскочил со своего импровизированного лежбища. И обратился к кому-то лишь ему в это мгновение видимому и слышимому:

— Я еще никогда не *ходил* на лодке. Что? Я не сумею? Тогда зачем же я прочитал столько книг? Нет, я сумею, я смогу! Виталий, какие мне взять весла покрепче — я *пойду* в путешествие!

Соловьи тревожно приумолкли. Лягва, надрывающаяся где-то на подтопленной прибрежной кочке, прервала свой концерт на самом мелодичном полукваке. Баклешки перестали гонять в заводи хлебную корочку. Мотор, который, как всегда, чинил Вениамин Петрович, поперхнулся от страха. Олег Лукьянов в один прыжок вскоканул с головы на ноги. Дядя Ваня, забрасывая удочку из-под тенистого дерева, зацепил крючок за самую высокую и гибкую ветку. Нина Кирьяновна, впервые в жизни, выронила из рук стопку только что вымытых тарелок.

И все жители нашей маленькой Мекки, все обитатели благословенного пяточка зеленоостровского мира посмотрели, не стовариваясь, на Рыжкова.

Понимаете, страшен был не сам порыв к путешествию, нежданно-негаданно обуявший Отца русской демократии. Нас больше напугали незнамо откуда взявшиеся залихватские морские словечки в его пламенной речи: «*Пойду на лодке!*» До шуток ли? Да, все это взялось из книг, конечно. Но мало ли о чем читал Николай Павлович? И что теперь — все воплощать в жизнь?



А Николай Павлович тем временем уже, как бы это точнее сказать, воссоединил, с двенадцатого примерно раза, весла с уключинами, пристроил на корме и на носу по здоровенному доброму якорьку с примотанными веревками, взял поданный предусмотрительным Виталей спасательный круг, а удочки, насадки и все прочее, необходимое для ловли, в лодке всегда имелось. И самый уловистый Виталькин вентерь, самолично им сделанный за долгую зеленоостровскую зиму, под кормой был заныкан.

— Николай Павлович, — советовал добрый Виталий, — ты как к камышу привяжешься, вентерек расправь и под камышик молоденький опусти. Только привязать не забудь. А поплывешь назад — там линь, глядишь, и заплутается.

Отец начал было уговаривать Рыжкова, деликатно, мягко, как он это умел: мол, садись лучше в лодочку с нами, места хватит, мы с Ваней и удочки тебе снарядим, и поможем...

— Вот! — Высоченный Рыжков поднялся на ноги, отчего его лодка чуть не захватила бортом воды. — Вот этого мне и не надо. Понимаешь, Володя, я хочу сам пройти на веслах, сам найти место, сам наловить рыбы, сам сварить ухи.

Он подумал, помолчал немного и с проблеснувшей в глазах надеждой добавил:

— И накормить ухой всю базу!

И что только вселилось в смиренного нашего Николая Павловича? Как будто не вчера еще вечером вся база, включая Рыжкова, с трудом доедала уху из огромного сазана, добытого Юрием Ивановичем. Все сыты, рыбы довольно. Почему понадобились вдруг такие отчаянные меры?

То неведомо. Есть, я так полагаю, повороты в жизни, особенно в жизни на воде, которые не нуждаются в объяснениях, не поддаются логике. Так случилось, так вышло. Вот и вся логика. Баста!

И свершилось оно, знаменательное событие: Николай Павлович Рыжков сделал первый в жизни гребок на весельной лодке. При этом одно весло немедленно вылетело из завизжавшей от ужаса уключины. А второе, воткнувшись в илистое дно, встало колом. Но Отец русской демократии и не собирался сдаваться. Через каких-нибудь четверть часа он уже более или менее размеренно, хотя и вихляя спиной, и табаня без нужды то и дело, греб к середине нашего заливчика...

Тут надо отвлечься немного и поведать, что именно представляла из себя карта близлежащей акватории.

Маленький залив, на берегу которого обжились друзья Юрия Ивановича и прочие отдыхающие, коих всегда хватало в избытке, соединялся узенькой проточкой с большим заливом. Мы с отцом больше всего любили наш тихий, спрятавшийся от лишних глаз и почти что недоступный бесцеремонным катерам и моторкам заливчик. В заливе большом шла настоящая навигация, там и утюжок мог пробраться, пуская высоченную волну, и баржа, и катер. А уж за большим заливом



пролежала Коренная. То есть сама Волга, ее фарватер. Впрочем, сторожа, тот же Виталя, или бывалые лодочники, тот же Вениамин Петрович, звали всю эту систему несколько пренебрежительно: первое болото, второе болото и третье болото. Почему и русло Волги подпадало под такую вот обидную номинацию? Да потому, что заболачивалась Волга год от года все сильнее, все ярче цвела, все чаще зарастали песчаные чистейшие отмели водной травой, тиной, заиливались ямы, глохли родники. Вот оно и болото. И это не ругательство было в устах волгарей, не презренное словцо, а печальная констатация факта. Может быть, даже крик о помощи?

Но мы отвлеклись немного.

— Коль, Николай! — кричал вслед своему другу папа, пытаясь хоть как-то образумить его. — Рыбачь здесь, вон у тех камышей, там отличные караси нам с Ваней на днях попались. Только в большой залив не плавай.

— Не переживай, Володя, не поплыву, — отзывался уже издали Отец русской демократии. — Я сразу на Коренную решил!

Прям не Отец русской демократии, книжный человек, а капитан дальнего плавания Савельев.

Посоветовались мы меж собой, покумекали. Юрий Иванович успокоил: все обойтись должно, говорит, спасательный круг есть, говорит, лодка хорошая, да и человек уж взрослый, говорит, все понимает.

Ну вот. Сидим с отцом в своих тихих камышиках, прямо на самой базе, у мосточков привязанные, плотвичек потаскиваем, окуньков. Отец какую рыбу ни поймает, все головой качать начинает сокрушенно: ловил бы с нами, ну как хорошо, как спокойно. Рыбачили бы, разговаривали... До чего ж упрямый! А про Коренную он ведь пошутил, как думаешь?

— Конечно, — отвечаю, чтобы успокоить отца. — Кто ж на фарватер по такому течняку сунется?

Кто?.. Кто?.. Известно!

Прошел час, прошел почти и весь день — нету Николая Павловича, не возвращается. И кликали его, и звали — молчание в ответ. И спрашивали рыбаков, что из большого залива приплывали, — не видали, говорят, такого мы чудака, не обратили внимания.

Тут и Виталька встревожился не на шутку — он-то коварный норов весенней воды знал преотлично. Сели они с Юрием Ивановичем в «Прогресс» и помчались на поиски новоявленного нашего философа-путешественника.

Через час где-то возвращаются, медленно так к берегу идут. А уж темнеть начинает полегонечку, к девяти вечера дело.

— Вот, — поднимает над головой Виталя какую-то треснувшую палку.

— Что вот? — хватается за сердце отец.

— Обломок весла нашли. Кажется, с нашей лодки.

Наступает молчание. Слышно только, как надрываются в кустах соловьи, стонут лягушки, гудит комарье и мягко плещется вечерняя рыба.



Отец, чувствую, хочет что-то сказать, предложить план дальнейших действий, возможно. Но в эту секунду слышится знакомый всем нам голос. И не с воды, а с берега доносится он.

— Так значит, хотел выйти я на Коренную, — принимается рассказывать с полуслова свою историю Николай Павлович, точно бы мы его уже второй час слушаем. — А меня вода почему-то все в тростники толкает, я веслом от тростников оттолкнуться хотел, еще и еще, а оно пополам...

Перед нами стоял действительно Отец русской демократии — только обгоревший на солнце, в порванной рубашке, весь в песке и тине, с дрожащими от слабости руками и подгибающимися ободранными коленками.

— Николай Павлович, ты где был-то? — строго спросил Юрий Иванович. — Мы ж все окрестности с Виталей пропетляли, все протоки, все чаканы облазили...

— Ну вот я и говорю, — продолжал держать ответ Коля, невозмутимо прикуривая отцовский «Космос». — Оно пополам, еще и еще... И я на одном весле вдоль камыша пробрался к большой воде. Смотрю — город видно, значит, мыслю так, не пропаду, наверное. Робинзон же не пропал, в конце концов. Тут мужики на моторке проплывали. Куда, спрашивают, на честном слове и на одном весле путь держишь? Ну я им и говорю: на базу такую-то, еще и еще. А они: «Эх как! Тебя, слышь, течение круговое вокруг острова обернуло. Вон, говорят, видишь на косе — это зеленоостровский... Забыл слово, ну, баркас, что ли...

— Да дебаркадер, дебаркадер, а не баркас, — поправил Отца русской демократии Виталя.

— Вот именно, дебаркадер. И они меня зацепили и прямо к дебаркадеру доставили. Я лодку там привязал, по трапу на берег сошел и на базу вернулся. Представляете, — победоносно поднял Коля свой длинный дрожащий артистический палец, — так мое личное кругосветное путешествие свершилось.

— Не совсем кругосветное, — счастливо улыбнулся отец, потому что от сердца отлегло наконец-то. — Не кругосветное, а кругоостровное!

Все засмеялись, стали ухаживать за Николаем Павловичем, ставить ему на лоб компрессы от солнечного ожога, кормить и поить его; только Виталя, перетащив с дебаркадера через мокрый песок лодку на базу, грустно поинтересовался:

— Что-то стланей не нашел, а хорошие были, сам сколачивал... Да и где же вентерь?

— Этими самыми, сланями, — неправильно, на какой-то свой, литературный лад назвал Рыжков важнейшую часть лодочного состава, — я греб, когда весло вырвалось. Но их почему-то тоже из рук течением выхватило. Раз — и нет! Зато с вентером все в порядке, — оживился Николай Павлович. — Я подумал, скучно, что всё линьки да карасики в вентерь заходят, пусть сом зайдет. Ведь обещал же всех накормить рыбой? Вот и опустил его прямо посередине Волги, когда меня мужики

буксировали. Только я ни к чему его не привязал... Ну это ведь ничего? Ведь сом зайдет, как думаете?

Прямо не хуже Саши в первый наш зеленоостровский семейный выплыв на «ерше».

— Ничего, ничего, — отвечал еще более погрузневшим голосом Виталья. — Обязательно зайдет, куда ж он денется... Посоветуюсь с Бреднем, может, как-нибудь и подыдем?

С того самого дня Николай Павлович никогда больше не садился в лодку, считая свое вокругостровное путешествие состоявшимся.

А Виталья, щедрый волгарь Виталья, никогда больше не оставлял под кормой лодок свои уловистые самодельные венгеря. И стлани после рыбалки уносил в кандейку...

Беклемишевский батл. Шуба против Генерал-майора

Сколько разбилось сердец об ее капризный характер, сколько погубилось душ ее недосыгаемо-серебряным блеском! Жаркие окуни? Благородная радужка судачьего жира в ухе? Скользкие лещи-подлещики, может быть? Нет. Нетушки. А может — щука с темным пятном и янтарным глазом? Ни за что на свете. Ни за какие коврижки. На первом месте только она — владычица зимних волжских заливов, королева зеленоостровских подледных владений. Только она — плотва, сорожка, сорожечка, сорога.

Это летом, в рыбный ход, становится небольшая белая рыбка вполне себе рядовой, в какой-то мере просто бросовой. «Частик...» — презрительно ворчат сетевики-промышленники. В полуденный июльский жар, среди всеобщего солнечного праздника, серебряный блеск сорожьего бока тускнеет, и растворяется, и сходит на нет. И правда — рыбка как рыбка, ничего особенного. А вот зимой...

Еще затемно притаскиваются рыболовы-подледники к заветному своему местечку, где скапливается, на кромках глубоких зимовальных ям, хитрая и деликатная рыба — сорожка. Иной раз, правда, называют ее неловко «краснопер», но это люди несведущие, залетные, а настоящие зеленоостровские старожилы никогда так не скажут, ведь «краснопером» называется любая, по сути дела, белая рыбешка. Точнее, вернее, надежнее и уважительнее другое слово — сорога. Или, нежнее, сорожка. Сгодится для беглой речи и такое — сорожняк. Плотва, плотвица, плотвичка — это, скорее, сугубо книжное прозвание.

И вот декабрьское предновогоднее утро. Светает нехотя, и сразу же, по одной только серо-белесой полосочке у горизонта становится понятно — день будет пасмурным, непроницаемо-свинцовым. С севера начинает потягивать пронизывающим холодом, вот-вот разойдется неприятный, упрямо лезущий за воротник снежок. Но рыболовы не унывают. Они шутят, переговариваются, побряхтывают, достают плащ-палатки, с надеждой сверлят лунки, разворачивают удочки.



Наши с отцом любимые — «москвички», с круглыми колпачками, привинчивающимися к легкой ребристой ручке. У других — «кобылки». Гениальное, по-моему, изобретение: вырезанные вручную из пенопласта, «кобылки» удивительно просты и удобны в работе, леска наматывается прямо на корпус, мормышку тоже удобно втыкать в пенопластовое тело. Жаль, вышли они из рыбацкого обихода теперь. У некоторых, впрочем, видны в руках миниатюрные удильники-«телефоны», с длинными тонкими подсечками. И все же по мне — «москвички». Только с одной важной модернизацией. Заводскую подсечку я всегда менял и меняю (так отец меня научил) на высушенный рогаз, с которого нужно убрать пух. Подсечка получается гибкой, практически не ломающейся, легкой, да и просто приятно ловить на природный материал. «И так снег, а ты еще пух пускаешь», — сердятся обычно рыболовы, понимающие красоту, но не любящие признавать этого.

Отец выдумал когда-то и еще целую кучу всяких новшеств. Например, ловля рыбы на шарик. Берется пробковый материал, и напильником обтачивается, и шлифуется долго-долго, как будто бы философский китайский шар. Ну, шарик, скажем так. Наконец, обретает он идеальную форму и как-то по-особенному играет в воде, ходит в ней упруго и мягко. Отец обожал такую ловлю и всегда перелавливал самых умелых мастеров своим неказистым шариком. Важно, что шарик под тяжестью мормышки опускался глубоко-глубоко в воду, так далеко, что едва был виден, и совершал в толще воды нужные колебания, вызывающие из глубин самых крупных рыб. Нужно было сидеть над лункой и внимательно всматриваться в нее, точно пытаясь разгадать главную истину. И в это утро папа был со мной и ловил, как всегда, на шарик, пристально вглядываясь в философскую глубину лунки.

— Снег, кажется, будет, — подбадривая себя и товарищей по рыболовному счастью-несчастью, нарочито весело говорит Шуба. — Самая сорожья погода.

«Шубой» зовут его потому, что на нем всегда одна и та же одежда, включая и какой-то совершенно ужасный по виду шубняк.

— Сейчас подкормим, — продолжает он, шерудя в лунке длинной шумовкой и размешивая таким образом круто сваренное пшено со жмыхом, чтобы оно охотнее шло ко дну, — и вся сорожка наша. Так... и так... Вот какой колобочек пахучий вышел. Сам бы ел.

— Ну так и ел бы, — ворчит в ответ Генерал-майор. — Не спалось тебе дома, нет сам бы потащился, так он еще и меня за собой увязал. В такой снежище.

Шуба оправдывается:

— Я радио вчера слушал, прогноз погоды. Облачно с прояснениями, небольшой...

— Небольшой! Ты по сторонам бы поглядел...

Генерал-майор и Шуба — друзья-враги. Они всегда приходят на ловлю вместе, ставят свои палатки рядышком, всегда вместе уходят и всегда подначивают друг друга. Со стороны кажется, что они вот-вот раздерутся, но знающие люди только усмеваются, слыша их вечную



перебранку. Бывают соседи по лодкам, а бывают — по лункам! Шуба — человек заводской, все снасти у него грубые, глубомер чуть ли не на веревке, лески толстые, поплавки большие, лунки огромного диаметра, будто ловить он собирается пудовых рыбин. Кажется, что на салазках он возит за собой по заснеженному льду токарный станок. И вещает он громко, на всю Волгу, все равно как если бы старался перекричать заводской шум. Такой громогласный оптимист.

— Четыре с половиной метра, самое то! Посадим мотыликов кисточкой, чтобы хвостики шевелились. Вот... Наверняка сейчас клонет. Ага-ага, уже шавóлит.

Любимое словечко Шубы — «шаволит». Ну, то есть начинает тихонечко шевелить поплавочек, трогает насадку.

— Что там у тебя шаволит, — ворчит Генерал-майор в ответ. — Это ветер или течнячок. Для клева еще рано.

— Говорю же — шаволит, прям потянуло поплавок. Думаю, сорожка обсасывает.

— Кто там что обсасывает, чудило? Обсасывает у него — ты на себя-то погляди, к твоей шубе ни одна рыбка не подойдет и за версту и на коленки к тебе не подсядет, даже и не надейся, сидел бы уж со своей бабкой и не высовывался...

Тут Шуба делает резкую подсечку, как-то весь вскидывается и кричит победоносно-коротко:

— Есть!

— На жопе шерсть! — вторит ему Генерал-майор, внимательнее, сосредоточеннее, правда, поглядывая на свои поплавки кривым глазом. Злые языки не случайно называют его иногда Кривой.

— Идет, идет, — комментирует свою добычу Шуба, осторожно перебирая в руках путающуюся на снежном ветерке леску.

Вся группа с интересом следит за вываживанием. Кое-кто делает предположения: «Густерка... Да нет, сорожонка, поди. Для лаврушки здесь мелко. А может, матросик? На прошлой неделе окушок-то брал неплохо». Наконец, из лунки, из огромной Шубиной лунки, рассчитанной на пудовую добычу, торжественно извлекается... ерш. Даже не ерш, между нами-то говоря, а так, подъяршик. Он обреченно-уныло болтается на обмерзлом поводке. И без того серое утро делается еще неприветливее. Все неуютно поживаются, разочарованно покашливают, со смачным раздражением сплевывают на снег. Зависает зловещая тишина, сквозь которую отчетливо слышится, как сухой недобрый снежок шелестит по брезенту плащ-палаток. Но Шуба не отчаивается и теперь.

— Задел для ухи есть! — кричит он себе под нос. — Без ерша — что за ушица. Пусть ершишек пару десятков возьму и, самое меньшее, пять сорожек. Я так решил — пяти хватит. Пять сорог — улов серьезный.

— Ты одну для начала поймай, балабол, — машет рукавицей Генерал-майор. — Облачно с прояснениями. Радио он слушал. Сам что радио...

Такой вот беклемишевский батл — Шуба против Генерал-майора.



Рыболовы на какое-то время перестают обмениваться колкостями и замирают над лунками.

Тут надо объяснить, что такое лунка. Нет, нет, не знатокам зимней рыбалки, конечно, поскольку последние и сами смогут рассказать о луночке лучше моего. Но для тех, кто никогда на зимней рыбалке не был, — мой маленький отступ. Представьте ледяное плато, замерзшая река, белое безмолвие. И когда верткий коловорот с хорошо заточенными ножами пробуривает скважину во льду, когда шнек ледобура достигает уровня незамерзшей воды, образуется синее круглое окошечко. Маленький иллюминатор в лето. Да-да, иллюминатор. Кругом вьюга, снежная целина, а вы, представьте себе, создаете своими руками окошко в волшебный живой мир и смотрите в это окошечко целый день. Вода зимой всегда особенно прозрачная, и если склониться над луночкой, то на небольшой глубине увидишь разноцветные камушки гальки, причудливо извивающиеся на течении водоросли, таинственные тени рыб.

Лунку нужно ревниво оберегать от мороза. Если холод не шибкий, хватит и обычного кругового движения черпаком. Если морозик задорный, то время от времени лунку лучше обрубать по краям, расширять, чтобы водное поле не сужалось, чтобы солнышко в воде играло. А вообще на морозе о лишнем не думаешь, быстро слетает с тебя все наносное, и разговор касается главного — где и как согреться, когда потеплеет, под каким берегом от ветра лучше закрыться, где новую луночку для согрева лучше пробурить.

Лунки бывают разными — светлыми, с изумрудно-зеленым срезом льда по краям; темными, загадочно-непроглядными; удачливыми, такую стоит только сделать, и сразу ясно — кивок зимней удочки в ваших руках отчаянно щелкнет от окуневой атаки; бездарно-пустыми — глядишь на нее и видишь: нет, не будет от тебя толку, разве только зацепом разживешься или пустыми подергиваниями мелочевки. Если ловите вы под кустами, под заросшими ярами, то в лунке будут отражаться ветви деревьев, береговые очертания. Что греха таить, рыбацкая наша жизнь вся как есть отражается в ней, в луночке.

Истинные рыболовы относятся к лунке как к женщине. Они могут понять, почувствовать, даже полюбить ее. Они идут к любимой лунке как на свидание — с волнением, с целым букетом чувств и переживаний. Если кто-то чужой занимает любимую сижку, ревности рыбацкой нет предела. Если уловистая добрая луночка потерялась под снегом после метели, горю рыбацкого сердца нет конца. И начинаются извечные оправдания и рефлексии: если бы мне вернуть мою луночку, если бы мое место не заняли, если бы поставил вчера вешки...

А случается, из-за лунок целые драмы разыгрываются. Жили-были два соседа, ну совсем как наши Шуба и Генерал-майор. Только в деревне, близ прекрасной глубокой протоки. Само собой — заядлые рыболовы. Осень выдалась ранняя, и вот уже в начале ноября протока встала. Этого мгновения миллионы людей ждут с замиранием

сердца. Перволёдые — праздник великий. Когда просыпаешься первым в сезоне по-настоящему морозным утром, сразу чувствуешь нутром, улавливаешь сердцем главную новость — волжские заливы и степные озера встали. Ну и отправились наши друзья на ловлю, тихонечко пробрались по тончайшему — зоркому, как его называют в народе, — ледку к уловистому месту. Пробили луночки топориками, и пошел клев. У одного друга что ни окунь — то полукилограммовик. У другого — матросик. Все места проверил — везде мелочь. На следующий день неудачливый сосед решил в одиночку попытать счастья на лунке товарища. Нашел ее, ледок, схватившийся за ночь, снял шумовкой. Поднял со дна первого горбача, второго. Тут идет сосед. «Ты что это удумал! — кричит. — Моя лунка, моя!» Подбежал к соседу, а лед-то тонюсенький, двоих не выдержал. И провалились они оба под лед. Хорошо, недалеко от берега были, выбрались. На следующий день решили опять пойти за окунями вместе, а в луночке заветной ловить попеременно. Пришли на берег, глядь — а льда-то и вовсе нет, чистая вода, унесло их льдинку. Постояли, посмеялись и пошли домой. «Делить-то нечего было!»

Настоящий зимний рыбак, даже самый отчаянный матерщинник и хулигатель всего и всех, никогда не назовет лунку «дыркой», «дырой». Никогда не скажет о ней матерно. Нет, только нежно, только любовно. О чем и о ком угодно с матерком — но только не о своей лунке. Помню, мне, по преподавательской службе, нужно было переезжать всякий раз мост через Волгу. Переезжал — утром, возвращался — вечером. Утром едешь, забот полно, то не сделал, это не успел, к проверке не подготовился. Так едешь, а сам, как бы нехотя, как бы через силу, в окошко автобуса поглядываешь: как там рыбаки-то, где кучкуются? Ага, сегодня под Коровьим островом. Это они, вернее всего, окуней гоняют. А это судачники, отчаянные головы, по фарватеру бродят. А там вот, за Бочкой, близ Зеленого острова, сорожатники засели в палатках. Никуда не денешь такие мысли, если в тебе они, если с детства ты любишь Волгу. И вот, на обратном пути, каждый день видел я человека, садившегося в транспорт у моста, в ватных брюках, в полушубке, но без снастей и пешни. По нему видно было, что приходил он с Волги, даже загар зимний на лице его оставался — значит, ходил по льду далеко. Я не выдержал, полюбопытствовал. Оказалось, мужик лежит в больнице, с психикой у него что-то, переутомление и все такое, а на Волгу он, по совету врачей, ходит посмотреть на свою любимую лунку. Его спросили: «Что вас успокаивает больше всего, что вам больше всего нравится в жизни?» Он отвечал: «Лунка». И ему посоветовали ходить к луночке, лечить нервы. Понимаете, не на рыбалку, не за рыбой, не за азартом. Нет. За успокоением. За лекарством. За исцелением.

Да уж, все зимние рыболовы в большей или меньшей степени с приветом, не спорю. И я тоже. Но знаете, то хороший, добрый привет. Есть в этой странной привязанности ко льду что-то очень детское, трогательное. Обычный горожанин, он остается, замкнувшись в скорлупе





домашних стен, со своей микровойной один на один. А рыболов-зимник остается один на один со своим микромиром. То есть с лункой.

...Шуба снова размашисто подсекает. На этот раз он тащит рыбу молча. И только когда на примятом снежку трепещет пойманная сорога, хорошая, с оранжевыми перьями, вся как будто бы вылитая из живого серебра, он радостно выдыхает: «Одна есть!» И в ту же секунду, слева и справа, раздаются веселые возгласы: «Сорожка! И у меня сороженка! И у меня!»

И Генерал-майор тоже бросает очередную рыбину в ведро и приговаривает себе под нос: «Лунка-то у меня сорожья, волшебная луночка-то». А одну маленькую плотвичку оставляет зачем-то старик у лунки, принакрыв снегом. Зачем? Но мне не до раздумий. Мой поплавочек тоже шевельнулся раз, другой. И вместе с ним тронулось и у меня что-то в сердце. А потом он всплыл к поверхности лунки, и я подсек, и на леске-волоске заупиралась, заходила кругами желанная рыба. Это она, конечно, волжская зеленоостровская сорожка! Поймать такую — что вершину взять, что поэму сочинить, что симфонию. Сорога капризна, сорога не терпит дилетантства, но если уж возьмешь несколько серебряных зимних сорожек, то никогда того не забудешь.

И папа тоже — наконец-то — замечает там, в глубокой прозрачной воде, там, в летнем своем иллюминаторе, чуткое движение шарика. И подсекает. И подсечка-тростиночка сгибается в дугу. И начинается вываживание плотвы. У отца — самая яркая, самая крупная, самая красивая! Еще бы — на шарик ведь!

— А хорошее нам местечко Виталья подсказал, — радуется по-детски отец. — Где еще такую сорогу зимой надыбаешь.

Со стороны картина выглядит жутко глупой. Здоровые мужики и почтенные старики склонились над волжским льдом. Не чувствуя ни ветра, ни снега, ни холода, они исполняют какой-то не понятный никому обряд, поднимая со дна реки небольших рыбок. И при этом остаются преисполненными чувства гордости — сидим мы здесь, мол, не просто так, не абы зачем проводим время, сторожим сорожку! Дело благородное, дело важное. До шуток ли — караулим сорожку поклевку. Ушли из дома затемно, придем явно уж не по свету, улов будет жалок (пять штук, кажется, собирался поймать Шуба?), и все же этот день зачтется каждому в особый запасной календарик: сколько там нужно прибавить к жизни? Хоть пару лет, хоть тройку — все в дело! Не просто рыбалка — мировоззрение!

Кстати, о Генерал-майоре. Он никогда не был ни тем, ни другим, он прошел всю войну рядовым, а о Победе узнал в госпитале, очнувшись в июне сорок пятого после тяжелого ранения. На всю жизнь лицо его осталось разрезанным глубоким шрамом. Кривой, одним словом.

Он не любил вспоминать о войне, вместо парадов ходил всегда на рыбалку, но если уж рассказывал, то так вот, коротко, отрывисто, почти ворчливо:



— Ну что ты заладил — как было, как? Ну, бежал вместе со всеми, рядом Сашок, друг мой боевой, Берлин был рядом, как вон те домики на другой стороне залива, из автомата давали очереди вслепую. Мы стреляли, в нас стреляли... Кто-то кричал и падал... Вдруг вспышка белая прямо перед глазами, как будто на яблоню цветущую налетел с размаху. Просыпаюсь — медсестра, белые стены, госпиталь. И вижу все слишком близко, будто в бинокль, а один окуляр чем-то застило. Я ей: «Сашка жив? Сколько я часов здесь?» Она мне: «Тише, тише... Ты уж месяц здесь. О Сашке не знаю. Руки-ноги твои целы. Всего-то лишь глаз повредил, повезло с такой-то раной. Счастливчик!» Я: «А Берлин взяли?» Она: «Война давно уж кончилась!» И я тогда одним глазом своим — другой-то забинтован был — заплакал... Знаешь, что главное? Ни хрена ты не знаешь! Чтоб этого никогда больше не было! Никогда и нигде!.. Понял?

...Быстро уходит неверный декабрьский свет. Быстро пустеет зеленоостровский залив, торопко собираются рыболовы. Не отстаем от наших зимних побратимов и мы с отцом. Все, шабаш, пора домой, путь обратный неблизок. Вернуть бы свои утренние следки.

Около оставленных лунок прыгают синички, находящие здесь роскошное лакомство — замороженных рубиновых мотылей, золотые песчинки пшена, пушинки рогоза.

А еще чуть позже, когда совсем спустятся на лед спешные декабрьские сумерки, из островных тростников выйдет, озираясь, лисичка. У нее тоже есть близ Зеленого острова своя любимая — волшебная — луночка.

Часть 5. С МАМОЙ И ПАПОЙ

В жару

Жара жаре рознь. В городской толчее, среди машин и бессмысленных шумов, только и остается тебе, что обессиленно вытереть пот со лба. Никаких сил на такое пекло не хватит. И дома не спасешься. Дышать нечем. Зато у воды, у большой воды, — дело другое. Как ни печет, а ветерок от кучевого облака освежает, а легкая летняя волна радостно посверкивает, а руки так и тянутся к удочке.

На Зеленом-Беклемишевском жары стояли грандиозные. В разгаре июля песок на волжских косах раскалялся уже к десяти утра так, что и не ступишь босиком-то. А все равно — люди тянулись на остров, прибывали сюда целыми семьями. Всегда найдется тенок, где можно, потеснив муравьиное общество, расположиться с удобством. Если проявить смекалку и ввинтить пару бутылок лимонаду, сделав пять-шесть шагов от берега, в донный волжский песочек, где начинается глубинка и где быстрая вода свежее, то через каких-нибудь полчаса станешь счастливым обладателем прохладного напитка.

Купание на зеленоостровских естественных пляжах — история особая. Песок — чистейший, ступать на него одно удовольствие, он целебен для ног, он как бы шлифует ваши ступни, дарит сердцу покой и радость. Вода прозрачная. Заходишь по грудь, а на дне каждую песчинку различаешь, каждого голавлика видишь прекрасно. И чувствуешь легкое покачивание, и хочешь, чтобы это ощущение продолжалось как можно дольше.

Отец не очень любил все это «баловство» с купаниями, сурово поглядывая на меня, если я решал немного побыть в воде. «Хватит барахтаться, — махал он нетерпеливо с берега рукой, — окунулся и вылезай!»

Лодки у нас тогда еще не имелось, зеленоостровская рыбацкая Мекка еще не была выстроена, и мы скитались, можно сказать бомжевали, по берегам. А у береговиков жизнь сложная, от многих обстоятельств зависящая. От каких? От уровня воды, направления ветра, количества людей на берегу, погоды, карты глубин близ берега... Да много от чего. Попробуй налови рыбы, если целый город переправляется на Зеленый отдыхать, загорать и купаться!

Только подкормишь точку, подманишь со стрежня осторожных плотву и подлещика, увидишь пару-тройку хороших мягких поклевов, когда поплавок, обтекаемый течением, плавно уходит под воду или аккуратно, потихонечку ложится. Только раззадоришься, почувствуешь Волгу, шепчешься с водой, найдешь с ней контакт, а тут уже к твоему поплавку плывет, совершенно бесцеремонно, какая-то дама в шляпе и отфыркивается. Оглядишься — вся песчаная коса людьми пестрит! И всех в воду, в воду тянет. Ну, ясное дело, надо менять место, перебираться туда, где меньше народу, в царство коряг, под обрывистые берега, в труднодоступные чащи, пронизанные комариным гудом.

Иные, правда, никуда не перебирались. Упрощали себе жизнь. Просто заходили в воду по пояс, пристраивали садок и ловили взбродку. Нам с отцом не подходил подобный способ — солнце очень уж пекло, тени то на открытой воде не найти. А когда еще кучевые громады к солнцу подберутся — неведомо. И мы искали береговые укромные местечки, спрятанные от лишних глаз.

Самым дальним и самым лучшим местом была протока со странным названием — Девятка. Если есть у тебя силы идти по песку до любимого Маринино места — Старого моста, то и до Девятки доберешься. Поближе к тишине и рыбе, подальше от людей.

Кстати, вот какое обстоятельство запомнилось. Прибывая на Зеленый семьями, люди прихватывали с собой разнообразные припасы, чтобы можно было не только накупаться, но покушать в тенечке как следует. Главная зеленоостровская еда этого летнего времени — самодельная икра из баклажанов. Из «синеньких», как говорили коренные горожане. Икра делалась едва ли не в промышленных масштабах, набивалась в банки, к ней обязательно полагался душистый пеклеванный хлеб. Помимо «синеньких», обжаренных в щедро налитом

на раскаленную сковороду масле, добавлялась в нее морковь, присовокуплялся лук, все это поливалось соком пары-тройки свежих помидорин, тушилось, парилось, булькало и клочкотало. И под конец тихонечко томилось — доходило. Кто любил — присыпал зеленью и мелко нарубленным, а лучше раздавленным молодым чесночком. Плюс соль, сахар, черный перец... На весь Зеленый разносился аромат этого специфического кушанья.

С ужасом и внутренним негодованием смотрел отец, когда мы возвращались к дебаркадеру после трудной, потозатратной береговой июльской рыбалки, как под каждым кустом черпается баклажанная домашняя икра большими ложками из пузатых стеклянных банок и густо намазывается на хлебные ломти, а затем жадно поедается и запивается остуженным на волжском дне лимонадом.

Вот молодежь врубила на всю катушку «музыку», от которой оглохли все лягушки в близлежащих озерах и болотах. Вот слегка закосевшая компания азартно режется в карты. А вот и целая семья собралась обедать.

— Сережа, ты слишком долго купаешься, мой хороший, посинел до макушки! Вылезай! — зовет какого-то действительно закупавшегося до цыпок мальчика его мамаша.

— Подожди, мама, я тут рыбку увидел. Сейчас сачком ее накрою...

— Вот поешь как следует, согреешься и накроешь. Твоя рыбка никуда не денется. Она тебя подождет. У нее тоже сейчас обед.

— Ну ма-а-а-м... — противно тянет мальчик.

— Никаких «мам». Или сейчас же домой! — вмешивается в воспитание сына глава семейства.

И Сережа плетется к родителям, держа в посиневшей руке сачок, каким ловят разве только бабочек.

«Тьфу!» — едва удерживался от грубоватого словца отец, измеряя меня строго взглядом, как будто решая, способен ли я докатиться до такого обывательского безобразия когда-нибудь или все-таки нет.

Потом, через годы, когда путь на Зеленый будет заказан, потому что настанут иные времена и родное станет чужим, когда опустеют зеленоостровские песчаные косы, когда и следа не останется от дебаркадера и лишь в памяти снова и снова будет пришвартовываться к Зеленому баржа, папа вспомнит те летние деньки с улыбкой и светлой грустью. «А помнишь, — скажет он мне который уж раз, — весь город собирался по выходным на Зеленом, но места всем хватало. И как икру все с собой притаскивали, и огурчики малосольные, и пеклеванный хлеб. И лимонад в песке студили... Что ни говори, а это было здорово. Баржа ходила через каждые два часа, а? А в выходные — и того чаще... Помнишь, мы на протоку, на Девятку, в жару майскую с тобой и Нэлей потащились, а потом еле на последний рейс успели? Помнишь?»

Как же не помнить.

Но сначала расскажу про колышки.

Про колышки и про дрюк

Не знаю, может быть я и не прав, даже вернее всего не прав, но мне захотелось рассказать вам про колышки. Ведь если нет настоящего колышка у тебя в чехле, то и ни о какой доброй рыболовной вылазке речи быть не может. Колышек, рогулька, развилина, рассоха — слова-то какие замечательные. А как подойдешь к бережочку, как установишь со всей основательностью колышки для удочек — на сердце хорошо делается, дышаться легче начинает.

Одно дело, знаете ли, весь день махать удочкой, не выпуская ее из рук, и совсем другое — раздумчиво наблюдать за поплавочком, удобно примостив удилице на колышки, или рогульки. Или на подставки — кому как нравится.

Мне по душе — колышки. Поэзия, не слово!

Но в зеленоостровскую пору нашей жизни имелся у нас с отцом не ольховый, нет, не осокоревый и даже не дубовый колышек. А, представьте себе, чугунный. И никакой вам поэзии, и никакой красоты особенной. Просто массивный чугунный кол, загнутый вверх. Мы его случайно, на косе нашли. Помню, рыбалка не задалась с самого начала в тот день, все больше баклешка да густерёшка мелкая попадались, да еще ветер низовой разошелся с белым злым нахлестом — сиверко. Ну мы рыбалку и свернули. Идем по косе к дебаркадеру, глядим, старик какой-то незнакомый тоже домой собирается, удочки мотает. Отец ко всем разговор имел, закурили, разговорились.

— Да вот, пяточек язей поймал, хватит, пойду до дома, — то ли пошутил, то ли что-то напутал старый рыболов. Какие язи в такой день, когда все вокруг — с рывка.

Однако достал садок, прикрученный к дрыну чугунному, а в садке и правда — язиные плавники малиновые огнем горят!

Я — отцу:

— Давай посидим пару часиков на его месте, может — тоже поймаем?

А отец не соглашается:

— Домой надо, устали, завтра в школу тебе, мне в редакцию...

Пока совещались мы, старого рыболова и след простыл. Только что был перед нами в зеленом плаще и серой кепочке — и нет. И куда он только мог пойти? К дебаркадеру дорога одна, вдоль косы. Может, местный? Может, живет тут где-то, в островной чащобе? И самое главное — дрын его чугунный в воде остался.

Отец подумал-подумал, вытащил чугунную эту штуковину из песка и бросил в наш чехол с удочками.

— Хорошая штука, — только сказал. — А если старика увидим — вернем. Все равно в следующий раз сюда, на язя с тобой придем. Так ведь?

— Так, — отвечаю.

А сейчас думаю — того старичка часом не Бреднем ли звали?

В ближний выходной являемся на ту же косу. Рыбаков полно, а его, в плаще и серой кепочке, нет среди них. Ну отец первым делом чугунный колышек в песке обустройствает. А дрын-то не вворачивается. Что



такое? Песок же! Любая тростиночка в него входить должна. А дрын не вворачивается.

Чуть правее отец взял, чуть левее, еще на несколько метров вдоль берега прошел и — раз! Чугунная рогулька закрепилась. Принял ее зеленоостровский песочек.

Примостил папа длинную свою удочку, с надсадкой, на чугунную загогулину, присел на стульчик, и не успел закурить, как поплавок его в волнах скрылся. Подождал — отец всегда выжидал пару секунд, прежде чем подсекать, — не выныривает. Подсек — а на крючке голавль! Просто красавец! Та рыбалка сложилась прекрасно, и с того самого дня поверил папа, что чугунный колышек рыбное место указывает. Правда, мама, выслушав всю эту историю, заметила не без едкости: «Это не дрын. Это дрюк».

Так и стали мы звать меж собой папину чудесную находку — дрюк. «Сегодня дрюк точно рыбное место указал». «Если дрюк дома забудем, на рыбалку и ехать нечего, хоть возвращайся». «Погода так испортилась, что даже с дрюком едва на ушичку набрали...»

Понимаете, мы всей рыбацкой нашей семьей поверили в чудодейственную силу дрюка.

Дрюк был тяжелым, постоянно норовил продырять чехол и воткнуться в ногу какого-нибудь пассажира, а хуже того, пассажирки в троллейбусе или на барже; к тому же имел он обыкновение, если рыбалка шла в заливах, собирать на себя целые космы ила и травы, которые практически невозможно было отчистить, отмыть. И мы сами с папой постепенно стали пропахивать донной тинной. Но эхолотовую свою работу выполнял он исправно. Там, где не желал дрюк втыкаться в дно, не стоило и забрасывать, но там, где плавно входил он в речной грунт или песок, удача ждала почти неизменно.

Отец буквально влюбился в эту штуковину, никогда не выходил без нее на рыбалку, дважды возвращался из города, забыв дрюк воткнутым в тину. И все-таки однажды потерял его.

Ловили по весенней полой воде, прибывающей на глазах, дрюк от течения был накренен — и вдруг просто исчез в воде. Отец и кошкой пытался достать его, и в воду ледяную пару раз залез — да только все тщетно. Нет дрюка, как и не было его никогда.

— Ну и ладно! — в сердцах махал рукой папа. — Ольховые или осокоревые колышки куда лучше. Легкие, из живого материала...

Но в глазах его все равно проскальзывала грусть.

И только мама смогла по-настоящему утешить отца.

— Володя, — ласково сказала она, когда папа жалел о голавлях и язях, которых не поймать больше без волшебного дрюка. — Володя, вот вы с Ваней завтра на Зеленый поплывете и без всякого дрюка поймаете чудесную рыбину.

Папа лишь грустно улыбнулся.

— Вот увидишь — чудесную!

Так и случилось.



И рыбиной этой оказался сазан. Не очень уж большой, не гигантский, но приличный сазанчик, увесистый.

И такой красивый...

Больше папа никогда не вспоминал об удачливом своем дрюке.

Дойти до глубины

Отец и мать любили Зеленый остров. Они бывали здесь еще задолго до моего рождения. И помнили его еще другим — помоложе.

А я любил, если на рыбалку с нами отправлялась и мама. С мамой и папой — самые счастливые рыбалки.

Случалось подобное редко, но все же порой, особенно в начале лета, в просторном июне, или в середине мая, пока еще можно услышать в островных чащобах соловья и кукушку, мать оставляла домашние дела, откладывала подготовку к бесконечным своим медицинским лекциям и собиралась на остров.

Когда с мамой — все по-другому.

На причал, на тот самый знаменитый шестой причал, откуда отправлялись на Зеленый ОМы и баржи, мы приходили загодя, не торопясь. Было время постоять, оглядеться, подышать утренней Волгой, а не прыгать в последнюю секунду на палубу, когда уже трап убрали. На барже мама умела выбрать самое удобное местечко. Казалось бы, все они одинаковые, скамейки и скамейки, но нет: на одной — ерзаешь, на другой — отдыхаешь, на одной — солнце глаза слепит, на другой — затылок щекочет.

Мама всегда брала в дорогу припасы: вкусные бутерброды, чай с лимоном в термосе, яблочки, конфетки. Отец к подобным «нежностям», кроме чая, относился скептически, особенно грозно посматривал на меня, если я разворачивал конфетный фантик. «Эх ты, — как бы говорил он безмолвно, — а еще рыбак, это ж суровое дело, рыбалка-то, черный хлеб промысла, а не прогулка какая...» Правда, вслух ничего такого не высказывалось — отец старался маму не расстраивать, не портить легкого утреннего настроения. Когда еще выберемся все вместе на Волгу?

Мама любила платье с васильками, чаще всего в жаркую пору надевала его, собираясь с нами в маленькое волжское путешествие.

А путешествие на Зеленый начиналось еще задолго до отплытия от причала. Сама дорога на причал являла собой некий сложившийся не за один год церемониал.

Первая баржа отправлялась летом в шесть тридцать утра. Это рано. Очень рано, если учесть особенно, что накануне, в субботу, мама обычно работала и возвращалась домой поздно. Но если не попасть на шестичасовой рейс, то придется довольствоваться семичасовым. Целый час будет потерян, прохладная, самая волнующая часть утра уйдет безвозвратно, растворится в синеватом июньском мареве. Вот и довольствуйся полуутром-полуднем. Пока доберемся до места, пока расположимся — и до десяти недалеко. Жара, пекло, упущенное утро.



Какая уж там рыбалка! Какие уж там соловьи! Поэтому договаривались сразу: успеваем на первый рейс!

Сначала остановка троллейбусная. Людей случайных тут нет — дачники, рыбаки, странники. И все вглядываются нетерпеливо в дальнюю точку дороги: оттуда должен показаться вот-вот троллейбус — самый первый транспорт в такое раннее время. Троллейбус был синим, и когда он приближался, то мне казалось, что частица Волги приближается к городской остановке. Смотришь на часы — десять минут седьмого, успеть должны минута в минуту!

Дальше — постоянный наш маршрут, о котором я уж говорил. Соборная площадь, Троицкий, лесенка, заросшая со всех сторон цветущим шиповником... Реки еще не видать, но здесь, на спуске, ощутимо ее прохладное, живое дыхание.

О лесенке два слова. Мама с папой особенно почему-то ее любили, всегда останавливались на ней, даже если до отплытия оставались минуты. Тут уже я внутренне негодовал: вот-вот баржа уйдет, вот-вот утро волшебное упущено будет, сороги не наловим, ухи не сварим, а они остановились, и друг дружке улыбаются, и на меня лукаво так смотрят. Отец на меня так смотрел, только когда бывал вместе с мамой. И мама осторожно — не уколоться бы! — тянет к себе отягченную шмелиным гудом ветку шиповника, чтобы вдохнуть его раннюю свежесть, и папа, с тяжеленным рюкзаком за плечами, помогает маме добраться до самого нежного соцветия, и они вместе, закрыв глаза, делают один вдох, второй, третий. И снова лукаво на меня смотрят...

— Лесенка? — спрашивает мама.

— Лесенка! — отвечает отец.

Свидание у них тут, что ли, когда-то было назначено? Тоже мне, блин, романтики!

Раздумывать некогда. Через каких-то пару секунд мы уже мчимся всей семьей к причалу. И у каждого из нас при этом своя задача: папа успевает взять у знакомого киоскера пару свежих газет, чтоб читать на барже и чтобы потом дома чистить на них рыбу, мама просит не убирать еще минутку трап, я несусь к билетному киоску, разживаюсь двумя взрослыми и одним детским и в мгновение волжского ока оказываюсь у шестого пирса.

— Ну что, успели? — улыбается повелитель баржи, давая долгий мощный гудок. И добавляет уже иным, сосредоточенным голосом: — Отдать швартовы!

В этот раз степенно подышать утренней Волгой не получилось — а всё шиповниковая лестница! Но теперь можно выдохнуть. Теперь и правда — успели.

Мама радуется всему: белокрылой аккуратненькой чайке, красному бакену, свежей синей водичке. Всякий раз здороваётся с мостом, когда баржа проходит под ним. Машет рукой какому-нибудь просмоленному рыбаку в резиновой лодке. Всё для нее здесь в радость, всему она улыбается. Детство мамы прошло в поселке Рассуха, среди аукающих





березовых перелесков, где не было большой воды. Ее отец вернулся с войны смертельно раненным, а мать, моя баба Маша, руководила железнодорожной станцией, уберегала составы от бомбежки. Единственное озерцо в Рассухе было совсем маленьким, с удочкой на его берег приходил единственный на весь поселок рыболов — старый-старый дед Прохор. Он целые утра проводил на берегу, склонившись над поплавком. Если ловил круглых, как бронзовая монетка, карасиков, то обязательно делился с маминой семьей. «Сладкие-пресладкие», — вспоминала обычно мама, и в ее глазах проблескивала слеза.

Не забывая про крошечное озерцо из своего детства, на Волгу мама смотрела как на чудо — с удивлением. А еще с почтительным вниманием.

— Гляди, мам, — показываю я на далекий залив, спеша похвалиться, — во-о-он там мы с папой зимой сорогу крупную ловили, помнишь, тебе еще она жареная понравилась?

— Это вы так далеко по Волге ходили? — Мама смотрит на меня чуть испуганно. — Если бы я знала, то не пустила бы...

А потом на отца переводит взгляд — укоризненный.

А отец оборачивается ко мне и смотрит — без восхищения, если смягченно выразиться.

«Доболтался, — так и читается в его разочарованном прищуре, — доблахвалился, дошуршался фантиками конфетными! Теперь про Бочку забудь в зимние каникулы, не пустят нас с тобой за сорогой на Зеленый остров...»

Но мама, кажется, уже сама забыла о своем мимоходном недовольстве. Слишком уж светло вокруг было, слишком радостно.

Самое большее через полчаса мы уже сходим по трапу на золотой островной песочек, а шкипер Алексей приветствует нас специально заготовленным ради такого случая восклицанием: «Вас приветствует Зеленый остров! Семейный отдых у нас поощряется!»

У каждого — своя поклажа. Мама несет сумку с едой и одеждой. Отец сгибается под извечным своим рюкзаком на широченных ляжках, а на мне — чехол с удочками. На мне — едва ли не в прямом смысле. Я взгромождаю чехол на плечо и придерживаю его снизу. Иду, как знаменосец какой-нибудь.

Мама обычно говорит:

— Сегодня жара будет, посидим до двенадцати — и домой. Мне еще к лекциям готовиться, завтра на работу.

Отец обычно отвечает:

— Отлично, только дойдем до протоки у старого моста, ну до Девятки, там тень и рыба хорошая берет.

— Да такая же, как и здесь, рыба. Вот, садитесь с Ваней на косе, а я бивуак устрою.

Мы так и делаем. Начинаем с отцом рыбалку, ловим по две-три рыбешки, а мама тем временем задремывает, уютно расположившись на покрывале в тени какого-нибудь деревца-кустика.

Но прибывает вскоре следующая баржа, и наша свободная песчаная коса поработается отдыхающими. Шум, гам, купание, детские крики,

летающие мячи, закапываемые в прохладный песок бутылки, рев моторок. Выходные! Тут и Бредень ничего не поймает.

— Может, домой? — с робкой надеждой спрашивает мама. — Ушичку сейчас из свеженькой рыбки сварим...

— Да из чего ушичку? — сокрушается отец. — Надо было сразу к Старому мосту идти...

— А мы и сейчас можем туда перебраться, — успокаивающе говорит мама. — И соловьев там послушаем. Только после двух — домой. Мне завтра к восьми...

— Само собой, — радостно соглашается папа.

И мы, собрав в кучу весь наш скарб, топаем к Старому мосту, а дальше — к протоке Девятке, о которой уж говорилось. Далекое это было место, но до чего же красивое. Идешь, идешь по ровному песчаному берегу, сырой песочек тебе в подмогу, и вдруг от Волги отделяется рукав, резко меняя направление. Зеленый вообще уникален в смысле своего расположения, своей картографии. Только кажется, что он посреди Волги возник. От города-то его не Волга отделяет, а глубокая и быстрая река Тарханка, затопленная рукотворным морем. Река, скрытая под рекой! Поэтому и нет зимой постоянной переправы на Зеленый — чуть оттепель, Тарханочка, река подводная, лед разъедает...

На Зеленом — Беклемишевском — острове много скрытого, таинственного, необъяснимого. Вот и Девятка — глубокая, с крутыми берегами протока, на берегах — дубы. В самый жаркий день здесь тенисто и даже зябковато. Девятка не просто соединялась с Волгой, а делала крутой при этом поворот, пересекая саму себя. Очень похоже на цифру девять. И как раз в месте пересечения — самая большая глубина, самые уловистые яры. В разлив Девятка исчезала, сливалась с другими протоками и озерами, заливами и затонами, но как только вода начинала отступать — снова вырисовывалось причудливое ее русло. Островитяне говорили о протоке этой скрытной уважительно: на самой Девятке был, на Девятку собираюсь, осенью со спиннингом за Старый мост ходил, аж до Девятки добрался — вот там щука!

Вот и мы добрались до Девятки.

Мама в очередной раз устраивает бивуак, отбиваясь от комаров. Мы с отцом забрасываем удочки. Ловим по нескольку рыбешек — точно таких же невеликих, как и на косе. Обидно! Так далеко шли — и ничего. Пустая какая-то вода, мелковатая. Не то, совсем не то.

И папа не выдерживает:

— Меняем место!

— Как меняем, опять? — возмущается мама. — Я только задремала...

— Нэля, понимаешь, мы до пересечения не дошли, до глубины не добрались. Вон за тем поворотом наше прежнее место.

— Володь, а может, здесь досидим? Здесь столько глубины, что утопиться можно!

— Ну раз уж пришли в такую даль, давай еще один марш-бросок.

И мы идем, а вернее сказать, еле тащимся за поворот, на прежнее место, где глубина.





Мама уже кое-как расстилает покрывало и просто падает на него от усталости, мы с отцом кое-как устанавливаем колышки, забрасываем удочки. И вдруг замечаем, что стоим на ландышах. И наши удочки на ландышах, и рюкзак, и мамин бивуак. Повсюду благородное матовое мерцание. И воздух просто клокочет и булькает от соловьиных лешевых дудок. И наши с отцом поплавки уходят наискось в таинственную глубину, и лещиные бока бликуют-золотятся в живой воде.

— Я же говорил, — ликует отец. — Вот что значит до глубины дойти!

— Ровно до двух — и домой! — напоминает сквозь дрему мама.

...Когда мы спохватываемся, то до последней баржи остается полчаса — не больше. Мама отчитывает отца («Еще один заброс... еще один заброс...») — обидно похоже передразнивает она его), мы с отцом кое-как укладываем садок с трепещущей доброй рыбой, сворачиваем снасти. И — вперед, к дебаркадеру, по волжской кромке, по влажному песочку. Если идти по песку сухому — не успеешь, завязнешь, выдохнешься. А по кромочке бежать — милое дело, совсем другой коленкор.

Успеваем мы еле-еле.

— Как туда, так и сюда, — качает головой мама. — Все у нас в последнюю минуту сегодня.

— Эх, Нэля, ландышей не набрали! — сокрушается отец.

— Да от них голова, Володя, болит. Я и сейчас-то как будто в тумане, — успокаивает его мама. — Ты их лучше дома нарисуешь.

Тетя Люда, как всегда с улыбкой, вкладывает в мою ладонь бирюзовые билетки: два взрослых и один детский.

Шкипер Алексей провозглашает торжественно: «Ждем вас снова всей семьей в следующий выходной!»

Полный капитан дает басовитый долгий гудок.

И мы плывем на огромной зеленоостровской барже-калоше домой — загорелые, усталые, надышавшиеся терпким островным воздухом, оглушенные соловьями, опьяненные ландышами. Плывем, беседуем, допиваем лимонный чай. И вечернее солнце тоже потихонечку скатывается в Волгу, будто захотелось ему сделать пару глотков прохладной волжской воды после жаркого дня.

Отцовские ландыши — нежнейшая акварель — до сих пор хранят в себе мраморное свечение. Отца ведь вдохновила на эту акварель мама. Как и на то, чтобы выудить прекрасного сазана.

— До свидания, дебаркадер! — устало машет она рукой. — До свидания!..

* * *

Ну и нарасказывал. Было хорошо — стало плохо. Да что ж это я, совсем осудачёл? Было хреновенько, стало хреноватее — лучше уж так выразиться, в духе дяди Гриши. К чему держаться за прошлое? Расстроилось, выгорело-истлело до фильтра, оборвалось якорьком. Пусть и остается на доньшке... Правда ведь, милая? Нужно глядеть вперед,

только вперед, и тогда придут они после долгих свинцовых зим — светлые весточки, вольные весны завтрашнего дня.

...Но все же иногда он почему-то и для чего-то снится мне, наш полузабытый-полузабвенный путь к островным беклемишевским владениям. Сначала ранний троллейбус, потом Соборная площадь и церковь, потом узенькая лестница, хранимая цветущим шиповником и хранящая какое-то юное чистое воспоминание.

Помню, конечно помню...

Мы встречаемся с отцом и мамой у шестого причала, и я думаю во сне, какое же красивое у мамы имя — Нэля и какое замечательное у нее васильковое платье. Мы заходим по трапу на баржу и чувствуем ее живое тепло, ее мерное дыхание. И плывем мимо красного бакена, и переглядываемся с белыми чайками. И откуда-то очень издалека приближаемся к домику на воде — дебаркадеру, узнаем знакомые силуэты шкиперов, видим обращенные к воде окошки и различаем ставшую уже родной надпись: «ЗЕЛЕНЬЙ ОСТРОВ».

— Эх, сколь народу-то притащилось! Тудуть вас растудуть в воложку!..



Алена БАБАНСКАЯ

СКАЗКА ПРО МЕНЯ

* * *

То, что не стало мной,
То, что не стало вами,
Все за моей спиной —
Музыкой и словами.
А оглянись назад —
Спряталось время оно.
Только осенний сад,
Яблочная корона.
Только тумана прядь,
Солнечный свет повсюду.
Чем никогда не стать.
Чем все равно пребуду.

* * *

Кромешная темень и дождь проливной —
Все это вовне происходит со мной.
Ворона взлетает и крыльями — хлоп.
Податливый тает и тает сугроб.
И это, как счастье и горе,
Нельзя отменить и ускорить.
Мне жизни осталось на четверть, на треть,
Мне только осталось смотреть и смотреть.
Но я, как в замедленной съемке,
Иду по оттаявшей кромке.

* * *

Это мутное небо осеннее,
Эта мелкая морось,
И добро здесь, и зло во спасение,
И Коломна, и Боровск.

Почему же все так добродетельно,
Так печально и горько?
Не волнуйся, мы только свидетели,
Мы участники только.

* * *

С горящей звездочкой во лбу,
В снегу по пояс,
Царевной в ледяном гробу —
Электropоезд.
Вся эта сказка про меня,
И в минус тридцать
Собрался пригород, звеня,
С утра в столицу.
Здесь тридцать три богатыря
(Не все тверезы).
Но поезд мчит, дрожит земля,
Летят березы.

* * *

Только слово одно изреки —
И откроется берег реки
С рукавами и белые склоны,
Где текут колокольные звоны.
Только слово одно повтори —
И раскроется дверка внутри
(Там всегда потаенная дверка).
И замечется сердце, как белка.
И услышишь капель — вразнобой,
Ветродуя протяжный гобой.
Только солнце, и речка, и ветер.
Ничего не случится на свете.

* * *

Как оранжево, как дивно,
Фиолетово вообще —
Полыхнет рассвет над Гривной
В черных крапинах грачей.
Крон прозрачная решетка,
Дыма сизого баркас.
Все расплывчато, нечетко.
Все погаснет через час.





* * *

Идут со школы школяры,
Идут со стройки маляры,
Грачи галдят на стройке,
У нас одни настройки —
На эту синь, на эту высь,
Затем на свете родились,
О том клялись и пели
Под перезвон капли,
Под ветра свист, метели стынь.
На эту жизнь, на эту синь.

* * *

Человек выходит к снегу,
Заплывает за буйки,
В эту кипельную реку.
(А куда же без реки?)
Ни конца у ней ни края
От небес и до земли.
Я давно в нее играю —
Мне других не завезли.
Снег слетает, нескончаем,
Ниоткуда в никуда.
Ничего не означает —
Просто мерзлая вода.

* * *

Это мой сыночек стоит и ждет.
Пригляделась — ах нет, не мой.
Ожидает лишь ветер, лишь тьма и лед
Одинокой седой зимой.
Это мой сыночек меня простит.
Обозналась — не он, не он.
Только снег холодный в моей горсти,
Только звезд голубой неон.
Только сердца стук и дыханья пар
И метель клубится у ног.
Я заплачу: «Куда же ты запропал?»
Отзовется: «Я здесь», — сынок.

* * *

Когда б не восторженный синий,
Когда бы не графика веток,
Я б думала точно: мы сгинем,
Никто не дотянет до лета.
Но, видно, у нас не спросили,
Когда умирать и рождаться.
Ах, этот восторженный синий —
Небесное наше гражданство.

* * *

А мы еще попьем чайку,
Вы, если чё, звоните,
Когда я выдерну чеку,
Сниму предохранитель.
Нас ожидает вкуса взрыв,
Слепая вспышка света.
Под сенью ив, под сенью ив,
Когда-нибудь и где-то.

* * *

Над пустырем, засыпанным мусором,
Такие березы склоняются русые,
Такие прозрачно звенят колокольчики,
Как будто бы жизнь никогда не закончится,
Продлится, хоть тысячу раз опозорена,
И будет расти из чего не позволено,
Бездумно свистя, беззаботно чирикая,
Такая простая, смешная, великая.



Вольная страна фантастики не сковывает своих приверженцев строгими канонами, а, напротив, позволяет непринужденно смешивать разные творческие направления. И мы видим, как в рассказе нашего постоянного автора Дениса Гербера наметившийся хоррор превращается в драматичное мрачноватое фэнтези; как приключения юноши из общества, опутанного средневековыми ритуалами и условностями, перетекают в твердую научную фантастику под пером уже знакомого нашим читателям Тимофея Николайцева; как безвременье мира полубогов, созданного Игорем Яковичем, вдруг становится началом самостоятельной истории человечества, а в рассказе Матвея Мазуренко обыденная жизнь новосибирского менеджера и путь трамвая № 13 невероятным образом оказываются связаны с глобальной галактической проблемой...

Денис ГЕРБЕР

Я НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ГОРЯЩЕГО ГОРОДА

Р а с с к а з

— Это мой десятый турнир, — напомнил Сэм. — Что, если я снова одержу победу?

Хак курил, глядя, как грузчики в желтых комбинезонах складывают ящики на выдвижную платформу полуприцепа.

— Ты же знаешь. Я говорил тебе много раз, — ответил он Сэму.

— А я хочу услышать еще. Пообещай!

— Хорошо. Если ты победишь, я тебя упокою, — размеренно проговорил Хак. — Доволен, зануда?

— Навсегда упокоишь?

— Навсегда.

— Поклянись жизнью дочери!

— Нет у меня детей, черт тебя дери! И клясться я не буду. Мы друзья и должны доверять друг другу.



«Разве может живой дружить с мертвым?» — подумал Хак. Его бы засмеяли, скажи он такое публично, но их с Сэмом отношения и вправду походили на дружбу. Во всяком случае, этот мертвец нравился Хаку больше, чем кто-либо с бьющимся сердцем.

Бригадир грузчиков, повернувшись к Хаку, дал отмашку. Хак кивнул в ответ и выбросил окурок.

— Все, Сэм, отправляемся. Иди укладывайся в ящик.

Им предстояло проехать двести километров через Юго-Западную резервацию, где воскрешение мертвых было под запретом. Дозволялся лишь транзит и обязательно «в неходячем виде».

Хак забрался в свой автомобиль, подождал, пока тронется неуклюжая фура, и выехал на шоссе следом. Уже вечерело. Над прерией висело пасмурное небо. Далеко на севере в землю упиралась косая полоса — там шел знатный ливень.

Чтобы отогнать сон, Хак придумал забаву — метров на двести отставал от фуры, затем быстро нагонял ее, вдавливая в пол педаль акселератора. Во время очередного маневра между ними вклинился синий пикап, что вызвало у Хака приступ раздражения. Хак несколько раз посигналил, затем стремительно обогнал пикап и снова пристроился за фурой. «Лучше раздражение, чем сон за рулем, — решил он. — Спасибо тебе, водитель синего пикапа!»

На пункте досмотра при въезде в резервацию ему лишь посветили фонариком в лицо и оставили в покое. Зато к фуре прицепились основательно: открывали ящики, проверяли документы, что-то спрашивали у водителя и сопровождающего.

А дальше потянулось безжизненное вечернее шоссе. И холодящее душу Хака беспокойство. Ему нужна победа на предстоящем турнире. Но Сэму она, пожалуй, нужнее. У живых свои цели, у мертвых — свои. Разве можно их сравнивать?

Из резервации выбрались благополучно. Оставалось проехать еще пятьдесят километров до поворота, а там... кто знает, как далеко нынче расположили Арену.

Хак посмотрел на датчик топлива. Бензина оставалось меньше полубака. На турнире найдется, чем заправиться, — были бы деньги. Он подумал, что даже в случае проигрыша кто-нибудь пособит с горючкой. Может, встретится его должник, если такие еще остались в этом мире.

«Хорошо Сэму — ему горючка, еда и деньги не требуются, — подумал он с усмешкой и тут же отругал себя: — Считать так — злорадовство. Конечно же, Сэму в сто крат хуже, потому и хочет поскорее упокоиться».

На обочине появился светоотражающий знак — рука, ухватившаяся за лезвие меча, и капающая с них кровь. Проехав еще немного, фура стала тормозить, а затем грузно сползла влево на примыкающую к шоссе дорогу. Хак поехал следом за раскачивающимися в темноте красными габаритными огнями. В воздухе появился запах травы и поднятой пыли; пришлось закрыть окна.



В этом году Арену организовали ближе, чем обычно. Через несколько минут Хак увидел свет прожекторов. Составленные в круг фуры, грузовики, легковые автомобили образовали посреди прерии настоящий поселок. «Так древние переселенцы держали оборону от дикарей, — подумал Хак. — Только сейчас сражения происходят не снаружи кольца, а внутри».

У центральных ворот толпился народ. Сверху на металлической перегородке светился такой же знак, что и на дороге, только раз эдак в десять больше. И капающая кровь на нем мигала красным.

Хак подъехал к малым воротам, припарковал автомобиль на свободное место среди таких же легковушек и подошел к охранникам. Их было четверо. Одного Хак признал: Базз, человек Мелвинса. Базз попытался скрыть озабоченность, но это у него плохо получилось — глазки забежали, левый локоть на мгновение прильнул к телу, проверяя наличие кобуры под курткой.

Дежурный охранник просмотрел документы Хака и указал на два желтых автобуса за воротами.

— Пройдешь между ними, — сказал он. — Там регистрация и корпус для ланист...

— Я лучше твоего знаю, где тут что, — прервал его Хак и, улыбаясь, принял документы.

На регистрацию он, конечно же, не пошел: там все сделают без него. Отправился на Гало — кольцевую улицу между трибунами и внешней стеной из фур. Там сунул в губы сигарету и огляделся. Народу здесь было меньше, чем у центральных ворот, и почти все занимались делом. Грузчики таскали ящики. Искрила сварка на металлической конструкции среди шатров. Рядом с официальной конторой ошивались букмекеры без лицензий.

Хак двинулся по Гало против часовой стрелки, ощущая между затяжками знакомую смесь запахов — бензин, пиво, химикаты... Помнится три года назад, когда еще были разрешены трансляции, кольцевых улиц на Арене было две. И народу гораздо больше.

Он как раз докурил, когда оказался перед шатром с надписью «Бумеранг» над входом.

В заведении сидело трое посетителей. Романида — барменша и владелица «Бумеранга» — как всегда, за стойкой. Ей уже перевалило за пятьдесят, и она все черней и черней красила волосы. И прибавляла размер груди — как показалось Хаку. В этом году Романиде помогал какой-то курчавый красавец в фартуке.

— И ты здесь! — сказала Романида, наливая Хаку «как всегда бурбон». — Не видела в заявках твоего кадавра.

— Нас регистрируют в последнюю очередь, чтобы сохранить интригу, — пояснил Хак.

— Все равно все знают, что без Падалекомсателя дело не обойдется.

— Ты вот засомневалась, — заметил Хак, отпивая бурбон.



Падалекромсатель — так публика окрестила добродушного по своей натуре Сэма, звезду Арены. Ему это прозвище жутко не нравилось. Он ведь и сам в некотором смысле был падалью.

— Кто в этом году из неофициальных организаторов? — спросил Хак.

Романида кинула полный подозрения взгляд на сидящую за столиком троицу. Сказала тихо:

— Все как обычно. А еще Ларс... и Мелвинс.

— Мелвинс? Я видел одного из его людей в охране.

— Базз, — подтвердила барменша.

Хак прихватил бокал и отошел к доске с расписанием боев. На сегодняшнюю ночь были заявлены четверо бойцов. Линии, нанесенные зеленым маркером, соединяли их согласно результатам жеребьевки: Еретик — Дохлятина, Зараза — Красный Глаз. «Хорошо, что у Сэма много очков и ему не придется сражаться с этим отребьем, — подумал Хак. — Кто бы из них ни прошел дальше, они не представляют угрозу. Разве что... разве что...»

Его размышления прервала вставшая рядом Романида.

— Всегда было интересно, Хак, — проговорила барменша, — как ты заполучил своего кадавра?

— Разве не знаешь, как оживляют мертвецов?

— Далеко не всякого свежего можно поднять. А твой, говорят, очень старый.

Хак допил бурбон и сунул Романиде пустой стакан.

— Его тело шестьдесят лет пролежало на склонах Эвереста. Он был альпинистом. А мертвые альпинисты отлично сохраняются.

Хак никогда не смотрел поединки чужих мертвецов. Странное правило для ланисты, но оно работало. Другое правило предписывало всегда отслеживать результаты. В эту ночь Дохлятина и Красный Глаз победили в своих боях. В итоговой схватке верх одержал Дохлятина. С ним и предстояло сойтись Сэму.

Съев полагающийся в корпусе бесплатный завтрак, Хак направился к трейлер-парку, где содержались боевые кадавры.

— Кажется, мы разбирали с тобой, что делать с Дохлятиной, — сказал он Сэму.

— Можешь не напоминать, — отмахнулся Сэм. — С этим справлюсь. Вот во второй подгруппе есть Прах...

— Ты его уже побеждал.

— Да, но какой ценой! Он мне руку едва не оттяпал.

— Пусть хоть обе оттяпает. Ты, главное, победи в турнире.

Сэм приподнял руки, повертел ладонями перед лицом. Затем внимательно осмотрел Хака. Избегая его взгляда, Хак потянулся за сигаретой.

— Будешь по мне скучать? — спросил Сэм.

— Хочешь не хочешь, а твой ящик будет напоминать о тебе.



— Ну и отлично. Смотри на него вечерами.

Сэм дотронулся указательным пальцем до горячего уголька на сигарете Хака. Прикосновение не причинило ему боли.

— Мне очень тяжело, — сказал он. — Ты даже не представляешь.

— Знаю... Не представляю... Все будет хорошо, Сэм. Всего-то два боя.

Их поединок был первым в этот вечер. Хак сидел на трибуне и глядел вниз на огороженную щитами площадку. Болельщиков собралось много. Все они дружно взвыли, когда ведущий объявил выход Падалекромсателя. Сэм проследовал к центру площадки, поприветствовал публику вознесенным мечом. И у Дохлятины нашлись свои почитатели, они скандировали что-то неразборчивое, когда тот выбредал на Арену, волоча за собой прикованный к цепи шар.

Хак вздрогнул, заметив присаживающуюся справа Романиду.

— Пришла поболеть за Падалекромсателя.

— Сэм... Его зовут Сэм. Оставила заведение на своего мачо?

— Все равно клиенты на боях.

Сэм и его соперник поклонились друг другу, разошлись и замерли в ожидании гонга.

— Я никогда не видел горящего города... — безадресно проговорил Хак.

Гонг прозвучал, и мертвецы кинулись в бой. Дохлятина крутил своим шаром на цепи. Сэм пару раз увернулся и начал отступать. «Правильно делает, — подумал Хак. — Дохлятина тем силен, что вводит соперника в заблуждение своею неповоротливостью. Он способен на молниеносный удар, но только единожды».

— Что ты там сказал про горящий город? — спросила Романида.

— Ритуал такой... На победу.

— Я поняла, но что это значит?

— Знаменитый гладиатор Спикулус произносил это перед каждым поединком, вместо молитвы. И всегда выигрывал. «Я никогда не видел горящего города...» — строчка из стихотворения его хозяйина, римского императора Нерона¹.

— Император писал стихи?

— Да. И играл в театре. Был садистом, мразью, трусом и великим человеком. Говорят, он приказал поджечь Рим, чтоб вдохновиться этим зрелищем и сочинить стихотворение.

Сэм таки дождался подходящего момента и нырнул под вращающуюся цепь. Дохлятина попытался отступить и понизить траекторию, но опоздал — меч уже пронзил ему живот. Сэм поверг противника на вытопанную траву и уперся ногою в горло. Зазвучал

¹ По легенде, римский император Нерон произнес эти слова, когда кто-то сказал, что его поэме о падении Трои недостает правдоподобия. Вскоре после этого в Риме случился страшный пожар. То, что город был подожжен по приказу императора, — лишь одна из версий, как и то, что Нерон наблюдал за катастрофой, декламируя строфы из своей поэмы.



гонг, и объявили победителя. Пока Дохлятине помогали уползти, Сэм стоял с поднятым мечом и слушал нескончаемые овации.

— Правда, что ты хочешь его упокоить? — спросила Романида.

— Это очень личный вопрос. На такие я отвечаю только после стакана бурбона, не меньше.

— Всего один стакан? Тогда я угощаю.

— А твой мачо не приревнует?

Романида презрительно фыркнула.

В «Бумеранге», изрядно поддав, Хак рассказал ей про Сэма:

— Когда он разбился на Эвересте, он был не один. С ним погибла его жена. Сэм умирал в мучениях и уже знал, что она мертва. В курсе, что ежесекундно испытывают ожившие мертвецы? Именно то чувство, с которым умерли. У одних — ярость, у других — страх. А Сэм одновременно переживает два вида боли — физическую и моральную, на грани отчаяния. Почти двенадцать лет в нем звучит этот последний аккорд.

— Жутко. А ты на этом зарабатываешь...

— Заткнись, Романида! Ты ничего не знаешь.

— Знаю, что ты многим задолжал.

Они допили бурбон. Романида кивнула на дверь в свои апартаменты.

— Я бы еще приняла, но только не у всех на виду. Держу репутацию.

Хак осмотрел ее, стареющую *Vona Dea*², владеющую чашей и рогом изобилия. Он поднялся и сказал:

— Запомню твое предложение и приму в следующий раз. Клянись жизнью дочери.

— Следующего раза не будет.

Ночью Хак не смотрел поединки, но околачивался возле табло, где обновлялась информация. Ставки на Падалекромсателя резко упали, когда выяснилось, что в финале против него выйдет Прах. То, чего они с Сэмом и опасались.

Прах был чемпионом трех турниров, молодой и дерзкий (если такие характеристики применимы к мертвецу), и слава его росла. В позапрошлом году он победил наиболее эффектно: сначала оказался обезоруженным, затем вырвал из вражеских рук трезубец, разломал и обломком проткнул противнику горло. И все за считанные секунды, на трибунах едва успели разинуть рты.

Пройдя два раза по Гало, Хак зашел к Сэму, чтобы обсудить предстоящий поединок. Решили придерживаться той стратегии, которая однажды уже принесла победу над Прахом. Но и противник наверняка учел имеющийся опыт.

² *Vona Dea* (лат.) — Благая Богиня, в римской мифологии божество плодородия, женского здоровья и невинности. Ее изображали с рогом изобилия в одной руке и чашей со змеей в другой.



— Как меняется человечество, — задумчиво сказал Хак. — Раньше живые бились и умирали. Теперь мертвые сражаются и никак не умрут.

— Для меня ничего не поменялось. Главной наградой гладиатора была свобода. И я буду сражаться за нее. Только моя свобода — смерть.

Перед финальным боем, как обычно, разогревали публику разной чепухой: устраивали потешную охоту на мертвеца, сносили головы воскрешенным козам, нарядили двух кадавров в костюмы с символикой партий и разыгрывали совершенно непонятный Хаку политический сюжет. Он ни за что не пришел бы смотреть всю эту чушь, но вынужден был держать место, которого можно лишиться даже на трибуне в спецсекторе.

Наконец объявили бойцов. В темноте над Ареной зависли несколько камер — делали трансляцию для нелегальных каналов. Сэм вышел первым. Луч прожектора осветил лишь его ноги, но публика взревела. Затем во втором луче возникли ноги Праха. Снова рев толпы. Наконец бойцов показали в полный рост; их мертвую плоть прикрывали набедренные повязки, ремни, поножи и обмотки на ногах. В финальном поединке разрешалось иметь лишь три вида оружия или защиты. Сэм держал в правой руке меч, в левой — небольшой круглый щит, а на поясе висел кинжал. Прах, мастер боя на дальней и средней дистанции, вооружился коротким копьем, квадратным щитом и хлыстом, прикрепленным к левому нижнему углу щита. Этим знаменитым хлыстом он обычно выделял разные фокусы: стегал противника по глазам, опутывал руки или подсекал.

— Я никогда не видел горящего города... — прошептал Хак сразу после гонга. — Я никогда не видел горящего города... Я никогда...

И тут же произошло невероятное. Прах так метнул копье, что оно пригвоздило левую ступню Сэма к земле. Публика встала. Хак тоже вскочил, затем взобрался ногами на скамью. Сквозь мельтешение голов и поднятых рук, ему удалось разглядеть, что происходит на площадке. Прах носился по кругу, все время стегая Сэма кнутом и не давая возможности вынуть копье. Сэм проворачивался на пришипленной ноге и готов был воспользоваться мечом, как только противник приблизится. Очевидно было, что надолго его не хватит. «Если Сэм ничего не предпримет, — с охолодевшим сердцем подумал Хак, — то Прах выбьет из его руки меч, а затем ударами щита...»

Он молился, чтобы Сэм выстоял. Но душа хотела иного результата. Может, и лучше, если Сэм проиграет. Да, за проигрыш заплатят в сто раз меньше. Но с долгами можно что-нибудь придумать. Зато не потребуется расставаться с этим парнем. Сэм еще послужит. Он расскажет тысячу занятных историй, внимательно выслушает тысячу глупостей. Если б не его страдания...

Пока на арене дрались мертвецы, в душе Хака боролись чувства. А затем... его самого ударили по темени. Хак повалился

на впередистоящих, упал между ними на скамью. Второй удар лишил его сознания.

Он очнулся в полулежащем положении, на каком-то ящике. Жутко болела голова. Хак поднял руку и ощутил повязку. Кто-то его уже подлечил.

Он огляделся. Кругом стояли ящики с выпивкой. Очень похоже на подсобку «Бумеранга». И действительно, открылась дверь, вошел курчавый помощник Романиды.

— Очухался? — улыбнулся он Хаку и, прихватив пару бутылок, удалился.

Полминуты Хак провел в одиночестве, не решаясь подняться. Затем в подсобку вошли трое. Один из них — охранник Базз, другой — его хозяин, голубоглазый и лысый толстяк Мелвинс. Третьего Хак никогда не видел, но желания поближе познакомиться с этим человеком не испытал — слишком большой и мрачный. Все трое расселись на ящиках. Мелвинс — по центру. Одет он был, как всегда, нелепо: светло-коричневый костюм, сапоги до колен, шейный платок павлиньей расцветки.

— Прости, что пришлось тебя долбануть, Хак, — заговорил Мелвинс. — Ты стал чересчур скользким в последнее время.

— Наверняка это был он. — Хак указал на мрачного здоровяка. — Ты-то, Мелвинс, и задницу свою с трудом таскаешь.

— Дерзишь... Но я, толстозадый, тебя, скользкого, прижучил.

— Как закончился поединок?

Трое переглянулись.

— Твой победил, — сказал Мелвинс. — Он тут в баре с Романидой сидит.

Хак ощутил, как боль в голове приутихла. Хоть что-то хорошее.

— Ты мне много задолжал, — сказал Мелвинс. — Память, надеюсь, не отшибло?

— Да, и я тебе все отдам. Незачем было меня по темени...

— Все шестьдесят тысяч?

— Все сорок. Мы на проценты не договаривались.

— Мы и на сроки длительные не договаривались.

— Пусть будет пятьдесят, — согласился Хак. — За пробитую голову компенсацию не требую.

— Все такой же наглец, — повернувшись к Баззу, сказал Мелвинс. Затем снова взглянул на Хака. — Я с тебя денег не возьму. Расплатишься своим мертвецом.

— Нет. Я Сэма не отдам.

Мелвинс хмыкнул и погладил блестящую лысину.

— Сколько ты получишь за победу?

— Около восьмидесяти.

— Добавлю к ним еще двадцать и забираю Падалекромсателя.

— Не пойдет.

— А сколько хочешь?





— Да нисколько. Это был его последний турнир. Я обещал ему упокоение.

— Вот как?.. — Мелвинс откинулся к стене, затем сказал Баззу: — Посмотри по ящикам, может где-то имбирный эль есть.

— Принесу из холодильника, — отозвался Базз и вышел.

Мелвинс молчал, словно никак не мог продолжать разговор без своей выпивки. Спустя минуту Базз вернулся и сунул ему открытую бутылку. Мелвинс без особого удовольствия отхлебнул.

— Ты ведь должен не только мне. Ларсу — где-то около ста, не так ли?

— Расплачусь с тобой и часть верну Ларсу, — ответил Хак. — Сначала хотел наоборот, но раз уж ты здесь...

— Хватит дурачиться! Я могу доставить тебя к Ларсу. У нас сейчас теплые отношения и совместный бизнес.

— Тогда ты своего не получишь.

— Не получу. Но Ларс меня отблагодарит.

Хак пошарил в кармане, достал из пачки сигарету. Зажигалки не нашлось. Он вопросительно взглянул на Базза и поводит большим пальцем вверх-вниз. Базз понял просьбу, но никак не отреагировал.

— Я не могу отдать этого парня, Мелвинс, — сказал Хак. — Почему бы тебе не взять весь мой выигрыш и не оставить нас в покое?

— Раньше нужно было думать. Теперь отдашь мертвеца или будешь разговаривать с Ларсом. Ты знаешь, как и чем это закончится.

Хак зачихал неподкуренную сигарету в губы, поводит нижней челюстью.

— Я прошу тебя, Мелвинс, как старого друга. Знаю, поступал паршиво...

Ничего во взгляде голубых глаз не изменилось. Базз и мрачный здоровяк смотрели с легкой насмешкой. «Все вы, трусы, чувствуете свое превосходство, когда собираетесь в кучу, — проговорил Хак про себя. — Вас бы заставить биться друг с другом, вместо мертвецов».

— Не понимаю, чего ты уперся, Хак, — сказал Мелвинс. — Ну, обещал ему упокоение... Все что-то обещают своим бойцам. Обычное дело.

— Ты не понимаешь, ему очень паршиво.

— Я как раз понимаю. Страдания — его движущая сила, ею Падалекромсатель и побеждает.

Мелвинс достал из кармана зажигалку и бросил Хаку.

— Хорошо, сделаем так. Я списываю твой долг, расплачиваюсь за тебя с Ларсом.

Хак подкурил сигарету и пару раз затянулся. Он сделал вид, будто размышляет, но мыслей в голове не было. И размышлять было не о чем.

— Так ты теперь ланиста? — спросил он Мелвинса.

Толстяк пожал плечами.



— Начал понемногу. Но мне нужна настоящая звезда. Твой Падалекромсатель — самый подходящий вариант. Он будет сиять и дальше.

— Сиять... — мрачно усмехнулся Хак и выпустил дым. — Он будет сражаться, пока обещаешь его упокоить. Но ты же его не упокоишь.

— Почему же? Когда-нибудь... Ладно, я вижу, ты уже решил. Ребята, помогите-ка ему.

Базз и здоровяк подошли к Хаку, но он отмахнулся:

— Не надо. Смогу сам.

Из подсобки они переместились в зал «Бумеранга». Бар, по всей видимости, был закрыт. Только за одним столиком сидели Романида и Сэм. Мелвинс и Хак подошли к ним. Подручные Мелвинса остались у стойки, за которой крутился мачо.

— Мы договорились, Сэм, — объявил Мелвинс. — Теперь твой ланиста — я. Отныне будешь биться за меня.

Сэм непонимающе взглянул на Хака. Хак кивнул и, почему-то глядя на Романиду, сказал:

— Да, дружище, прости... У меня нет выбора.

Сэм ошалело поднялся, но Мелвинс тут же положил руку ему на плечо и повлек к выходу.

— Не переживай, приятель. Всего-то пару боев... — сказал он мертвецу.

У двери Сэм обернулся и посмотрел на Хака. Он хотел было что-то сказать, но подошедшие Базз и здоровяк вывели его наружу.

У Хака возникло ощущение, будто только что выключили громко игравшую музыку. Он слышал, как мачо протирает бокал, чувствовал, как пульсирует стянутая бинтами голова.

— Садись, выпей, — сказала Романида.

Хак присел и отхлебнул из бокала. Там оказался неразбавленный джин.

— Как голова? — спросила Романида. — Это я рану обработала. Не расстраивайся так. Тебе и вправду не оставили выбора.

Хак допил джин и долго глядел куда-то мимо столов. Взгляд его, казалось бы, проник за брезентовую стенку бара, а там снаружи вообще ничего не было — только бесконечная темная прерия.

— Выбор был, только я не решился сделать правильный, — сказал он Романиде. — Помнишь, я говорил тебе про Спикулуса и императора Нерона?

— Конечно. Гладиатор, повторяющий стихи своего господина.

— Спикулус, как и большинство гладиаторов, был рабом. Затем возглавил конную гвардию императора, а после стал личным охранником Нерона и его семьи. И близким другом.

Романида подлила джин, но Хак пить не стал.

— Случилось восстание, и сенат приговорил Нерона к смерти — через сечение розгами, — продолжал Хак. — Спасти императора

от позора и мучений должен был верный Спикулус, но того во дворце не оказалось. Тогда Нерон сам проткнул себе горло.

— Ух ты! А что стало с гладиатором?

— Его схватили и расшибли о статую Нерона. Не правда ли, иронично? Не император погиб от руки Спикулуса, а наоборот.

Он встал и направился к выходу.

— Эй, Хак! — негромко позвала Романида, и он обернулся. — Я говорила, что следующего приглашения не будет. Можешь считать, что оно все-таки есть.

— Я знаю, знаю... — Хак вымучено улыбнулся ей. — Спасибо за бинты.

Когда он вышел из «Бумеранга», уже светало. Хак побрел к конторе мимо стоящих в темноте палаток и фур. Он подумал: если после получения призовых его убьют между какими-нибудь вонючими машинами, ему будет все равно. А если его оживят, он станет вечно чувствовать себя паршиво. Но и это не сравнится с состоянием бывшего друга — Сэма, Падалекромсателя, звезды Арены.



Тимофей НИКОЛАЙЦЕВ

СЛОМАННАЯ ЧЕЛЮСТЬ ГОВОРИТ ОТ ИМЕНИ ВСЕХ

Р а с с к а з

Темнота, наполненная редким дождем, уже практически сокрыла следы, по которым он шел... Сломанная Челюсть различал их шагов на десять вперед, не больше.

Был сезон малой осени — хорошей воды с неба падало совсем немного, соленый песок вдоль берега реки схватился глянцевой коркой, и капли долбили ее с таким звуком, будто где-то совсем рядом, не таясь, копали землю. Это отвлекало внимание, заставляло то и дело останавливаться и прислушиваться, а потому Сломанная Челюсть шел осторожно и медленно. Дождь тоже никуда не торопился, но мешал, как мог, — чернил глину по высоким склонам, смачивал хмурые каменные лбы около кромки воды, заставляя их скользко блестеть, сам же песчаный берег реки делал рябым и пестрым от пятен потемневшей соли.

Если бы тот, по чьим следам он крался, не был обут в жесткую обувь, оставляющую такие явные отпечатки, то Сломанная Челюсть давно бы сбился со следа. Он посмотрел влево, на светлую полосу реки, — баркасы по-прежнему двигались вдоль берега с той же примерно скоростью, что и он, временами скрываясь за лохматые гривы плавучих островов. Их было то ли четыре, то ли пять — Сломанная Челюсть еще ни разу не увидел все одновременно, чтобы быть уверенным в числе, но, насколько можно было разглядеть в бинокль, силуэты баркасов отличались друг от друга, и Сломанная Челюсть понимал — они идут разреженной шеренгой, перегородив реку, часто меняют курс, а оттого их траектории переплетаются, как нити в крученой веревке. Скорее всего, баркасы обыскивали плавучие острова. Сломанная Челюсть не чувствовал к ним ненависти, но все равно избегал быть на виду: расстояние до них было слишком большим, а видимость — слишком плохой для полной в том уверенности. К тому же внимание приходилось постоянно делить между рекой и берегом, это порядком выматывало.



Как он и ожидал, паломничество давалось ему с трудом. Кости болели в привычных местах, но десять часов погони заставили их болеть сильнее обычного; он подволакивал ногу, и цепочка его собственных следов выходила рыскающей и приметной. Подумав об этом, Сломанная Челюсть переложил топор из одной руки в другую...

Словно отреагировав на это движение, один из баркасов резко поменял курс. Сломанная Челюсть больше не видел его в профиль — баркас обратился в наконечник стрелы, нацеленный прямо на него. Спустя мгновение другой баркас проделал тот же маневр и двинулся к берегу, пусть и не так стремительно, как первый, держась в тени лохматой растительности одного из островов. Сломанная Челюсть юркнул за камень, понимая уже, что его, скорее всего, заметили, но медля пока убежать. Он поднес бинокль к глазам. По поверхности реки плавали колонии светящейся слизи. В сочетании с сумерками они сбивали с толку — трудно было следить за обоими баркасами разом, а потому Сломанная Челюсть сосредоточился на первом. С такого расстояния он различал только силуэты людей, что были в лодке, но по их позам определил — два лучника на корме, еще пара с копьями под прикрытием щитов ближе к носу.

Сколько человек работает на веслах, разобрать пока не удавалось — борта и развешенные по бортам щиты хорошо их скрывали. Но, глядя, как споро баркас забирает поперек течения, как вспарывает тугую соленую воду, Сломанная Челюсть подумал о десятке гребцов и командире, что задавал ритм веслам. Бежать от стольких преследователей не имело никакого смысла даже здоровому человеку, и он остался в своем укрытии, ожидая, когда они приблизятся...

Уже через пару минут визг соли, что перетиралась в уключинах, и плеск взбиваемой веслами воды стали хорошо различимы. Сломанная Челюсть поменял бинокль на топор и отодвинулся подальше в тень валуна, стараясь, чтобы железное ненароком не коснулось камня. Он был взволнован, но ненависти по-прежнему не чувствовал.

Заскрежетал песок под носом баркаса, Сломанная Челюсть напрягся, сжимая оружие, но всплеска от ног прыгающих через борта людей не услышал. Они оставались в лодке, и это был хороший знак.

Он шевельнулся, и его тотчас окликнули:

— Выходи! Мы тебя видим! Ты за камнем, похожим на отрубленную голову.

Все камни вдоль соленых рек похожи на отрубленную голову — кроме тех, что напоминают закопанного по горло в песок человека. Сломанная Челюсть подумал так, но спорить не стал.

Их было именно столько, сколько он и предполагал. Лучники с кормы смотрели на него хмуро, но без особого интереса; лиц тех, кто держал копья, он по-прежнему не различал. Командир баркаса выпрямился ему навстречу и опустил оплавленный по краям обломок огромной толстостенной трубы, который служил ему щитом.

Его лицо оказалось настолько похожим на этот щит — темное, широкое, сплошь усеянное вмятинами и шрамами, с неровной



бахромой бороды по краям, — что Сломанная Челюсть поначалу даже не заметил особой разницы.

— Я не чувствую к тебе ненависти, — сказал мужчина, как показалось, с некоторым сожалением.

— Я тоже не чувствую ненависти к вам, — ответил Сломанная Челюсть, выходя из тени валуна под рассеянный предвечерний свет. — Я вижу — вы сильные, и я готов отвечать вам.

Он видел, как опускаются копыта, вонзаясь в песок, — кроме острия, на каждом был крюк, и этими крюками мужчины теперь цеплялись за берег, успокаивая ерзающий по течению баркас.

— Ты на песке, мы в воде, — заверил его командир. — Будем смотреть за спины друг другу. Мы следим за твоим берегом, ты — за нашей водой...

— Это не мой берег, — помотал головой Сломанная Челюсть. — Я иду этим берегом с оружием.

— Верно, — кивнул командир. — Тогда мы выйдем на берег и будем сами следить за водой и сушей.

— Хорошо. — Сломанная Челюсть подчинился и отступил на положенные два шага.

Мужчина легко скользнул через борт, умудрившись почти не лязгнуть железом, которым был обвешан, и встал в полный рост. Он был кряжист и даже грузен — кольчуга, сплетенная из упругих металлических нитей от древних, нержавеющей тросов, казалось, была ему тесной. Сплюснутые полосы железа прикрывали его ключицы, делая плечи еще шире.

— Ты не выглядишь сильным, но идешь один и с оружием, — продолжил он, подходя, и оценивающе поглядел на светлое лезвие и обух, сточенный в форме граненого зуба. — У тебя хороший топор.

— Это топор моего отца, — ответил Сломанная Челюсть.

Командир поднял на него взгляд.

— Значит, ты мстишь за отца, — понимающе сказал он, — поэтому идешь теми следами...

— Нет, — снова качнул головой Сломанная Челюсть. — Мой отец умер очень давно. Я не помню его лица.

— Это сын женщины... — негромко передал командир баркаса своим людям, и все они — и те, что молча стояли вокруг него на песке, и те, что остались на баркасе, — переглянулись между собой.

Сломанная Челюсть опустил голову. Наступал самый неприятный момент разговора.

— Нет. Я сын оружия своего отца! Моя мать была из тех, к кому мы чувствуем ненависть. Мой отец захватил ее во время паломничества и заставил родить меня для общины. Он умер вскоре... Меня воспитала община.

— Пусть так. Но сейчас ты идешь чужим берегом.

— Я совершаю паломничество. — Сломанная Челюсть поднял взгляд на людей на берегу и в лодке.

Они зашевелились, задвигались разом по песку, обступая его со всех сторон.



— Ты не выглядишь готовым к этому, — строго насупливаясь, сказал их командир. — Идущий в паломничество должен быть в силах убить как минимум двоих. Только тогда твое паломничество будет иметь смысл. Если ты не способен убивать, то должен приносить пользу любым другим способом. Не похоже, что твоя община чтит обычаи.

— Каждое мое слово, сказанное на этом берегу, — это почитание обычаев, — напомнил ему Сломанная Челюсть, глядя исподлобья.

— Да, — подумав, согласился тот. — Я слышу — ты говоришь как мужчина, хотя и не выглядишь мужчиной. Но ты идешь убивать с отцовским топором, который слишком для тебя тяжел, а не молишься день и ночь богу Силы у себя в общине.

— Я поднимал молитвенные камни с самого детства и делал это с не меньшим усердием, чем любой из вас.

Командир баркаса, сомневаясь, подвигал тяжелой челюстью.

— За мужчину говорят не слова, а поступки, — веско сказал он. — Почему же ты тогда не выглядишь сильным и готовым убивать?

Прямой вопрос прозвучал как пощечина — Сломанная Челюсть протестуяще шевельнулся, и люди на берегу напряглись, лоя цепкими взглядами малейшие его движения. Они были уже на взводе — быть может, их недавно постигла неудача, а может, беда случилась с их общиной и они искали виновников этой беды.

— Я — калека, — просто сказал Сломанная Челюсть и впервые за все время разговора открыто обвел глазами обступивших его — все ли слышали?

Они слышали. Взгляды их оставались непроницаемы.

— Да, я вижу твое лицо... и вижу, как ты стоишь... — Согласно обычаям, командир баркаса говорил за всех. — Расскажи, что с тобой произошло.

— Это случилось до моего рождения, — начал Сломанная Челюсть, приказав себе стоять спокойно. Он рассказывал эту историю часто и уже привык к ней. — Мой отец совершал свое шестое паломничество. — Воины опять переглянулись и уважительно кивнули друг другу. — Он выследил тех, к кому мы чувствуем ненависть, целую группу — четверых мужчин и женщину. Мой отец сумел убить их, но и сам был ранен. Он не смог взять мою мать прямо на поле боя, как положено, но привез ее в общину с надрезанными сухожилиями. Когда он оправился от ран, то взял ее силой — женщины моей общины все это время пытались сломить ее ненависть и заменить покорностью, но она не сломилась... Моя мать чувствовала такую ненависть ко всем нам, что, когда подошел срок, отказалась меня рожать. Отцу пришлось бить ее, чтобы заставить, но она все равно держала лоно крепко стиснутым. Она была готова умереть в муках, лишь бы община тех, кого она ненавидит, не стала больше даже на одного младенца.

— Она была смелой... — Командир баркаса кивнул и даже оглянулся на своих людей, будто призывая их в свидетели своего уважения.



— Очень смелой, — согласился Сломанная Челюсть. — Она могла бы тихо от меня избавиться, пока не подошел срок, и принять легкую смерть, раз уж оказалась бесполезной для общины. Я думаю, что отец убил бы ее быстро — мать была красивой женщиной, и ее трудно было продолжать ненавидеть... Но она предпочла выносить меня, чтобы показать всем, какую ненависть она чувствует. Отец отрубил ей обе кисти вот этим топором, чтобы она не могла зажимать ни рта, ни лона. Но она продолжала упорствовать, и тогда повивальным бабкам пришлось давить ей на живот, чтобы избавиться от бремени... Я увидел свет и, поначалу всем казалось, родился нормальным младенцем — сразу закричал от ненависти к ней. Но у меня были сломаны какие-то кости, и они срослись неправильно. Я тягал молитвенные камни, как одержимый, но не смог расти мужчиной...

Люди вокруг него одобрительно зашумели, с лязгом ударили оружием о железо своих доспехов.

— Я помню эту историю... — с заметным волнением сказал их командир. — И, кажется, помню этот топор. Наверное, я знал твоего отца... Да! Так и есть. Я был еще мальчишкой, когда он помогал нашей общине убивать тех, кого мы ненавидим.

— Он был героем, — поднял голову Сломанная Челюсть. — Его знали многие.

— И твоя мать... Среди женщин иногда встречаются такие, что удивляют нас, мужчин. Жалко, что она оказалась из тех, к кому мы чувствуем ненависть!

— Мой отец так и сказал мне, когда держал на руках над телом матери. Я только родился и еще не понимал его слов. Тогда он сказал это повивальной бабке, чтобы потом она передала мне. Я не помню лицо своего отца, но помню его слова. Поэтому я и иду сейчас чужим берегом по чьим-то следам, хотя и недостойн этого. Из уважения к силе моего отца и отваге моей матери община позволила мне уйти в паломничество, так как рассудила — я задохнусь от ненависти, не находящей выхода, если отцовский топор будет ржаветь бесцельно... Я ответил тебе на все, командир сильных, и больше мне нечего сказать.

Мужчины на баркасе и около него встали свободнее, по-прежнему не говоря ни слова. Второй баркас подходил к берегу, настороженно шлепая веслами. В нем было еще больше людей, чем в первом, но мужчин — только двое. Сломанная Челюсть увидел коротко стриженных подростков, чьи головы мелькали низко меж бортовых щитов — мальчики молились богу Силы, что есть мочи налегая на весла.

— Ты говоришь как мужчина, — повторил командир баркаса. — Мне жаль, что ты не стал им пока.

Сломанная Челюсть промолчал — слова были излишни.

— Так как ты еще никого не убил, то недостойн знать наши имена и не можешь задавать вопросы. Но я сам скажу тебе — мы обыскиваем плавучие острова для нового лагеря общины. Те, к кому мы чувствуем ненависть, были здесь недавно. Их несколько человек,



без женщин — должно быть, они совершают паломничество. Мы не смогли их выследить, но видели однажды с воды — они выглядят сильными. Тебе не справиться с ними.

Сломанная Челюсть мрачно кивнул в ответ на это.

Второй баркас застыл, перебирая веслами против течения, в паре гребков от берега. Быстро темнело и холодало, над стриженными макушками гребцов, взмокших от работы на веслах, курился едва заметный парок.

— Я решил так, — сказал командир, повышая голос, чтобы услышали все. — Мы поможем тебе, а ты — нам. Ты пойдешь с нами водой вдоль этих следов. И мы, пока будем грести, тоже расскажем тебе историю.

Не возражая, Сломанная Челюсть перелез через борт и сел, куда было велено. Баркас был древним, но крепким — сохранившимся с самого начала времен, его дюралевую скорлупу пощадил стремительная и едкая речная соль, давным-давно сжевавшая в труху стальные корпуса затопленных на фарватере Кораблей. Борты сплошь были в отметилах от стрел, разной степени давности, вмятинах от камней, пущенных из пращи. Сломанная Челюсть увидел также несколько настоящих пулевых пробоин, тщательно заклеенных шершавыми листьями плавучего пластыря, окаменевшими от времени.

На веслах на этом баркасе тоже сидели подростки, еще ни разу не побывавшие в паломничестве, но постарше — уже со следами бритья на щеках. Они тоже взмокли, но были в железе; мускулы их лоснились. Они оказались умелыми гребцами, несмотря на возраст, — баркас совершенно без усилий и всплеска сорвался с места, пугнув скошенным носом одно из пятен светящейся плесени, что подобралось на ночевку уже к самому берегу. Второй баркас пошел следом, вразнойой щетинясь веслами и потихоньку отставая.

— Следы, по которым ты идешь... — Командир одними глазами показал в сторону берега. — Мы догнали того, кто их оставил. Это было к исходу дня, совсем недавно. Мы шли на веслах посередине реки, где быстрая вода. У нас тоже есть бинокль, мы заметили идущего и взяли в клещи. Мы разделились — одни из нас высадились и начали преследовать, другие обогнали его и тоже сошли на берег. Он не стал убегать...

Сломанная Челюсть на мгновение потерял самообладание — раздосадованно дернул щекой.

— Мне жаль, что я терял время и шел по холодному следу. — Он склонил голову перед мужчинами, взяв себя в руки.

— Нет, — поправил его командир баркаса, — этот след вовсе не холоден. Оставивший его был еще жив, когда мы ушли по воде.

В его голосе и во взгляде ощущалось изрядное сомнение, что это до сих пор так. Он мялся, не зная, как продолжать.

«Вы не стали его убивать?» — едва не спросил Сломанная Челюсть, но вовремя прикусил язык.

— Мы не чувствовали к нему ненависти, — неловко сказал командир и оглянулся на других — как показалось, не очень

уверенно. — Никто из нас... Было бы неправильно поднимать наше оружие. Но мы не смогли и говорить с ним. Он — чужой, не из нашего мира. Не знал обычаев и не понимал нас.

— Мы все говорим на одном языке... — удивился Сломанная Челюсть, привычно избегая строить вопросительные фразы.

— Ты не понял, — прервал его командир. — Он понимал наши слова и отвечал нам. Мы тоже узнавали слова, но так и не поняли, о чем он толкует. Это было... странно... — Он помолчал, собираясь с мыслями. — Мы не чувствовали к нему ненависти и сказали ему об этом. Он ответил: «Ну и хорошо». Он не был напуган, но говорил с явным... облегчением. Мы ждали ответа и уже опустили копья, но он молчал. Тогда мы спросили сами... чувствует ли он к нам ненависть. — Мужчина запнулся, с усилием выворачивая ритуальную фразу наизнанку. — Он сказал: «Нет, а с чего бы?» — и тогда мы начали сердиться. Потом он назвал свое имя. Это было... дико, словно болотный шакал вдруг заговорил с нами. Он вел себя как ребенок — задавал нам вопросы и вынуждал нас делать то же самое. Не зная наших имен, не сообщив нам даже, мужчина ли он!

— Наверное, он выглядел сильным, — потрясенно сказал Сломанная Челюсть.

— Нет, — покачал головой командир баркаса, отчего его борода мотнулась и исказила отражение в светящемся пятне, что проносилось мимо борта, закручиваясь хищными воронками жидких ртов. — Он не выглядел так, будто хоть однажды молился богу Силы с должным усердием, но был... опасным. Не как любой из нас, вообще не как человек — как дикое животное. Мы не могли понять, что у него в мыслях. Собирается ли он нападать или хочет говорить. Я не знаю, как объяснить это, да и никто из нас не знает... Он задавал нам вопросы, тем самым оскорбляя нас, а сам даже не прикасался к оружию — будто вовсе не считал нас за мужчин...

Сломанная Челюсть ошеломленно раскрыл глаза.

Над голой глиной правого, высокого берега быстро скользила приземистая тень — какой-то хищник начинал разведку перед ночной охотой.

— Оружие... — повторил командир, задумчиво глядя в темную воду. — Теперь я скажу тебе, чем он был вооружен...

— Да, командир сильных. — Сломанная Челюсть обнаружил вдруг, что крепко стискивает рукоятку топора, и смутился — вести себя так было совсем невежливо в окружении мужчин, к которым он не чувствовал ненависти. Но все вокруг сделали вид, что не заметили этого.

— Огнестрельное оружие! — сказал командир и посмотрел на него в упор. — На ремне, с прикладом и емким магазином, но короткое — для ближнего боя. Что-то вроде автоматического пистолета. Их иногда еще находят, но почти все из этих находок уже никуда не годятся. А его оружие выглядело совсем новым.

Он обернулся на своих людей, и те одновременно кивнули.





— Вороненая сталь, — прищурился их командир, припоминая детали. — Запах смазки. И полностью снаряженный магазин — мы видели желтые патроны в прорезях, — и совсем никакой ржавчины.

Он замолчал, и мужчины с копьями тоже молчали. Стало светлее, первая луна поднялась над далеким травяным лесом, ее свечение сеялось сквозь путаницу ленточных облаков — те уже уронили из себя всю воду и посветлели.

— Мы оставили его в покое, — признался командир. — Мы не знали, как себя вести... Было бы глупо рисковать и продолжать с ним разговор, который все больше нас запутывал. Мы были сильнее его — в железе и с оружием, нас было много, и мы стояли близко... Но зачем рисковать, затевая бой, — если не чувствуешь ненависти?

Сломанная Челюсть лихорадочно соображал.

Да, командир этих людей поступил правильно. Обычаи учат быть осторожным в поступках — безрассудный риск глуп, это удел мальчиков, а не мужчин. Командир прежде всего должен думать о своей общине. Так велят обычаи и здравый смысл — ведь если община велика и процветает, она сможет куда легче уменьшать численность тех, к кому мы чувствуем ненависть.

— Обычаи мудры, — согласился он вслух.

— Ты вряд ли убьешь кого-то в своем паломничестве и вряд ли из него вернешься, — сказал командир баркаса, обращаясь к нему с тем сдержанным спокойствием, с каким растолковывают ошибки. — Ты движешься слишком медленно, и у тебя слишком узнаваемый след. Ты не сможешь убежать и не сможешь запутать своих преследователей, сколько бы ни пересекал чужие следы.

Сломанная Челюсть кивнул — да, все так и было.

— Я понимаю — ты молод и ищешь смысл своим вдохам и выдохам, как делает каждый юноша. Я не спорю с решением твоей общины отпустить тебя, хотя и не совсем одобряю. Ты должен приносить пользу, а если ты погибнешь, не убив никого, да еще оружие твоего отца достанется тем, к кому мы чувствуем ненависть, это сделает их сильнее на один топор, а твою общину сделает слабее на одного человека, пусть и не вполне мужчину. Хотя ты калека, но ты не похож на лишний рот, позволить тебе просто сгинуть без пользы было бы неправильно. Обычаи это запрещают. Поэтому я поручаю тебе работу, которую не могу сделать сам. Ты будешь согласен или просто подчинишься? — Я согласен, — обдумав его слова, сказал Сломанная Челюсть.

Командир баркаса кивнул, и его люди тоже облегченно зашевелились — словно общий сдавленный железный вздох прошелся над ними.

— Я рад, что ты понял и подчиняешься здравому смыслу и обычаям, а не моему оружию! — сказал командир, положив тяжелую от защитного железа руку ему на плечо. — Ты не выглядишь сильным, но выглядишь достаточно умным. Ты хорошо говорил с нами, и теперь я хочу, чтобы ты говорил с тем чужаком. Мне нужно, чтобы ты



его понял и дожидать бы до утра, чтобы объяснить мне. Мой отец учил меня — невозможно процветать, если не понимаешь смысл происходящего вокруг. Неизвестное — почти всегда отложенная угроза...

— Я вижу его, — негромко сказал один из лучников, и Сломанная Челюсть машинально оглянулся на новый голос.

Лучник смотрел в бинокль, обе линзы которого, несмотря на возраст, были целы и не затерты. Сломанная Челюсть снова с гордостью подумал, что эта община, обитающая на плавучих островах, процветает. Те, к кому мы чувствуем ненависть, наверное, нечасто осмеливаются тревожить ее. Он тоже поднял бинокль, но не различил впереди ничего, кроме сумерек и цветового шума.

— Будь осторожен, — напутствовал его командир баркаса. — Нам нужно вернуться за женщинами и детьми — остров под нашим временным лагерем начал проявлять активность, он может вскоре проснуться. И помни — помогая нам, ты помогаешь и своей общине тоже.

— Я знаю, — ответил Сломанная Челюсть, не поворачивая головы.

Он видел уже — высокая фигура двигалась по берегу. Не очень быстро, но все равно куда быстрее, чем Сломанная Челюсть, когда ее преследовал. Командир баркаса был полностью прав — калека не годится для погони и его паломничество было пустой затеей...

Он отстранился от бинокля. Первая луна спустилась уже достаточно низко, чтобы начать багроветь, копыта его спутников казались теперь вымазанными кровью. Он прислушался к себе — но ненависти к этой фигуре на берегу не ощутил, одно лишь недоумение да пробивающееся сквозь него любопытство.

Через несколько гребков баркас уже приблизился на расстояние, с которого Сломанная Челюсть мог различать детали. Человек был высок, но худ, если не сказать — хрупок. Узкие плечи говорили о небольшой физической силе, но двигался он уверенно, не таясь. Сломанная Челюсть сощурился, жадно впитывая детали: правое плечо опущено ниже левого, и это значит — оружие на ремне с правой стороны...

Подростки по команде налегли на весла. Баркас легкой тенью скользнул к берегу, ловко протиснувшись между двумя пятнами светящейся слизи, которые сближались на мелководье, намереваясь то ли пожрать друг друга, то начать спариваться.

Сломанная Челюсть снова почувствовал руку у себя на плече — требовательное, торопящее пожатие. Он убрал бинокль и взялся за топор обеими руками. Его община обитала в глинистых каньонах, а не около реки, и он не сумел правильно и незаметно сойти на берег — под ногами плеснуло... Баркас высадил его и тотчас отошел, вспенив веслами воду вдоль левого борта. В свете багровой первой луны Сломанная Челюсть едва различал, как вздрогнул и подобрался тот, по чьим следам он так долго шел.

Он был одет во что-то... яркое. Сломанная Челюсть не видел раньше такого цвета и даже не знал, что подобные существуют. Он удивленно вытаращился — цвет одежды чужака был столь непохож



на окружающий мир, что сам чужак казался нарисованным. Сломанная Челюсть будто смотрел на сцену удачного паломничества, какие мужчины рисуют на синеватой глине каньона. И все остальное на чужаке тоже выглядело странным — никакого защитного железа, только черные ремни расчерчивали ткань комбинезона, и на этих ремнях крепились незнакомые вещи... вроде тех древних приборов, что люди находили время от времени, только без малейших признаков износа. Еще пара ремней, толстых и очень прочных на вид, замыкались вокруг пояса, продетые в металлические проушины, будто чужака спустили на них с самого неба.

Оружие его оставалось под правой рукой, невидимое пока.

Человек повернулся и смотрел, как Сломанная Челюсть приближается, по-прежнему держа топор обеими руками поперек туловища, лезвием вниз. На фоне более светлой реки Сломанная Челюсть был хорошо заметен, но и чужак в своем непредставимо ярком наряде выделялся на фоне откоса. Сломанная Челюсть вдруг увидел, что полосы на ремнях отчетливо светятся во мраке, и совсем уж остолбенел — это что, сумасшедший? Как можно быть настолько заметным и при этом надеяться остаться в живых?

Сломанная Челюсть подошел так близко, как только мог, чтобы его приближение не выглядело угрозой. Ненависти к чужаку он не чувствовал.

Тот показал ему свои руки — омерзительно пустые. Его оружие натягивало ремень на плече, невидимое отсюда. Сломанная Челюсть теперь хорошо понимал, что так вывело мужчин из себя — каждый жест этого человека был оскорблением.

— Привет, — сказал чужак, и Сломанная Челюсть растерянно затоптался — звук его голоса оказался тонким, совершенно под стать нелепой узкоплечей фигуре. Сломанная Челюсть не колеблясь записал бы чужака в подростки, если бы тот не был настолько высоким — на две головы выше его самого.

— Я не чувствую к тебе ненависти... — начал он, еще раз прислушавшись к себе. По-прежнему ничего.

— Те, что тебя привезли, тоже так мне сказали! — обрадовался чужак. — Ты их представитель, я правильно понимаю?

— Я говорю за их общину, — кивнул Сломанная Челюсть.

Только сейчас он понял, насколько это будет трудной задачей — узнать о чужаке хоть что-то, не прибегая к прямым вопросам. «Или придется нарушать обычаи», — подумал он с содроганием. Он и так уже вел себя вызывающе — сошел с места во время их разговора, попытавшись обойти собеседника, но так и не сумел толком разглядеть оружия. Чужак стоял боком, его оружие беспечно висело стволom вниз, открывая взгляду лишь тонкий приклад — треугольный, как скелет прыгающей рыбы, очищенный от съедобной плоти.

— И как называется община, за которую ты говоришь? — спросил чужак. — Извини, я тоже говорю за своих людей. Мы — исследовательская группа Академии наук. Ты понимаешь, что это?

Сломанная Челюсть пожал плечами. Сказанное показалось ему бессмысленным набором звуков.

— Теперь твоя очередь, — напомнил ему чужак. — Почему ты молчишь?

— Я не знаю, как тебе ответить. Моя община обосновалась в глиняных каньонах выше по течению этой реки. А община, за которую мне велели говорить, оседлала плавучие острова главного русла. Они процветают, но им приходится постоянно перемещаться с острова на остров.

— Прекрасно! — подбодрил его чужак. — Просто отлично, что ты готов общаться и делишься информацией. Она пригодится нам позже. Но давай начнем с названий... Да, и я должен тебя предупредить — нас ведь слушают оттуда. — Он ткнул пальцем в отвесное небо, где ленты облаков продолжали разматываться, собираясь понемногу в спутанную сеть. — Ведут запись и оперативный анализ, так что наша беседа имеет статус официальных переговоров. Академия наук, помнишь? А как называют вас? Какое имя у вашей общины?

— Но у общин не бывает имени, — недоуменно сказал Сломанная Челюсть.

— Вот как? А как вы отличаете одну общину от другой? Мы же давно наблюдаем за вами и знаем — вы разобщены и находитесь в состоянии перманентной войны. Но отчего-то воюете не с ближайшими соседями, что было бы объяснимо хотя бы с точки зрения дележа ограниченных ресурсов, а ведете сложную кампанию с постоянными вылазками в глубину чужих территорий и вступаете в очень избирательные схватки. Как вы понимаете, когда перед вами противник, а когда — друг, если ваши общины не имеют имен?

— Мы чувствуем ненависть, — проговорил Сломанная Челюсть, окончательно запутываясь. — Или не чувствуем.

— Вот как? — Чужак оживился, и Сломанная Челюсть совсем поплыл рассудком — вся его речь состояла из одних вопросов. Это было настолько неправильно, что почти причиняло боль. — Тогда давай хотя бы познакомимся друг с другом для начала. Ты не против? Скажешь мне свое имя? Вот меня зовут Бенуа. А тебя?

Сломанная Челюсть почувствовал, что вздрагивает всякий раз, когда этот человек, еще не обозначивший себя мужчиной, открывает рот. Он и впрямь был словно ребенок — нахальный, с тонким издевательским голосом, обрушивающий на собеседника вопрос за вопросом. Зачем он это делает? Хочет вывести его из себя? А быть может, и правда безумен? Сломанная Челюсть слышал о таком — повредившийся рассудком ребенок навсегда остается в детстве, не замечая, как взрослеют его сверстники. Бенуа... Это слово ничего не означало, а потому не могло быть именем. Бессмысленный, гадкий звук — будто болотный шакал зевнул из жидкой грязи...

— Пожалуйста, назови мне свое имя, — мягко попросил чужак, и, не услышав на этот раз вопросительной интонации, Сломанная Челюсть опомнился.





Он отметил вдруг, что невольно присогнул руки в локтях и теперь держит топор едва ли не на уровне груди. Это было просто верхом неуважения к человеку, к которому он не чувствовал ненависти. Сломанная Челюсть ощутил жгучие пятна стыда на щеках — невидимые, впрочем, в багровом свете первой луны.

— Ты говоришь так грубо со мной, — сказал он, впрочем примиряюще опуская взгляд. — Но я понимаю — ты пришел с неба и просто не знаешь обычаев.

— Вот как? — опешил чужак. — А что я такого?.. — Он заметил тень, промелькнувшую в глазах Сломанной Челюсти, и задумчиво кивнул — уже почти как мужчина, а не как безрассудный сопляк.

— Хорошо, — сказал он, — ты прав... Извини, если мои слова тебя оскорбили.

— Слова ничего не стоят, если ничего не значат, — произнес Сломанная Челюсть. — Я готов тебе отвечать.

— Но как мне тогда?.. — начал было чужак, но осекся. — Твое имя... Мне ведь нужно как-то отличать тебя от других.

— Здесь больше никого нет, и меня не от кого отличать, — сказал Сломанная Челюсть, обводя взглядом берег.

Чужак ничего не сказал на это, обдумывая его слова, но Сломанная Челюсть чувствовал, что тот его понял. Они были совершенно одни на берегу, даже баркасы ушли настолько далеко, что совсем пропали из виду, затерялись среди багровых теней и светящихся пятен; и даже те, от лица которых говорил чужак и которые смотрели на него сверху, — тоже давно потеряли своего посланника среди sloящихся лент радиоактивных облаков. Гигантская, в половину неба, вторая луна понемногу вступала в свои права, проявляясь из темноты и ионизируя верхние слои атмосферы. Связь, если его община на небе пользовалась радиоволнами, уже должна была исказиться до суматошного треска, растворяющего любую осмысленную речь.

Видимо, так и было — Сломанная Челюсть увидел вдруг во взгляде чужака то хорошо узнаваемое одиночество, каким невольно окрашиваются лица всех мужчин, впервые уходящих в паломничество. Тот больше не слушал голоса с неба и даже отвел петлю витого провода от своего уха.

— Похоже, я тебя понял, — буркнул чужак, придерживав оружие под мышкой. — К черту протокол, раз такое дело...

— Нам нужно уйти с берега, — сказал Сломанная Челюсть. — Вторую луну уже видно глазами.

— Она так опасна? Меня предупреждали, что внизу мне понадобится убежище. На крайний случай у меня есть экран-тент. Не бог весть что, но спасет от быстрых нейтронов.

— Не нужно, — сказал Сломанная Челюсть. — В каждом откосе есть пустые норы. Мы укроемся в них.

— И как долго мы будем наедине? — не утерпел чужак.

Сломанная Челюсть видел — он нервничает, хотя и старается не подавать вида.

— Пока третья луна не закроет вторую. — Сломанная Челюсть показал на реку. — Вода начнет гнуться и пойдет к обоим берегам разом. Мы услышим это и увидим, не беспокойся.

— Я не то чтобы беспокоюсь всерьез... — Чужак демонстративно потянул за плечевой ремень, заставив свое оружие шевельнуть коротким стволом. — Но не привык идти за тем, кто не называет мне своего имени.

Сломанная Челюсть кивнул ему, подумав, как сильно, должно быть, отличаются их обычаи.

— Гляди. — Он приподнял голову, чтобы чужак смог хорошенько рассмотреть его лицо в полумраке.

Тот посмотрел — сначала с любопытством, понемногу перерастающим в неловкость по мере того, как он разглядывал очертания вдавленной внутрь черепа глазницы и скособоченного подбородка.

— Это и есть мое имя.

Не дожидаясь ответа, Сломанная Челюсть захромал вверх к пологому склону, хрустя на всю округу смерзшимся в корку песком и кристаллами соли, что успела на него осесть и затвердеть. Чужак (Сломанная Челюсть даже про себя не смог назвать его этим тошнотворным шакальим звуком — Бенуа) шел за ним, ступая след в след. Он довольно быстро учился, а быть может, просто перестал слушать глупые советы со своего неба, и потому не трещал более без умолку. Только когда они поднялись довольно высоко и Сломанная Челюсть принялся выбирать для ночлега одну из множества глиняных нор, что зимний ветер набуравил в склоне, он решился прервать молчание.

— Значит, — сказал он, — вы знаете и об атмосферных помехах, и о радиации... Знаете, что эта ваша вторая луна — вовсе не планетод. Что вас угораздило поселиться под самым боком у нейтронной звезды...

— Конечно, — ответил Сломанная Челюсть. — Мы ведь не дикари.

— Но все равно называете ее луной.

— Просто многие старые слова потеряли смысл. И нам стало не до них.

— Вы помните, как оказались здесь? Сохранились летописи, предания? Ведь не так много времени прошло...

— У нас есть свод обычаев, — поразмыслив над вопросом, сказал Сломанная Челюсть. — Часть из них — старые, еще времен Кораблей...

— Значит, вы помните даже Корабли?

— Не просто помним — я сам видел один из них, пока река не растворила его.

— Ты поднимался на его борт?

— Нет, — сказал Сломанная Челюсть. — Это было невозможно. Он пролежал в реке с самой Посадки. Когда мне впервые показали Корабль, он был уже просто холмом рыхлой ржавчины, вроде оплетенного паутиной сыпучего куста. Его нельзя было даже тронуть, не разрушив, не то что войти внутрь.





— Когда наладится связь, я могу показать тебе снимки этих Кораблей, — предложил чужак после недолгой паузы. — В их перво-зданном виде, разумеется. Меня проинструктировали перед высадкой — нужно для начала восстановить вашу связь с прошлым, только так мы сможем избежать культуршока.

— Я не знаю, что это такое, — пожал плечами Сломанная Челюсть.

Он обнаружил хорошую нору, в которой вполне могли разместиться два экипированных человека. Она казалась покинутой или просто необитаемой — ни слепков затвердевшей слюны около входа, ни жестких хитиновых надкрыльев поблизости. Он побеспокоил черное нутро норы рукояткой топора, прислушался и, не заметив ничего подозрительного, протиснулся внутрь.

— Мне идти за тобой? — спросил чужак, переминаясь с ноги на ногу. — Или нужно самому искать себе убежище? Я не хочу нарушать твоих обычаев, я просто их пока не понимаю...

— Поскольку я не чувствую к тебе ненависти, — сказал Сломанная Челюсть, — а ты чужой и ничего не смыслишь в ночлеге, мы можем разделить одну нору. Нам нужно дожить до утра, как мне было поручено. Если ты тоже не чувствуешь ненависти ко мне...

— Конечно, не чувствую! — выпалил чужак, и Сломанная Челюсть обрадовался было, что безумие его оставило и теперь они могут разговаривать и друг друга понимать. — Ты же не сделал мне ничего плохого, а я не сделал ничего плохого тебе...

Сломанная Челюсть услышал этот странный довод и снова запутался.

Опустившись на дно норы и опершись спиной на глиняную стену, утрамбованную временем до твердости обожженного кувшина, он принялся терпеливо, словно отучая ребенка беспечно сыпать вопросами, объяснять чужаку, тщательно подбирая слова: видишь, сначала падает капля дождя, а уж потом на соленом песке возникает пятно — только так, не наоборот. Мы чувствуем ненависть не потому, что нам сделали плохо, но мы сами хотим сделать плохо друг другу, потому что чувствуем ненависть... Чужак слушал его, округляя глаза, но Сломанная Челюсть не был уверен, что тот правильно его понимает, — он вдруг опять заговорил о Кораблях.

Сломанная Челюсть слушал не очень внимательно и тоже не все понимал.

Крайне неудачно вышло, что наспех разработанный протокол Посадки предусматривал размещение Кораблей в руслах больших рек, раз уж на этой планете отсутствовали океаны. Планета выглядела перспективно, и никто не ожидал, что она окажется этаким горьким снежком, слепленным сплошь из оксидов натрия и хлора. Бездна свободного кислорода, много воды, распределенной вполне равномерно, но столько активных веществ в грунте... Люди на небесах читали отчеты с брошенных орбитальных станций. Ты же знаешь, что такое орбитальная станция?



Сломанная Челюсть пропускать мимо ушей все то, что казалось ему лишним. Он пытался запомнить только важное, но оно было сокрыто под многими незнакомыми словами.

Движущая сила любой колонии — это энергия. Корабли несли ее в своих реакторах — многие и многие тонны делящегося вещества. Корабли и были реакторами — те трубы, из обломков которых люди теперь делают щиты, тяжелые, но совершенно неуязвимые для любого оружия, во время полета были разгонными блоками, а потом стали частью теплообменной системы. Но трубы разрушились раньше Кораблей...

— Ты знаешь это? — спрашивал его чужак.

Сломанная Челюсть пожимал плечами, и тот, неверно истолковав этот жест, пускался в пустые объяснения.

— На краях тех фрагментов, что ваши люди носят вместо щитов, остались следы термического отпуска. Мы подняли множество их для изучения, и везде — одно и то же. Видимо, когда реакторы пошли вразнос, перегретый пар разорвал эти трубы на части. Ты знаешь, какими они были огромными? Стоя в них, человек не мог бы даже докричаться до противоположного края! Я видел записи с орбитальных станций, но не уверен, что их разрешат показать тебе, — пар был перегрет настолько, что стал почти плазмой, а потому обломки труб горели в присутствии большого количества кислорода... Академия наук требует называть это Большой Поломкой, но мы называем Большим Кошмаром — все крупные реки будто вскипели разом...

История чужака не казалась интересной, но крохи полезного удалось выловить из этого потока.

— Вы не могли находить их много, — сказал Сломанная Челюсть, имея в виду обломки труб. — Мы и то их очень редко находим.

— Они все лежат на дне ваших рек — в лабиринтах донных каньонов из кристаллической соли. Это ведь даже не вода — химический рассол, перенасыщенный настолько, что выпадает в осадок при малейшем понижении температуры. Корпуса кораблей не смогли долго ему сопротивляться, это хуже любых самых соленых, но спокойных морей — постоянный напор воды, абразивные кристаллы соли... Вас угораздило выбрать для колонии самое неудобное место во Вселенной, ты уж меня извини.

— Это не такой уж плохой мир, — пожал плечами Сломанная Челюсть. Ему стало немного обидно, поэтому он так разговорился. — Даже в соленых реках есть жизнь. Плавающие острова долго живут в покое, пока не начинают делиться. Нужно просто привыкнуть, приспособиться. В большие сезоны с неба падает много хорошей воды, и мы умеем сохранять эту воду и отделять от тяжелой. А в малые сезоны или в паломничествах мы добываем воду из животных, которые умеют ее запасать. Прирученные растения могут давать урожаи даже с речной водой — мы просто знаем, какие их части накапливают тяжелую воду, и не едим их.



— Так у вас все в порядке, да? — запальчиво спросил чужак. Он сидел вплотную, опершись спиной на противоположную стену. Их колени почти соприкасались, и оба держали на них оружие — каждый свое. — Знал бы ты, сколько раз Академии наук приходилось слышать от тех переселенцев, которые заблудились в небе, что они довольны своей теперешней жизнью! Каждый раз, когда мы находим очередную пропавшую партию землян, нам приходится убеждать их, что есть жизнь куда лучше, чем их вынужденная робинзонада... Мы ведь все — земляне! Ты ведь это понимаешь?

Сломанная Челюсть не знал этого слова и подумал, что чужак так говорит о людях, к которым он не испытывал ненависти.

— Не все из нас процветают, но у нас достаточно еды и воды. Мы потеряли Корабли, но выжили...

— Да, ты прав. Суровые условия, с которыми столкнулись колонисты, конечно, осложнили адаптацию. Но вы бы не потеряли Корабли, если бы не воевали друг с другом!

— Это правда, — подумав, признал Сломанная Челюсть.

— Тогда почему вы без конца воюете? И с кем вы воюете? Мы сверху никак не можем этого понять. Вы ведь даже никак не называете свои племена... свои общины. Вы почти не используете имен при коммуникации — я ведь правильно понял? Отличаете знакомых по лицам... Как вы распознаете незнакомцев? Как отличаете враждебные общины от дружественных?

— Мы чувствуем ненависть.

— Да, это хорошо видно с неба. Но почему? Если дело не в дефиците ресурсов, территорий или женщин, то в чем дело? Мы собрали огромный массив информации, насколько это было возможно сделать с орбиты, и... у Академии нет ответа! Пока самой убедительной выглядит религиозная причина. Вы же верите в богов? У них-то хоть есть имена? Твои обычаи не запрещают называть их?

— Мы молимся богу Силы, — начал перечислять Сломанная Челюсть. — И улыбаемся богу Жизни, когда у нас рождаются младенцы. И проклинаем бога Жизни в остальное время — потому что младенцы рождаются у тех, к кому мы чувствуем ненависть...

Он знал, что сейчас скажет чужак: те, к которым вы чувствуете ненависть, ведь делают то же самое. Он не понимал, как объяснить — мужчины и те, кто пытается стать мужчиной, молятся богу Силы и становятся сильнее... или не становятся. Женщины молятся богу Жизни и тоже делают это усердно — ведь от них зависит численность общины. Так повелось. Богам, в общем-то, плевать на людей и их ненависть — они помогают и тем и другим...

— У тебя была женщина? — спросил чужак, косясь на его лицо.

Сломанная Челюсть начинал уже терять терпение — этот человек задавал совершенно глупые вопросы.

Да, он не ходил раньше в паломничество и еще никого не убил. Но он был сыном героя и не унаследовал свое уродство — он нес отличные гены и несколько раз помогал женщинам молиться богу Жизни.

Каждый человек должен помогать своей общине расти, если из-за ран или увечий не способен уменьшать численность тех, к кому мы...

— А почему тот здоровяк назвал тебя сыном женщины? Это прозвучало вроде не очень хорошо...

Сломанная Челюсть нахмурился — этот вопрос означал, что чужак умел слышать на расстоянии голоса тех, с кем однажды разговаривал. Какое-то древнее хитроумное устройство — вроде того, по которому с ним говорят люди с неба? Сломанная Челюсть поставил себе в памяти зарубку — подумать об этом позже...

Края их норы уже начинали светиться — это споры безвредной плесени флуоресцировали, корчась в потоках излучения второй луны, которая проступила бледным пятном через багровую темень.

— Нужно спать, — сказал Сломанная Челюсть. — Начинается малая ночь — самое безопасное время суток, сейчас все живое сидит по норам или под толщей соленой воды. Нужно восстановить силы — малая ночь не продлится долго...

Чужак все никак не мог уgomониться — даже когда Сломанная Челюсть закрыл глаза и опустил лицо на свой топор, продолжал нести всякие глупости, которые и так знал каждый человек, но которые он, видимо, считал откровением. Сквозь некрепкий сон Сломанная Челюсть услышал о числе Кораблей — сорок два при численности колонистов в полторы тысячи на каждом.

— Это много людей. Вы думаете, что за эти восемьдесят лет ваша популяция хоть немного увеличилась? Нет! Вы на грани вымирания, хотя ваши женщины плодятся как одержимые! Даже это бешеное воспроизводство не сможет бесконечно компенсировать убыль. Есть законы биологии, и по ним пороговые значения численности уже маячат в не слишком-то отдаленной перспективе. Если бы не это обстоятельство, то Академия наук все еще наблюдала бы, все тянула бы с началом полевого взаимодействия... «Молиться богу Жизни» — этой идиомой вы называете секс?

«Еще одно бессмысленное слово, — решил Сломанная Челюсть, не прерывая сна. — Не нужно запоминать его».

— Тридцать шесть крупных рек, — продолжал чужак. — Корабли совершали посадку более-менее равномерно. Вы перемешались и почти сразу же начали воевать. Мы считаем... мы почти убеждены, что ваша вражда как-то связана с Кораблями, а точнее — с их гиперпространственной траекторией. Хотя об этом ты уже вряд ли что-то знаешь... Эта теория безумна, но как иначе объяснить, что экипажи Кораблей левого звена вдруг начали воевать с экипажами правого? Может, в гиперпространстве было что-то, так поляризовавшее вашу психику? Математики выявили эту закономерность, а факты ведь не могут врать. Ты что-то знаешь об этом? Ваши легенды, ваши обычаи не предписывают ненавидеть колонистов с определенных Кораблей? Может, это спор тупоконечников с остроконечниками?..

Сломанная Челюсть ничего не понимал. Они оба не понимали друг друга и ничего не могли друг другу объяснить. Командир с плавучих





островов ошибся — Сломанная Челюсть так и не смог понять чужака, хотя умел слушать как никто другой. Зря ему поручили говорить за общину...

Он проснулся от гудения воды и треска растираемого ею песка внизу. Начинаясь большая ночь — самое опасное время, время охоты животных и боя людей. Мертвенный фиолетовый свет третьей луны подсвечивал тусклую, погибшую плесень по краям их норы.

Чужак спал, беспечно сложившись пополам и накрыв оружие своим телом. Сломанная Челюсть посмотрел на его худую шею с выпирающими косточками хрупких позвонков.

«Пора», — подумал Сломанная Челюсть.

Он протянул руку и тронул чужака за плечо. Тот проснулся мгновенно, и Сломанная Челюсть уважительно кивнул ему — это был ценный навык, человек с неба быстро учился.

— Они идут, — сказал он одними губами, прикрывая ладонью рот чужаку, чтобы тот не заговорил громко спросонок.

— Кто? — нахмурился он. — Те, к кому ты...

Чужак говорил шепотом, но без заспанной хрипотцы, и Сломанная Челюсть понимал — командир был прав, назвав его опасным. Он не просто мальчишка с оружием и, скорее всего, сумеет убить человека, когда придет время.

— Я много думал во сне и все понял, — сказал Сломанная Челюсть, не позволив ему закончить. — Вы, люди с неба, можете прекратить нашу войну.

— Вот как? Понял во сне? — переспросил чужак. — Прекратить войну... И как же нам это сделать?

Сломанная Челюсть украдкой выглянул за край норы — сколько времени у него осталось? Те, к кому он чувствовал ненависть, шли в темноте по откосу, наступая на наросшие за ночь кристаллы соли, лопающиеся под их ногами. Они не спешили, не двигались прямо к ним и вообще, скорее всего, еще не обнаружили их присутствия — просто вышли из своего укрытия в большую ночь, чтобы продолжить паломничество. Они часто останавливались, обыскивая встреченные норы, и тогда их переставало быть слышно.

Сломанная Челюсть еще не видел их глазами, а потому справлялся пока со своей ненавистью.

— Третья луна заслонила вторую, — напомнил чужаку Сломанная Челюсть. — Облака над нами больше не радиоактивны — ты опять можешь слышать свое небо.

— Да, — подтвердил чужак, вернув витой провод на ухо и прислушавшись.

— Я хочу, чтобы ты позвал умных людей... этих... математиков... Скажи, что я говорю от имени своей общины и от имени общины с плавучих островов, что я знаю лицо их командира. Передай им то, что я предлагаю...

— И что ты предлагаешь? — эхом отозвался чужак, положив руку на свое оружие и встав так, чтобы Сломанная Челюсть не смог до него дотянуться.

— Вы — как боги на своем небе, — сказал тогда Сломанная Челюсть, более не сдерживаясь. — Вам плевать на нашу ненависть... Вы хотите держаться в стороне, хотите помочь и тем и другим. Но так — нельзя!

Чужак опешил от горячности его шепота и от резкости его слов. Опешили, должно быть, и те, кто их слушал, — прошло несколько ударов сердца, прежде чем чужаку разрешили ответить.

— Если ты имеешь в виду, что мы не собираемся принимать ничьей стороны в вашем конфликте, то так и есть.

— Но вам придется! — сказал Сломанная Челюсть. — Ты говорил, численность людей уменьшается. Если вы не вмешаетесь, через несколько поколений может не остаться никого.

— Этот исход очень реален, — согласился чужак, страшно прищуривая глаза. — Но мы могли бы ввести карантинные меры... изолировать ваши враждующие популяции...

Скорее всего, он повторял слова, сказанные с неба.

— Ничего не выйдет, — качнул головой Сломанная Челюсть. — Ты сам говорил — здесь нет океанов, а значит, нет обособленных материков. Только реки, а через реки мы умеем плавать. Вам не удастся разделить нас и тех, к кому мы чувствуем ненависть. К тому же вы не сумеете отличить нас друг от друга. Поэтому будет так — или с вашей помощью останутся жить люди с половины Кораблей, или не останется никого.

— И ты считаешь, что выжить должны ты и твоя популяция? И почему же? — не своим голосом произнес чужак после долгого молчания.

— Я не смогу тебе ответить, — сказал Сломанная Челюсть. — Причины нет... но нет и другого способа. Если те, к которым я чувствую ненависть, спросят вас о причине — просто скажите, что им не повезло. Ты говорил со мной, а мог бы говорить сначала с ними.

— И ты считаешь, что этого будет достаточно?

— Я не знаю, — пожал плечами Сломанная Челюсть. — Но ты слышал, как я говорил о своей матери и своем отце. Ты говорил со мной всю ночь и думал о моих словах. А тех, что сейчас идут сюда, ты не знаешь. Быть может, твои люди с неба еще сомневаются... Но думаю, что ты сам уже выбрал сторону.

— Черта с два! — непонятно сказал чужак снова своим собственным голосом, тонким и осипшим одновременно.

— Ты увидишь, что выбрал, — спокойно сказал Сломанная Челюсть. — Ты видел мое лицо и узнаешь мой голос. Ты назвал мне свое имя — Бенуа... Мы делили одну нору с тобой. Ты мучил меня вопросами, и я стерпел от тебя все... Это было трудно, но я докажу тебе, что умею терпеть ради своей общины, так же как моя мать терпела боль ради своей. Сейчас я выйду навстречу тем, к кому чувствую ненависть. Я буду делать, как велят ваши обычаи, а не мои, — не буду сражаться. А они — будут. И тогда ты не сможешь не выбирать...





— Черта с два! — повторил чужак яростным шепотом, не глядя на Сломанную Челюсть, а обращаясь напрямую к облакам, что проплывали над черным жерлом норы. — Не мелите чушь, я на такое не подписывался!.. Мне плевать, что он прав... Плевать на вероятностные модели — я не математик... Я не убийца, вы меня не заставите!

— Ты — человек, — спокойно сказал ему Сломанная Челюсть, — к которому я не чувствую ненависти. Тебе должно хватить этого, чтобы ты выбрал.

Он полез прочь из норы. Чужак попытался ухватить его за штанину и стащить обратно, но Сломанная Челюсть что есть силы ударил топором плашмя по твердой глине снаружи, и от этого звука, казалось, вздрогнула вся округа.

Те, что обыскивали норы, замерли, вслушиваясь в неверную фиолетовую темноту.

— Отпусти, — прошептал Сломанная Челюсть. — Ты мне только мешаешь. Они уже услышали.

Впереди торопливо хрустела соль, осыпалась потревоженная глина.

Чужак полез было следом, но Сломанная Челюсть покачал головой:

— Ты слишком заметен, весь светишься. В бою им некогда будет разбираться — они просто убьют обоих.

— Чертов ты сукин сын... — совсем непонятно прошипел чужак, отшатнувшись обратно в нору.

— Я хочу спросить тебя!.. — вдруг выпалил Сломанная Челюсть.

— Вот мерзавец... — сказал чужак таким голосом, словно его терзали изнутри. Он сейчас был и впрямь страшно похож на болотного шакала — темнота норы обволакивала его, как лохматая шкура, оставляя голым только запрокинутое кверху лицо со сжатыми до белизны губами. — Валяй, спрашивай! Как там ты говоришь... я готов тебе отвечать.

— Какого цвета твоя одежда? — с огромным усилием выдавил из себя прямой вопрос Сломанная Челюсть.

— Ты не знаешь? — удивился чужак. — Это же оранжевый! Цвет спасателей. Как апельсин... А, черт! Как огонь. Разве у вас нет этого цвета?

— Травяной лес не горит, — ответил ему Сломанная Челюсть. — Он никогда не становится сухим. Мы жжем костры из того, что выбросила река, и костры горят белым огнем.

— Ясно, — сказал чужак.

Сломанная Челюсть повернулся к нему спиной, уже определив на слух — те четверо разделились. Двое лезли по верху гребня, всё еще невидимые, а двое других крались прямо по склону, петляя среди мешанины черных дыр. Они и правда выглядели сильными — широкие покатые плечи и головы без шей. Только у одного из них был железный щит, второй двигался налегке, вооруженный сразу двумя саблями, сделанными из ржавых изогнутых полос. Сломанная Челюсть

уже почти не мог дышать от одного их вида, кроваво-черным муаром окрашивалось периферийное зрение. Боясь, что вот-вот сорвется и ринется им навстречу, размахиваясь для последнего удара, он поднял перед собой руки с топором и заставил себя разжать пальцы.

Топор упал к его ногам и глухо звякнул.

«Мой отец проклял бы меня, если бы увидел», — подумал Сломанная Челюсть.

Двое паломников приблизились к нему на расстояние нескольких шагов. Лица их были перекошены от ненависти, и Сломанную Челюсть самого трясло. Он выставил им навстречу руки, показал пустые ладони, как делал это чужак. Они замедлили и без того крадущуюся поступь. Сломанная Челюсть увидел, как их щеки идут рябью под давно не бритыми бородами. Он тоже дышал через стиснутые зубы — иначе уже не получалось...

— Это приманка! — сказал один из паломников другому. — Осторожно — этот калека нас заманивает! Он не выглядит сильным, но не стал убежать...

Его дыхание то и дело прерывалось короткими болезненными спазмами.

Второй посмотрел на Сломанную Челюсть, посмотрел на гребень откоса, синеющий на фоне огромной и бледной третьей луны, потом — на реку. Вода на реке еще пыталась течь, но притяжение столь близкого и массивного небесного тела тянуло ее к себе, выгибая реку вогнутым желобом... Он помотал головой, едва не раскрошив при этом зубы: на реке негде было спрятаться баркасу, а от возможной атаки из-за гребня прикрывали третий и четвертый паломники. Норы под ногами остались без внимания — ни один мужчина не вынес бы приступа ненависти на столь малом расстоянии и не смог бы оставаться в засаде.

— Я ненавижу вас, — подал голос Сломанная Челюсть, едва-едва справившись с дыханием и не сорвавшись на яростный рык. — Но не буду с вами драться. Пусть оружие моего отца лежит в соли под моими ногами.

Они придвинулись еще на шаг, и Сломанная Челюсть увидел в свете третьей луны, как прыгают его собственные пальцы, долгими болезненными судорогами пытаясь сжаться в кулаки.

— Не будешь драться? — заорал первый с такой силой, что фонтаном полетела слюна. — Ты — отродье! Болотный шакал! Сын женщины!

Он замахнулся железной полосой и ударил по вытянутой навстречу руке — она переломилась, брызнув ошметками плоти из-под лезвия. Тотчас второй стремительно придвинулся сбоку и крест-накрест рубанул обеими саблями — поперек живота, потом по лицу... Сломанная Челюсть и сам весь переломился, боль вспыхнула и тут же поднялась горячей волной, затопив даже его ненависть; он наполнился этой болью, вскипевшей в нем так, словно его, как одного из зверей, умевших запасать внутри воду, положили





на костер. Потом он лопнул в тех местах, где его ударило железо, и боль пролилась наружу...

Падая, он услышал новый звук и сразу узнал его, хотя при нем никогда раньше не вели бой из огнестрельного оружия, — услышал, как рвется воздух. Сразу несколько пуль ударили одного паломника в мягкое, другой еле успел прикрыться щитом — пули сыпанули, выбивая звездчатые вспышки. Спасаясь, паломник прыгнул с откоса прямо во вставшую на дыбы реку.

Уже с земли, уже темнея взглядом, Сломанная Челюсть увидел, как чужак еще дважды дал очередь, целясь в тех двоих, что подбирались сверху, — оттуда дождем посыпалась глина. Было непонятно, попал ли он в кого-нибудь: ничего не упало сверху, кроме глины, — ни тел, ни оброненного оружия. Должно быть, паломники успели сигануть за гребень. Они вряд ли теперь вернуться — обычаи строго запрещали менять две свои жизни на одну чужую.

«Но и тот, что прыгнул в реку, вряд ли выжил, — подумал Сломанная Челюсть, — во всем железе, что было на него надето...» Значит, он все-таки убил двоих, как и положено, пусть и не своими руками.

Сломанная Челюсть увидел ботинки чужака с жесткими подошвами, что скрипели, дробя соляные наросты, — тот подошел и сел рядом. Сломанная Челюсть почувствовал, как чужак приподнимает ему голову.

— Бенуа... — выдавил он.

— Сукин ты кот! — ответил тот своим обычным непонятным бредом. — Мне все-таки не стоило вмешиваться, нужно было и дальше смотреть, как тебя рубят, будто капусту...

— Бенуа... — повторил Сломанная Челюсть. Половина его лица отказывалась двигаться, когда он говорил. Опять что-то лопнуло и потекло — он захлебнулся кровью, которой вдруг стало так много во рту.

— Не думай, что ты всех уговорил, — с упорством, переходящим в отчаяние, сказал чужак. — Возможно, твой план не примут. Возможно, применят перекрестный алгоритм сортировки и отделят-таки агнцев от козлищ. Возможно, перегородят всю планету забором... Все возможно, и еще ничего не решено, ты понял?

Сломанная Челюсть молчал, шумно глотая кровь.

— В любом случае будет планетарный карантин! — сказал чужак. — Вам никогда больше не подняться в небо, слышишь? Ни вам, ни вашим потомкам. Академия этого не допустит. Вдруг то, что заставляет вас ненавидеть, заразно? А?! Вдруг остальное человечество подхватит это и тоже разделится на левое и правое звено? А?! Гребаные вы бешеные псы! Давай я хотя бы осмотрю тебя...

Он попытался что-то сделать с одеждой на его животе, но посмотрел и оставил как есть.

— Да... Да... Хорошо... — сказал он, и Сломанная Челюсть удивился сначала — что же там может быть хорошего? Но потом понял,

что чужак опять отвечает людям с неба. — Бросьте, не нужно соборно-лезнований — мы ведь обсуждали этот вариант...

— Слышал? Я тоже в вечном карантине с этой минуты, — сказал чужак, обращаясь уже к Сломанной Челюсти. — Как и ты, умру под этим небом, пропади оно... В принципе, я знал, на что шел, — целая планета воинственных безумцев была подо мной, где уж тут всерьез мечтать о возвращении! Сорняки вашего гнева должны быть выполоты. Но я, дурак, до последнего надеялся, что ты объяснишь мне его причину. Что скажешь мне: «Те, с других Кораблей, однажды наступили на хвост нашему спаниелю, а мы за это нассали под дверь их капитанской каюты — и всё заверте...»



Игорь ЯКОВИЦКИЙ

МИР В СОБАЧЬИХ ЛАПАХ

Рассказ

Вождь Имрук умирал. Лежа на краю обрыва, он готовился отдать последний вздох ветру. Из раны на груди сочилась кровь. Его сын Анингак сжимал слабеющую руку отца, стоя на коленях, и не мог поднять на него взгляд. Мужчины из племени Ун обступили их в скорбном молчании. Они опирались на копья и сурово смотрели за горизонт. Имрук всю свою долгую жизнь вел их к процветанию и теперь боялся, что через широко раскрытые глаза к ним в душу залетит демон мести. Станет нашептывать дурные мысли. Обратит их взор на племя Ирри, что во главе с вождем Рагой стояло поодаль, сгрудившись, набычившись, как загнанное стадо бизонов.

Сегодня была славная охота, и все ради мечты Имрука о мире. Он хотел обнять новых друзей у костра, разделить с ними добычу, но все вышло иначе.

Смерть уже коснулась холодными пальцами его ног и рук и быстро приближалась к сердцу. В горле собиралась кровь, было сложно говорить. Он выплюнул ее на землю, притянул Анингака поближе.

— Теперь ты вождь, — сказал Имрук. — Я вырастил достойную замену. И потому прошу — прости их. Я умираю, но хочу, чтобы моя мечта жила. Справишься?

Последним, что услышал Имрук, были слова сына...

* * *

Мазок оборвался. Плотная черная линия потускнела и развалилась на отдельные нити, похожие на облезлый хвост. Я обмакнул кисть в маленькую заводь тушечницы, вытер лишнее о выпуклые лилии, да так и застыл с занесенной перед лоскутом лапой. Веки плавно опустились, накрывая все вокруг серым полотном. Звуки растворились, мир распался на образы. Туман в голове загустел, превратился в клубящиеся тучи. Они заползли через окно, наполнили комнату. Первая капля дождя упала мне на макушку...

Я вздрогнул и очнулся. На полу растекалась черная клякса, и следующая капля, набухшая на кончике кисти, готова была сорваться вслед за первой.

...Последним, что услышал Имрук, были слова сына:

— Я постарюсь, отец.

И дух вождя сорвался со скалы гордым соколом, чтобы присоединиться к предкам.

Я закончил строчку и отложил кисть. Мягкими движениями помассировал набрякшие веки и, не сумев сдержать зевоту, бесстыдно раззявил пасть. Еще одна бессонная ночь плавно перетекла в новый день. В сумеречной пелене за окном проступала молочная полоса рассвета.

Где-то там люди грелись под лучами солнца, а нам, лаям, достался туман. Вязкий и недвижимый, как само мироздание.

Рабочую стену передо мной закрывали десять лоскутов-свитков. Сверху и снизу они были насажены на два длинных штыря, которые я крутил по мере написания истории. Прошлое сворачивалось, а будущее расстилалось чистым полотном. Всю ночь я скользил от одного свитка к другому, воплощая в жизнь охоту мужчин из племени Ун. Один свиток — одна жизнь, и эта жизнь иногда казалась реальнее моей собственной, хотя человек, зашифрованный в ровных строчках графем, лишь отдаленно напоминал лая. Вместо шкуры — гладкая кожа с редкими клочками волос, пальцы короче, чем у лаев, и лишены когтей, уши сбоку, а морда сплюснута, — нам даже пришлось придумывать новые слова. Не «лапы», а «руки» и «ноги», не «морда», а «лицо». А главное — бедолагу лишили хвоста, и меня удивляло, как он мог ходить, подобно нам, на двух конечностях, не имея балансира. Но такова была воля Творца, переданная нам старейшиной: создать человека по образу и подобию Его и оберегать от опасностей мира.

Последняя графема на свитке Имрука успела потускнеть и укрепиться в полотне истории. В паутине линий я видел взлетающего сокола с изогнутой ветвью в когтях, которую дух вождя добавит к общему гнезду. До сокола шло еще множество причудливых вариаций символов, в которых была запечатлена история.

Имрук умер, его путь окончился. Не так, как я того желал, но никто не мог изменить случившегося, потому что мы, историки, могли лишь задавать исходные данные и вносить небольшие корректировки, а единое полотно потом само решало судьбу человека.

Я достал из нагрудного кармана серповидный ножичек и, обрезав лоскут, аккуратно скрутил его. Ножичек вернул обратно, после чего перевязал свиток синей шелковой тесьмой и положил в архив к множеству других законченных жизней.

На стене осталось девять лоскутов. Девять мужчин, застывших на пороге войны, готовых перегрызть глотку сопернику. Но я верил, что еще остался выход. Конфликт не созрел, не вылупился, еще была



возможность задушить его в зародыше. Я обмакнул кисть, но стоило пустить мысль в русло, как она села на мель. Свитки потеряли четкость контуров, растянулись, упали на пол вялыми языками, поползли к моим лапам...

Я помотал головой, отгоняя сонное наваждение, и прервал работу. Наполнил водой ведро, подвешенное над расстеленным матрасом, и, коснувшись головой подушки, провалился в темноту. Беспробудную и беспокойную. Пустую.

Нехитрое устройство отмеряло полчаса на спасительное забытье. Вода мерно капала из дырявого ведра в короткий бамбуковый стебель, с одной стороны заделанный, а с другой — срезанный наискосок. Стебель постепенно наполнялся и, когда вода достигала нужной отметки, опрокидывался мне на голову. Но из-за усталости казалось, что не было никакого промежутка между сухой и мокрой шерстью. Вот я ложусь, а вот — вытряхиваю воду из ушей.

Полчаса — большего я не мог себе позволить. Людей становилось слишком много. Помимо охоты, на описание которой я потратил целую ночь, своей очереди ждали еще десятки свитков стариков, женщин и детей, сложенные на деревянном стеллаже рядом с рабочей стеной. Но это потом.

Я выглянул в окно, и в этот самый момент округлое и звонкое «гун-н-н!» разлилось над верхушками скал. Гонг призывал всех лаев собраться у храма Ишу, храма Искусств, на ритуал приветствия Солнца.

Я сменил серый, как моя шерсть, рабочий обшкур на торжественный огненно-алый, расписанный узором рыжей чешуи, и подпоясался широким кушаком цвета золота. Новый день — это доказательство силы Творца, зажегшего звезды, это праздник, и встречать его полагалось в подобающем виде.

В рассветный час, когда туман заливался румянцем, все лаи с окраинных скал стекались к Материнской, парящей выше остальных, отчего арки мостов, перекинутые через пропасть, превращались в пестрящую шерстяную реку. Единим потоком она затекала в распахнутые ворота и расплзалась ровным слоем по храмовому двору, вокруг лазурного озера с разлапистой ивой на крошечном острове в центре. Небо наполнилось звериной песнью, и тела качались в такт. В общем трансе каждый впитывал энергию нового дня, и не было здесь отдельной личности, но не было и безликой массы. Потом, если ночью какой-то лай отошел к Творцу, старейшина Ушвара разводила костер — и тело умершего обращалось в прах, чтобы в будущем стать тушью для историков. И вся толпа держала единую тихую ноту, пока ее не разрывал писк новорожденного, которого из храма выносила уставшая после родов мать. Тогда в небо улетал радостный вой — и отдавался эхом между скал до самой ночи. Одна смерть — одна жизнь.

Так проходил идеальный ритуал, но я уже давно забыл каково это — раствориться вместе со всеми в благодати Творца. Голова гудела от недосыпа, в глазах как будто скрипел песок. Три получасовых перерыва

на сон — издевка над организмом, которая помогала лишь оставаться в сознании.

Я раскачивался взад-вперед, подвывая единому голосу толпы, но разумом оставался дома, перед лоскутами племени Ун, увязшего в конфликте с племенем Ирри. Нити их судеб уже много лет шли вместе, переплетаясь, но то и дело одна из них выбивалась, за нее цеплялись соседние, и там, где недавно царил порядок, завязывался тугой узел. И как только я распутывал один, тут же возникал новый, в стройную мелодию вклинивался лишний звук — и композиция рассыпалась.

Виновник фальши сидел на другом берегу озера, мне оставалось только дожидаться конца ритуала.

После того как радостный вой растворился в воздухе, мы выстроились за едой разношерстной вереницей. Старейшина Ушвара разливала похлебку из большого чана. Обычно приветливая, сейчас она смотрела в пустоту перед собой, гуляла разумом по неведомым просторам, оставив тело двигаться само по себе. Убранная в косы шерсть сверкала белизной. Творец создал старейшину идеальной, непокорной времени, и поставил следить за единым полотном истории.

Безмолвно получив свою порцию пшенично-мясной похлебки, я пробежался взглядом по разноцветным холкам лаев, пока не нашел нужную. Золотой потрепанный обшкур, ленивое, полуопущенное левое ухо и рыжая шерсть, как всегда засаленная. Я уже отсюда чувствовал запах псины.

— Острый!

Его дернуло, как от укуса пчелы.

— Лапár. — Он поприветствовал меня с деланной улыбкой, чрезмерно обнажив клыки.

Мы обнялись и потерлись носами для приличия. От резкого амбре у меня в голове немного прояснилось.

В Острыке сочетались две крайности: прекрасное чутье истории и полное пренебрежение уходом за собой.

— Повара сегодня превзошли себя, да? — Он вертел в лапах миску, стараясь вылизать ее начисто.

Здесь я вынужден был с ним согласиться. Похлебка удалась, мясо распадалось на волокна.

— Ну, хорошей истории! — бросил он и попытался ретироваться.

— Не так быстро. — Я схватил его за рукав.

Острый цокнул от досады.

— Да допишу я, допишу! Сегодня же.

Я прищурился.

— Что значит «допишу»?

Острый осекся.

— Так вы не за этим?

— Подожди... Значит, я ночи не сплю, а ты прохлаждаешься?

— Ну, знаете ли! — Он выдвинул нижнюю челюсть от возмущения. — Вы тащитесь как черепаха, тормозите меня и еще возмущаетесь, что я не ползу рядом. Остальные уже скоро перевалят через...





— Ладно-ладно, не говори ерунды. — Я замахал лапами. — Так ты не знаешь, что Имрука заколол твой воин?

Острык выпрямился.

— Как... заколол?

— Случайно, конечно. Взял копьё потяжелее и-и-и...

Я замахнулся, изображая бросок, и чуть не упал, потому что ноги подкосились.

— Все хорошо? — спросил Острык, подхватив меня под локоть.

— Да... Просто устал. Идем поглядим на твоё творчество.

Я выпрямился и подтолкнул его к дверям храма Ишу, который слышал первый твёк каждого из лаев, слышал голос Творца и чувствовал нежность его прикосновений. Красная черепица изогнутых крыш и белая глина стен словно только что вышли из-под руки Создателя.

Широкий коридор внутри тянулся до центрального зала с деревянными колоннами, где расходился на четыре стороны. Слева и справа, в своих кабинетах за бумажными перегородками, трудились десятки историков. Большинство проводили в стенах храма всю свою жизнь. Постоянно сновали из одного кабинета в другой, чтобы свериться с коллегами. Шуршали раздвижные двери, обшкурки развевались на бегу. Я сам долгое время жил так, но не смог смириться с переходом к укрупнению истории. «Мы не успеваем! — жаловались все вокруг. — Людей становится слишком много». И в то время, как моя рабочая стена разрасталась вместе с племенем Ун, у других она выродилась до одного жалкого свитка, уместившего в себе историю целого рода. И Острык не стал исключением.

За дверью в алых хризантемах царил привычный для последнего хаос. Матрас с одеялом были свернуты ракушкой, на полу валялся рабочий обшкур, весь испачканный тушью, тут же лежали кисти, скатившиеся со стола.

— Бардак снаружи...

— ...бардак внутри, — закончил Острык за меня.

Я замер, изучая невозмутимую морду, и ядовито улыбнулся:

— Показывай.

На рабочей стене висел лоскут с историей племени Ирри. Я невольно залюбовался почерком — полотно покрывали аккуратные строки изящных графем. Острык был талантливым историком, я отметил это еще в самом начале наших занятий, когда он, взъерошенный, постучался ко мне, зажимая под мышкой свой первый лоскут. Тем обиднее было, что потом он тоже выбрал путь укрупнения.

На последних строчках Анингак излагал вождю Раге предложение отца о совместной охоте, дабы скрепить дружбу в честном соревновании. Еще не был начертан смертельный полет копья, но, даже несмотря на это, Острык не мог изменить написанную мной историю.

Я повернул рукоять, отматывая события назад.

— Что ищете? — Он стал лениво прибираться.

— Пытаюсь найти момент, когда ты решил укусить меня за хвост.

Острык фыркнул:

— Всегда впереди, да?

Я отмахнулся, скривив морду.

Неопытный взгляд не заметил бы ошибку, потому что это не было ошибкой в привычном смысле, как, например, кривой знак, который мог превратить человека в безумца, поселив в его голове противоречия. Нет, у Острыка с каллиграфией был крепкий союз. А вот если взглянуть поглубже, в самую суть...

— Ты послал неопытного воина.

— На самом деле еще не послал. И не будь вы таким торопливым...

— Так я спешу или тащусь как черепаха?

— Всего понемногу, — увильнул он. — Перед важным событием вы даже не стали со мной советоваться.

— И как бы ты предугадал промах?

Острык не нашелся, что ответить.

— Здесь. — Я коснулся когтем строчки, где описывалось детство воина без имени. — Он не отлипал от матери до первой охоты. Потом тенью следовал за отцом. Ни личности, ни характера. У всех в племени есть хоть несколько знаков, а здесь — пустота, он вечно как чей-то придаток. Испугался бизона, рука дрогнула — и копьё пробило Имруку грудь.

— Все когда-нибудь промахиваются.

— А распиши ты каждого отдельно, такого бы не случилось! Ведь человеку для уверенности достаточно знать, кто он и для чего создан. Вот как мы с тобой.

Острык закатил глаза.

— Почему я трачу ночь, чтобы выстроить гармоничное общество, а тебе хватает мига, чтобы поставить его на грань катастрофы?

— Потому что вы один такой гений.

Я дернул хвостом, оскалился, но оскал тут же перерос в глубокий зевок, и оттого весь мой гонор стал смешным.

— Мы выдадим дочь вождя Раги за Аningака, — сказал я. — Это должно исчерпать конфликт.

— А может, хватит, Лапар? — серьезно спросил Острык. И дальше произнес фразу столь странную, что я не уловил ее сути. Слова выскользнули из головы, не оставив следа.

Я сделал вид, что не услышал, и продолжил:

— Да, это должно помочь.

Дверь с шуршанием отъехала в сторону. На пороге стояла Шана, дочь старейшины, я даже не знал, какая по счету. Широкоплечая, с короткой мощной челюстью и узкими глазами, она гораздо больше походила на представительницу человеческого племени, чем на мать. Ее шерсть, когда-то сиявшая белизной, за долгие годы занятий скорняжным делом выкрасилась в грязный серо-бурый цвет.

Я удивился.

— Шана? Ты ведь должна быть в пещере!

— Должна... — с неприязнью признала она, морщась, будто ее рот наполнился желчью. — Мне надо поговорить с Острыком. Наедине.





— Хорошо, — растерялся я. — Мы все равно закончили, да?

Но Острык уже не слушал. Завороженно глядел на Шану, растянув рот в блаженной улыбке.

— Лучше бы ты в тексты так смотрел! — раздраженно бросил я и вышел в коридор, где меня уже ждали.

Около десяти историков собрались полукругом и переминались от нетерпения.

— Лапар...

— Я занят и сильно устал. — Я попытался протиснуться к выходу. — Давайте в другой раз.

— Нет, серый, сейчас. — Грузное тело черного Зубата преградило мне путь. — Хватит нас избегать, когда мы просим о помощи!

Я отошел под пристальным взором разноцветных глаз. Сердце тянуло домой, к истории уже ставшего родным человеческого племени, но долг приказывал остаться. Хоть на немного.

— Хорошо. В конце концов, Миротворец я или кто?

На сегодняшний день я был последним, кто следовал по архаичному пути. Бывали мгновения, когда в голову заползало вроде бы логичное сомнение: какой смысл в одном скрупулезно выписанном племени с яркими индивидуальностями, если остальное человечество живет как серая масса? А затем перед моими дверями появлялись просящие морды, и при виде их я вновь укреплялся в вере. Мой путь вкупе с природной прозорливостью помогал в каждом конфликте найти мирное решение, за что ко мне прикрепилось соответствующее прозвище.

Укрупнение неминуемо приводило к повальному узлованию, потому что нельзя уследить за ходом мысли каждого отдельного человека, когда ему уделяется всего пара строк, когда его жизненный путь становится не более чем вспышкой, вырванным фрагментом.

История превратилась в полотно рутины, утратила всякое дыхание творческой жизни. Передо мной один за другим мелькали результаты такого подхода. Слева свиток одного историка, справа — другого, у каждого свое племя. Строчки графем проносились бесконечным потоком, и везде я видел искажения. Некоторые были явными — неаккуратные символы, но большая часть, как обычно, пряталась в смыслах и поступках. Один неверный выбор — и все дальнейшее развитие истории вело к кровопролитию.

Я разбирал ошибки, пока графемы передо мной не стали растекаться бесформенными кляксами, сливаясь в единое месиво.

— Хватит. — Я отошел от лоскутов. Перед глазами все плыло. — Внимательнее работайте, ведь не овец пасете! Мы созданы, чтобы направлять людей в будущее, а не провожать к праотцам. Видите, что человек оступился, — так скажите ему об этом! Пусть птицы нашепчут, пусть промозглый ветер выгонит из пещеры или змея укусит так, чтобы руки отнялись и он даже не думал лезть ими куда не следует.

Историки покивали и разошлись по своим кабинетам. Прошелестели раздвижные двери. Я остался один на один с устрашающей мыслью: «Они слишком далеко ушли».

Творец создал нашу общину в ином, отличном от текущего внизу, времени, но единое полотно человеческой истории должно ткаться ровно. Если я продолжу в том же темпе, то безнадежно отстану. Разрыв уже исчислялся месяцами, и, если он продолжит расти, старейшина Ушвара просто выкинет племя Ун из истории.

* * *

С этого момента день превратился в пустыню, по которой я брел, изнывая от жажды сна. Количество перерывов пришлось сократить до одного. Я не боялся смерти за столом, потому что чувствовал, что мое время еще не пришло. Когда-нибудь я упаду замертво и из моего праха сделают тушь для следующего поколения историков, но не сегодня и не завтра. Пока племя Ун нуждалось в твердой руке, я был обязан держаться.

Всевозможные графемы заменили мне мысли. Анингак привел в семью Енгу, дочь вождя Раги. Пришлось добавить еще один лоскут к распухающей куче. У охотника родилась двойня, и я провел целую ночь, описывая их детство. Давал поровну испытаний и радостей, чтобы личности ребят сформировались в гармонии жизни.

Каждое утро я поднимался к храму как в бреду, по качающимся мостам, через море тумана. Я забыл, что мир когда-то был спокойным и безмятежным. Теперь туман колыхался и разбивался о скалы с тихим «ш-ш-ш». Когда другие лаи обращались ко мне, я надолго замирал в ступоре, потому что вместо их слов слышал разговоры людей племени Ун. Нам даровали сны для вдохновения, но сейчас я будто сам очутился во сне, где было сложно отличить реальность от наваждения.

Я не замечал, что Ушвара перестала появляться на ритуалах, что в рядах историков возникли бреши, которые с каждым днем становились все больше. Будто исполинская ладонь поднималась из тумана и забира- ла лаев одного за другим. Я приходил на ритуал с воспаленными после бессонной ночи глазами и пытался дремать, но разноголосье толпы и мерные движения превращали дремотные образы в бред.

Вскоре вместе с туманом поплыли скалы. Потоки ветра нагоняли рваные белые тучи и надували огромные полотна, привязанные к деревянным столбам, торчащим на вершинах. Так в будущем люди будут бороздить морские просторы. На кораблях, под парусами. Я видел эту картину четче, чем своих братьев. Только не знал, сумею ли дожить до момента, когда смогу написать ее.

* * *

— Лапар, хватит! — Острык выплыл из тумана рыжим призраком, хлопнул меня лапой по морде.

Я долго смотрел на него, пытаясь сосредоточиться на том, что он говорит. В кои-то веки его шерсть пушилась и пахла чистотой.

— Что... хватит?





— Изводить себя! — Острык волновался. В глазах и надломленных бровях читалась печаль. — Я больше не могу видеть, как вы гробите свою жизнь ради... — Опять эти странные фразы. — Хватит! Пусть они ... друг друга, наконец.

— О чем ты говоришь?

— Не понимаете, да?! — Острык взял меня за плечи и встряхнул. Я бултыхнулся, как вода в сосуде. — Я ведь таким же был, пока Шана не открыла мне глаза. Идемте к ней!

— Некогда. Дел много, — сказал я и, сбросив с плеч его лапы, побрел домой.

— Да очнитесь уже! — неслось мне вслед. — Мы не ..., Лапар! Если не понимаете, то я помогу вам понять!

О чем он говорил? В переутомленной голове больше не осталось места для отвлеченных мыслей. Пятьдесят человек из племени Ун разложили там свой скарб и больше никого не пукали.

Вот если приклонить голову где-нибудь и вздремнуть хоть немного, тогда свободный уголок точно найдется. Сесть поудобнее вот на этот камешек под деревом, хвост подоткнуть под себя, верхние лапы сложить крестом. Поспать. Всего чуть-чуть...

Но я прошел мимо. Собственному сну предпочел чужой. Сквозь щелки полуприкрытых глаз, через комбинацию графем, выползающих из-под кисти, я следил, как Анингак наслаждается юной женой на разложенных шкурах возле потрескивающего костра. Проводит ладонью по упругой смуглой коже бедер Енги. Теперь они единое целое. Строчки на обоих свитках становятся неотличимы, они резонируют. Так рождается новая жизнь.

Но вот я начинаю очередную строку, и кисть перестает слушаться. Знак вихря и ножа взрезает тишину вечера! Откинув полог, в палатку врывается Сима, брат Енги. Лицо его перекошено злобой, в руке зажат зубастый каменный нож. С колотящимся сердцем я слежу, как моя лапа выводит историю. Ищу способ предотвратить бойню, но разум слишком устал и затуманен. Начинается драка. Я мечусь между свитками. Графемы скачут, потеряв строй, они кричат на меня болью и страхом, и я вторю им звериным воем. Один за другим вспыхивают шалаши, повсюду кровь и смерть. Свитки заканчиваются один за другим, и в какой-то момент я бросаю кисть на пол, потому что лапы трясутся и не могут продолжать...

И на вопросы «Как?» и «Почему?», пульсирующие у меня в голове, только один лай мог дать ответ.

* * *

— Показывай! — Я с силой откатил дверь в алых хризантемах и за шкуру поднял Острыка с постели. Увидев нелепую заспанную морду, зарычал и бросил его обратно.

Лоскут висел на прежнем месте. Я зажег свечи, вперил взгляд в свежие строчки и будто заново пережил недавний ужас. Рага с тяжелым

сердцем отдавал свою дочь Енгу в чужое племя, но он и не подозревал, какой пожар разгорался в душе Симы.

— Как ты это допустил?!

Острык проморгался, глотнул воды из кувшина.

— Доброй ночи, Лапар, — нарочито спокойно сказал он.

— Издеваешься?! — огрызнулся я. — Ты под корень истребил все мое племя!

— Разве под корень?

Я удивленно вскинул брови, потом проследил до конца записи. Анингак сумел одолеть Симу и сбежать вместе с Енгой. Я бросил кисть до того, как дошел до этого места.

— И ты доволен?!

— А что я мог сделать? Все предыдущие события вели к этому. Полотно сказало свое слово.

Я крутанул ручку, отматывая время вспять, пытаюсь усмотреть причину в нагромождении имен и событий. Проклятое укрупнение! На глаза попадались старые ошибки, допущенные Острыком. Каждая из них привела к смерти кого-то из Ун. Я с силой крутанул еще, перескочил далеко назад, когда наши племена еще не пересеклись. И здесь я будто увидел свой почерк. Стремление к миру и процветанию виднелось в каждой графеме. Я схватил из рядом стоящего архива старый лоскут, когда Острык еще отделял людей друг от друга, и не смог ни к чему придраться. Именно таким он мне и запомнился. Рыжим, наглым и исключительно талантливым.

Что же случилось теперь? Почему племя словно с цепи сорвалось?

Я вернулся к детству Енги. Семья ее любила, брат любил особенно. «Вот оно», — капнула мысль и подсветила графему любви. Если стремишься к укрупнению, то незачем выделять отдельно братскую любовь, если только...

— Это ведь не ошибки, да? — шепнул я.

Еле заметный штрих, замыкающий любовь на себя, превратил ее в плотскую страсть. Вот почему Енга была так счастлива сбежать из родного племени.

— Ты все сделал нарочно!

— Вся их история — одна большая ошибка, — сказал Острык у меня за спиной.

В следующий миг что-то твердое опустилось мне на затылок, и мир залила долгожданная темнота забытья.

* * *

Первым я почувствовал тяжелый дубовый запах. Он защекотал слизистую, заставил поморщиться. Звук моего стона разлетелся эхом. Все четыре лапы были связаны, верхние — за спиной, отчего их нецеломо ломило.

Я с трудом разлепил веки навстречу закатному свету, бившему через щербатый свод входа в пещеру. Вокруг торчали глиняные ванны





разных размеров, полные танинных отваров. Кусочки дубовой коры плавали на поверхности, скрывая под собой длинные лоскуты кожи Творца, набравшие крепость, чтобы через сотни дней стать свитками для новых историй. Меня притащили к скорнякам.

— Ну как, выспался? — донеслось из-за спины.

Изгибаясь гусеницей, я кое-как уселся на колени. Стянутые веревками запястья саднили. На табурете возле стола и деревянных козел сидела Шана. В лапах пиала с дымящимся травяным отваром.

— Хлебни, станет полегче.

Она протянула мне чай и помогла сделать глоток. Обжигающая горечь растеклась внутри.

— Ты прости Острыка. У него в голове сейчас буря эмоций, сложно контролировать силу.

При звуке этого имени в памяти всплыли кадры расправы над племенем Ун.

— Где он?! — Я скривился: голова будто треснула.

— Не волнуйся так. Подожди, пока чай подействует.

— Он вырезал весь мой народ, Шана! — В горле встал ком. — Целенаправленно.

На ее морде проступила досада.

— Лапар, *мы* — твой народ. Не они.

— Ты понимаешь, о чем я. Они же наши дети!

— Ваши! — припечатала она. — У меня нет детей. И не будет.

Творец создал Ушвару беременной. Первые шесть лайчат дали начало общине, но все последующие дети старейшины рождались бесплодными. И, чтобы не заселять и без того крохотные скалы бесполезными лаями, Ушвара приняла обет рожать ребенка только после смерти предыдущего.

— Когда создаешь что-то, — уши Шаны поникли, — так легко потеряться в собственной благости и не заметить проскочившей жестокости, да?

— О чем ты? Он дал нам жизнь, дал цель. Поделился своей силой созидания...

— С вами, историками. — Она встала с табурета и, взяв лежавший у стены шест, достала им из ближайшей ванны длинный кусок кожи. А потом, когда бурая вода стекла, кинула его на козлы. — Я не занимаюсь высоким трудом, не управляю судьбами. Изо дня в день я спускаюсь со скал, срезаю кожу с Его тела. Потом возвращаюсь сюда и вымачиваю лоскуты в грязной воде, скоблю, чтобы вам было *на чем* писать. Другие мастера мешают прах усопших со смолой и сажей, делают тушь, чтобы вам было *чем* писать. Мы живем и умираем ради этого. Портные, пастухи, повара — вся община гнет спины ради вас. Творец лишил нас какого-либо выбора. Да и вас тоже! Разве можешь ты хоть на секунду подумать о себе, а не об этих проклятых обезьянах? Ты изводишь себя, и нет этому конца. Мы в огромной клетке, в которой сами себя заперли и из которой, кажется, нет выхода. Но все можно исправить, Лапар. Мы не рабы!

Она подхватила со стола большой нож и с силой вогнала его в козлы. Лоскут развалился надвое.

Наконец, я разобрал слова, которые пытался донести до меня Острык. Они коснулись разума, растеклись тлетворной плесенью по устоявшейся картине мира.

Шана продолжала:

— Если показать человеку наш храм, он примет его за скалу, потому что не видел ничего подобного. Со смыслами так же, теперь ты должен наконец понять. — Она присела передо мной на корточки. — *У нас нет свободы.* Помню, осознание пришло так внезапно, что я полдня простояла оглушенная. Смотрела на свое отражение в ванне — и не узнавала. Мне стало страшно, захотелось вырвать эту мысль из головы, вернуться к неведению, но разве можно вырвать правду? Тогда я показала ее Острыку и всем остальным, и никто не смог отвернуться. Кроме матери. — Шана поморщилась. — Но для нее вообще нет никого важнее Творца. И вот теперь я показала правду тебе. И где-то глубоко внутри ты с ней согласен.

Без лишних слов я дернулся и попытался вцепиться зубами Шане в глотку. Шана замешкалась, но успела отскочить. Я повалился на бок, заерзал, желая высвободить лапы. От злости и бессилия из пасти вырвался вой, и я не стал его глушить. Выл, рычал и царапал когтями камень, сопротивляясь всему, что сказала Шана, эта надменная дрянь. Вранье, пустая болтовня! В ней говорила зависть, для которой не было причины. Бессчетное число жизней лаи следовали воле Творца и не думали что-то менять...

— И даже если отбросить слова о рабстве, что остается в итоге? — спросила Шана. — Всю историю людей вы направляли их, помогали не оступиться, высиживали, как цыплят. Если честно, это не звучит для меня как что-то достойное. И кто знает, может, Творец ошибся, может, он стер бы людей с лица земли, если бы увидел, что натворил! Может, он так же ошибся, создав нас. Вот только я не собираюсь платить за его ошибку вечным заключением — и никому из вас не позволю! — Она выдернула нож из козел. — Как думаешь, люди обрадуются, если узнают, что каждое их движение прописано заранее? Мне кажется, нет. Поэтому я и для них стараюсь. Ты скоро это поймешь.

Шана ушла, цокая когтями о камни, и мои мысли тут же замесались в хаосе, сбивая одна другую. В привычном их строе возникли бреши, которые нечем было залатать. «Не верю» — разве это защита? Я утопал в болоте, и коряга каждой вроде бы спасительной мысли тут же погружалась в трясину, стоило за нее ухватиться. Появившийся выбор связывал душу крепче, чем веревки на моих лапах, сильнее, чем незримая цепь, которую Творец набросил нам на шею. Предложенная свобода пугала своей безграничностью, как огромная темная комната, в которой вдруг зажегся огонек, подсветивший мое «я», дрожащее от страха и неопределенности. Раньше мы жили словно с закрытыми глазами, чувствуя друг друга сердцем, как единое целое. Мы опирались друг на друга. А что будет теперь?





Если появился иной взгляд на мир, ничто не мешает появиться еще одному, и еще... На кого теперь опираться, если опора в любой момент может дрогнуть?

«Хватит», — раздался мягкий голос, и на голову мне опустилась ладонь, тепло от которой вмиг разогнало тревоги.

Я поднял взгляд, но яркий свет, исходящий от силуэта, так похожего на человеческий, заставил зажмуриться. Как от солнца, графему которого я не раз выводил в свитках, но которое ни разу не видел своими глазами. Каково это — чувствовать его тепло? Неужели и правда так приятно?

«Если чувствуешь, что все валится из лап, просто найди еще одну пару», — сказал Творец, и наваждение рассеялось, унося с собой сомнения и страх.

Лишней парой лап могла стать только старейшина.

Я согнулся пополам и, привстав в таком положении, вытряхнул из нагрудного кармана серповидный ножичек. Извернувшись, подцепил его связанными за спиной лапами и освободился от пут. Выбрался из пещеры.

В воздухе витало чувство неладного. Туман колыхался, и не в моем полусонном бреду, а на самом деле. Мир, пребывавший в оцепенении с самого своего сотворения, пришел в движение. И несмотря на это, я чувствовал себя отлично. Впервые за долгие бессонные месяцы тело пружинило и наполнилось жизнью. Я даже позволил себе забыть о приличиях и встал на четыре лапы, чтобы почувствовать, как работает каждый мускул, услышать цокот своих когтей по мосту.

— Лапар? — окликнули меня у ворот храма.

Сквозь текучую пелену показался желтоглазый Зубат. Одна лапа лежала на пузе, вторая сжимала шест. Никакого обшкура, только родная черная как смоль шерсть.

— Зубат? — Я насторожился, встал на задние лапы. — Ты чего тут?

— Да вот, сторожу Ушвару.

— А как же история? — осторожно спросил я.

Зубат прищурился, а потом расплылся в улыбке:

— Проверя-а-ешь! По морде вижу, что от Шаны идешь. Хватит с нас истории, да?

Я нервно усмехнулся и кивнул:

— Да уж. Кто бы мог подумать...

— И не говори. — Он сжал мне плечо. — Я когда в первый раз услышал, думал, что она перепила своего отвара. А потом как-то само собой все сложилось. Пытался остальных расспросить, как так случилось, что за всю жизнь столь простая мысль нам даже в голову не пришла. Никто не знает. А ты что думаешь?

Я обвел взглядом окрестности.

— Думаю, что о прошлом уже поздно беспокоиться.

Зубат нахмурился и почесал затылок.

— Ладно, не забивай голову, — успокоил его я. — Меня и правда Шана послала. Думает, что я смогу уговорить мать.

— Здравая мысль. Ты всегда был у старейшины в любимчиках.

Не думал я, что когда-нибудь увижу этот двор опустевшим. Там, где раньше звучала песня мира, теперь сгустилось молчание, от которого озеро словно обмелело, а ива — увяла, опустив ветви к самой воде. Душа Творца покинула храм, и, словно в доказательство этому, на моих глазах кусочек кровельной черепицы откололся и с треском разбился о камень.

Ушвара работала у себя в кабинете, окруженная дымом благовоний, который не мог скрыть блеска ее белоснежной шерсти. Склонившись над письменным столом, как самые первые историки, она выводила все новые и новые строчки графем на лоскуте.

— Старейшина...

Она резко обернулась, взглянула на меня воспаленными глазами. Будто бы вчерашнее мое отражение.

— А, Лапар... — сказала она куда-то в сторону. — Ты не вовремя. — И вернулась к лоскуту.

Я подошел, тронул ее за плечо.

— Ваша дочь... — Слова теснились на языке.

— С ней все хорошо.

Ушвара потянулась обмакнуть кисть, но обнаружила пустоту. Тут же развязала бурую тряпицу на левом предплечье и наполнила тушечницу кровью из свежего пореза. Так она писала всю историю нашего народа — племени лаев.

Кисть вывела символ огня. Темно-алый, как и все графемы до этого.

— Зачем вы...

— Чего ты хочешь, Лапар? — Старейшина снова обмакнула кисть и продолжила работу.

— Да как же... Вы не видели, что в общине происходит? — Я махнул в сторону двери. — Ваша дочь всех с ума свела! И меня пыталась...

— ...но не смогла, — спокойно закончила Ушвара.

— Не смогла, — тупо повторил я. — Вы знаете об этом?

Ушвара улыбнулась:

— Ты разве не поэтому сюда пришел? Уверенный, что я все знаю.

Кисть скользила, оставляя кровавые знаки. Я пробежался взглядом по свитку. «Мы не рабы», — говорила Шана в переплетении символов. Весь наш разговор был запечатлен на ткани истории. Я обошел стол и подхватил начало лоскута, проследил путь от рождения Шаны до бесконечных дней рутины. Каждая деталь, каждая черта характера велика к тому, чтобы однажды она разорвала запреты, наложенные Творцом.

— Но зачем? — растерянно спросил я.

Ушвара отложила кисть и, откинувшись на спинку кресла, устремила взгляд в окно, на затянутый сумерками двор.

— Просто пришло время, Лапар. Ты был создан, чтобы вести людей в будущее, а я — чтобы вовремя все остановить. Так написано Создателем в моей истории, которая, кстати, всегда хранилась вон там. — Ушвара ткнула пальцем в непримечательный шкафчик у стены. — Людей стало





слишком много. Ты загоняешь себя до беспамьятства, а остальные упростили свой труд до примитивной формы, чтобы успевать и не путаться в чужих жизнях. В обоих случаях мы приносим больше вреда, чем пользы. А раз мы не можем выполнять свой долг, то сам понимаешь... Шана может верить, что у нас есть будущее, но все это не больше, чем моя фантазия, написанная на свитке.

— Это жестоко! — возмутился я. — Почему вы сами не раскрыли правду?

— Творец создал меня историком, а не бунтовщиком. Для этой цели в моей судьбе прописано рождение Шаны.

Дым благовоний забивал ноздри, и казалось, что его тянет от первых пожаров, которые старейшина вывела кистью.

— Но почему остальные так легко пошли за ней?

— Легко? Нет, что ты! Правда перемолола каждого. Захватила умы, как болезнь, против которой у них не было защиты.

— Но ведь я устоял.

— Да, устоял. Потому что правду может заглушить только любовь. Она подняла на меня взгляд, полный теплой тоски.

— Я бы все отдала, чтобы почувствовать ее так, как чувствуешь ты. Но меня вылепили пальцы Творца, и мои лапы лишь выполняют его волю — моей собственной кровью рушат прекрасный и безмятежный мир. Интересно, появление твоей самоотверженной любви входило в его планы?

— Чуть! — отмахнулся я.

— Отмахивайся не отмахивайся, в любом случае уже ничего не изменить. Люди в нас больше не нуждаются, пора их отпустить. А теперь иди, у меня еще много работы.

* * *

Сначала исчез туман. Впервые со дня сотворения. Порывы ветра разорвали его о скалы и открыли взору чистое ночное небо, полное жемчужных звезд, от вида которых мне на глаза невольно навернулись слезы. И если бы не окрик Зубата, я так и врос бы в землю, неспособный отвести взгляд.

Зубат что-то спрашивал, но я не удосужился ответить, потому что на горизонте все сильнее раскрывались бутоны пожара. Река из факелов текла от скалы к скале, затягивая в свой поток все новые и новые дома, пока не добралась до моего.

Я промчался мимо Острыка, замороженно глядящего, как огонь голодным львом обгладывает соломенную крышу, и нырнул в распахнутую дверь.

У меня было всего несколько минут — и как можно решить, что достойно спасения, а что нет? На рабочей стене висели лоскуты с незаконченной трагедией. Скручивать их? Но сотни свитков в шкафу архива тоже заслуживали остаться целыми, чтобы память о людях и их историях не угасла.



Я стянул обшкур, швырнул посреди комнаты. Один за другим на него полетели свитки. От касаний к ним в памяти всплывали записанные мной строки — о мудрых вождях, о храбрых охотниках, об искателях пламени, о первооткрывателях... Я помнил каждую из этих историй.

Сверху раздался треск. Полыхающая балка, рухнув, похоронила под собой собранную кучу. Я чудом успел отскочить, но лучше бы там и сгорел, потому что смотреть, как пламя пожирает плоды всей моей жизни, оказалось хуже смерти. Дым выедал глаза, и невозможно было определить, отчего текут слезы.

Балка отрезала меня от архива, и я бросился к рабочей стене. Всем весом обрушился на штыри, вырывая их из стен. Лоскуты упали и распластались на полу, некоторые сразу угодили в пламя.

Я подхватил два первых попавшихся свитка и выпрыгнул в окно. Задние лапы тут же подкосились. Я рухнул на четвереньки, отхаркивая из легких остатки дыма. Все осталось позади. Кисти расплавились, свитки рассыпались пеплом, даже проклятый бамбуковый будильник сгинул. А я глотал чистый воздух, и он казался мне слаще меда.

— И стоило оно того? — угрюмо спросил Острык.

Как и Зубат, он был без обшкура. Рыжее шерстяное пламя.

Злость вскипела в венах, и я бросился на Острыка, издав звериный рык. Вцепился зубами ему в шею и стиснул челюсти. До крови, до его истощенного воя. Он колотил меня лапой по голове, вцепился когтями в бок, но я не чувствовал. Тогда Острык повалился вместе со мной вперед, и от сильного удара о землю я ослабил хватку и разжал пасть. Он перекатился и, вскочив на четыре лапы, приготовился к броску.

Я последовал его примеру, изогнулся в боевой стойке. Шерсть у обоих стояла дыбом. Мы скалились, как дикие волки, уродливые и тупые, с капающей слюной и кровью на клыках.

Мой дом корчился в огне, но вместо него я видел костры шалашей, вместо своего тяжелого дыхания слышал умоляющие стоны.

Острык прыгнул. Не когти — а бритвы, не пасть — а смерть! Я поднырнул под его вытянутые лапы и спиной подкинул его в воздух. Он попытался извернуться, но повалился на бок и тут же оказался прижат к земле моим весом. Я вцепился лапами ему в шею и сдавил гортань, как делали воины Ирри, когда хватали убегающих женщин. Не слышал его хрипа, не обращал внимания на конвульсии. Мир застила красная пелена.

Так могло бы случиться первое убийство в общине. Но сильная лапа схватила меня за шиворот и откинула в сторону.

— Сдурел?! — вскричала Шана.

Я прокатился кубарем, пока не ткнулся спиной в забор. Снова вскочил, готовый рвать зубами нового врага, но вид стаи за Острыком и Шаной заставил меня замереть. Испуганный взгляд на каждой второй морде, кто-то даже отвернулся.

Я осмотрел себя. Вырванные клоки шерсти, порезы... Кто этот лай?

— Я так и знал, что это бесполезно, — прохрипел Острык, поднявшись с помощью Шаны.



— Он чуть не убил тебя!

— И убил бы. Потому что обезьяны ему важнее. — Острыйк потер шею. Я хотел крикнуть, что это вранье, но осекся. — Знаешь, Лапар, ты больше подходишь на роль ребенка Ушвары, чем ее собственная дочь.

Я отвел взгляд. На вершине Материнской скалы яркой розой польхал храм Ишу. Как так вышло, что это они целиком сожгли общину, а стыд съедал меня — единственного, кто пытался держаться нашей миссии?

Я подобрал спасенные свитки, скрутил. Один оказался чуть подпален.

— Разве вам было плохо? — тихо спросил я, обводя взглядом пеструю стаю, которую когда-то считал семьей. — Разве вы страдали? Каждое утро просыпаться с целью, каждый вечер засыпать с чувством выполненного долга. На душе мир и покой. Любой человек отдал бы что угодно за такую жизнь.

Шана тепло улыбнулась, как мать улыбается глупости несмышленного ребенка.

— Конечно, отдал бы. Он ведь никогда не знал свободы, поэтому какая разница на какой цепи сидеть? А теперь дай мне свитки.

— Зачем? — удивился я. — Ведь вы ничего уже не измените в жизни людей.

— Мы — нет. А вот ты можешь. Ты ведь ни за что не бросишь их.

Я представил Анингака, одиноко бредущего в туманной пустоте, лишённого путеводной звезды, и ком встал в горле от его растерянной походки. Как слепой, он тыкался во все стороны, и некому было его спасти. Если бы только оказаться там, рядом с ним...

«Мы — нет. А вот ты можешь».

— Стой! — крикнула Шана, но я уже несся на всех четырех лапах, зажав свитки в зубах.

На скалах не осталось ни одного безопасного клочка, и потому мой путь лежал дальше, ниже, глубже — куда я ни за что бы не ступил, будь все по-прежнему. Но оковы рассыпались, мысль сама выбирала новое русло, и мне оставалось только следовать за ней и не сопротивляться.

Через мост, к Материнской скале, оттуда мимо ошарашенных лаев до Пастушьей скалы. Бизоны поворачивали головы мне вслед, тревожно храпели лошади, чувствуя близкую опасность. Удивительно, я так легко вписывал их в истории, но ни разу не чувствовал нужды прийти сюда, чтобы хоть раз провести лапой по гладкому меху, заглянуть в их умные глаза. Весь мир до этой ночи будто бы существовал только на лоскутах.

Я остановился у обрыва, где на вбитых кольях держалась веревочная лестница, по которой изо дня в день спускались скорняки, чтобы где-то там, внизу, содрать с тела Творца лоскуты кожи. Возшедшая луна осветила бескрайнюю серую равнину, до этого скрытую туманом.

Я нащупал задней лапой деревянную ступеньку и начал долгий спуск. Ветер трепал шерсть, норовил сбросить меня в пропасть. Где-то наверху зазвучали голоса, уже еле различимые, появились огоньки факелов. Тогда я стал отвязывать лестницу от вбитых в камень штырей.

Свободную часть тут же затрепало ветром. Кто-то попытался последовать за мной, но с криком сорвался вниз...

Все должно было быть по-другому.

Последний штырь в самом низу скалы выскочил из камня, и меня швырнуло ветром в сторону. Из глотки вырвался стон, но я не смел разжать зубы. Вцепился в веревку, до крови проткнув когтями лапы. Тело словно закаменело от ужаса. Меня мотало из стороны в сторону, и все, что я мог, — держаться, дожидаясь момента, когда порывы улягутся. Момента, который никогда не наступит.

Я попытался унять дрожь, спустился на ступеньку ниже, и тут до меня донесся голос Шаны, подхваченный ветром:

— Руби!

По веревке прошла дрожь, и опора ушла из-под ног.

* * *

Никогда бы не подумал, что в теле есть столько участков, способных болеть. Стоило шевельнуться, как в голове взорвался снап искр, а грудь сковало приступом кровавого кашля, выворачивающего легкие наизнанку.

Свитки лежали совсем рядом, в небольшом углублении, освещенные мертвенно-бледной луной. Через боль и озноб я подполз к ним, впиваясь когтями в странную упругую поверхность, которую сверху принял за землю. Гладкая, она вся была усеяна небольшими лунками не больше горошины в диаметре. Углубление оказалось бороздкой — ровной, прямоугольной, аккуратно вырезанной острым ножом.

Я развернул первый свиток, подпаленный, и тут же стиснул зубы от досады. Эта история была окончена. Девушка Сира, родившая тройню, потерявшая мужа во время перехода реки, пала от клинка воина из племени Ирри.

Низкий утробный гул словно сотряс само мироздание, скалы застонали над головой, и от этого звука моя шерсть встала дыбом.

Я мигом развернул второй свиток, где меня ждала удача. На последних строчках Анингак схватился с Симой. Острык показал, что исход этой битвы окажется в пользу первого.

Кисти и тушь исчезли вместе с моим домом, и пришлось вспомнить, что историк не определяется одними лишь атрибутами. Я обломал коготь на указательном пальце и по примеру старейшины воткнул его в левое предплечье. Морщился, стонал, но все равно рвал кожу. Шерсть тут же намочила от выступившей крови. Я обмакнул палец и приступил. Размер графем не важен, важна их форма. Суть. И суть была такова, что Анингак в одночасье лишился своего племени. Рядом с ним осталась только его любимая Енга. Страх помог им сбежать, но куда идти двум никому не нужным людям, оставшимся в ночной степи? Без теплой одежды, еды и воды, с одним каменным ножом. Их судьба — потеряться и замерзнуть насмерть. При любых других обстоятельствах я воплотил бы ее на лоскуте. Умер бы внутри, но не посмел бы спорить с единым полотном.





«Мы — нет. А вот ты можешь», — эхом отозвались в памяти слова Шаны.

Но я боялся. Продолжал историю, следил за истощенными телами Анингака и Енги, пока лоскут не кончился. Коря себя за слабость, я смотрел на оборвавшуюся строчку и понимал, что продолжать больше негде.

Огляделся в смятении загнанного. Во все четыре стороны растекалась бесконечная равнина. Где же Творец? Скорняки не могли уходить далеко, иначе потерялись бы в непроглядном тумане...

Осознание пришло внезапно. То тут, то там на глаза попадались борозды, подобные той, в которой лежали свитки. Аккуратные, шириной в локоть, а длиной в несколько ростов. Чуть шире, чем лоскуты, но под размер заготовки — в самый раз. Я провел пальцами по коже Творца. Холодной и безжизненной. И если бы мое тело не ломало от боли, возможно, почувствовал бы трепет.

Я намочил палец кровью и вывел в нижнем правом углу символ переноса, как если бы собирался продолжить историю на новом лоскуте. Затем повторил этот символ на коже Творца возле колен. Кровь впиталась, потускнела.

Я не знал, сработает ли моя задумка, как не знал, хорошую ли службу сослужил Творцу, но мне было ясно: даже если из-под моей кисти не выйдет больше ни строчки, я не смогу оставить человека одного ни в коем случае. Я буду идти с ним бок о бок, потому что его история — это и моя история тоже.

Последний символ укоренился на теле Творца, и небо наполнилось грохотом. Скалы треснули, обрушились вниз, и, когда я готовился принять судьбу, звезды вдруг очутились так близко, что, казалось, я мог лизнуть их. Они заполнили все видимое пространство, превратив ночное небо в ослепительное полотно, и я позволил себе раствориться в их свете.

* * *

...Два солнца взошло с тех пор, как мы в последний раз ели. Енгу лихорадило, и я боялся, что она не вынесет еще один переход. Слова застревали в пересошем горле, от жажды мутило рассудок, но путь к ручью был отрезан воинами Ирри. В последний раз я еле унес ноги, нырнув в воду, и при этом потерял бурдюк из желудка яка.

Кто бы мог подумать, что в людях может быть столько черной злобы? Я понимал, что закон мира прост — сильный поедает слабого, и все же мне казалось неестественным то, что они сотворили. Дождались ночи и устроили бойню, зная, что в честном бою у них нет ни единого шанса против воинов племени Ун...

Сил горевать уже не осталось. Я даже нож с трудом держал. Если на пути встретится большезубый, исход схватки будет однозначным.

Енга простонала в горячке, и от этого звука стало страшно. Я не знал, смогу ли вынести ее смерть. О ребенке старался даже не думать, хотя чувствовал, что новая жизнь уже завязалась у Енги в животе и если

позволить любимой уйти, то не будет мне прощения. Праотцы закроют для меня дорогу в верхний мир.

— Во... ды... — прохрипела Енга, и я сорвался с места, готовый сдаться на милость Ирри, лишь бы спасти ее.

Пусть моя жизнь оборвется здесь, но оборвется не напрасно!

Я вышел из-за камня, укрывшего нас ночью от степного ветра, и замер. На расстоянии нескольких шагов сидел волк. В зубах у него болтался кожаный мешок, из которого сочилась вода, а у ног лежала тушка упитанного кролика. Волк казался меньше обычного, и шерсть у него была густого серого цвета, пушистая и опрятная, — вместо привычной пятнистой и свалявшейся.

Я осторожно приблизился, останавливаясь после каждого шага. Готовился пустить в ход нож, но волк не проявлял никакой враждебности. Подставлял морду солнечным лучам и будто бы улыбался. Спокойный и уверенный. А когда я оказался рядом, он кивнул, точно приглашая меня сесть напротив, и стоило только мне принять приглашение, как в мою сторону протянулась когтистая лапа и замерла в воздухе. Я пожал ее — и в этот самый миг понял, что больше никогда не пропаду.



Матвей МАЗУРЕНКО

СЛУЧАЙНОЕ ЧИСЛО

Р а с с к а з

Иван Николаевич Коржиков купил случайное число.

Если бы еще неделю назад кто-нибудь из знакомых сказал ему, что он совершит столь безрассудный поступок, он бы даже не рассмеялся в ответ, а просто не понял бы, о чем ему толкуют. Впрочем, и знакомых таких, которые могли бы спорить подобную чушь, у него не водилось.

Но вот миновала неделя с того беззаботного, как уже начинал понимать Иван Николаевич, времени, когда он еще не подозревал и слыхом не слыхивал о существовании случайных чисел, и теперь сидит он на работе, в отгороженном тонкой фанерной перегородкой менеджерского закутке в большом строительном магазине, перед ним на столе лежит запечатанный белый продолговатый конверт, в котором — новенькое, только что купленное случайное число. И он, Иван Николаевич Коржиков, старший менеджер смены отдела сантехники, никак не может собраться с духом, чтобы его, этот конверт, открыть.

К тридцати пяти годам, уже солидному возрасту, круг общения Ивана Николаевича сузился до самого необходимого. Были исключены бывшие одноклассники, раз в несколько месяцев приезжающие из райцентра поглазеть на городских, погулять в Центральном парке и поесть на фудкорте в «Ауре». Они всегда норовили остаться ночевать у Ивана Николаевича в его новенькой квартире в Родниках — под предлогом того, что им рано утром надо ехать на оптовку отовариваться. Оставшись же, громко включали телик, дули «трешками» пиво и ели привезенную с собой вонючую вяленую рыбу. Как только в детстве он сам ее ел? Сейчас, если в его выверенном рационе и появлялась рыба, то исключительно семейства лососевых и только в блюдах японской кухни, — вот, к примеру, недавно с коллегами, отмечая новоселье, взяли целый килограмм роллов. Немало, но оно того стоило! Палочками Коржиков овладел в совершенстве — специально на работе тренировался. А этим невежам как своих карасей есть — тоже палочками? Так там одни кости!

Кроме одноклассников, расстался Иван Николаевич и с некоторыми другими старыми знакомцами, которые стали не нужны. Например, с бывшим соседом по съемной хрущевке, грузным мужчиной, каждый день, даже зимой, лично мывшим свою красную «девятку» у подъезда и ставившим ее прямо под окнами первого этажа. С ним просто не стало больше общих интересов.

Пропал из виду, кажется переехал в соседний город Бердск, сосед по даче. Да и саму дачу в Огурцово, доставшуюся по наследству жене, — точнее, участок с крохотным щитовым домиком, где хранились тяпки и лопаты, — продали, когда собирали первоначальный взнос на ипотеку. «Зачем тратить на бензин, семена, а главное — убивать свое время в поездках на дачу? Дешевле покупать продукты в магазине, мы же современные люди!» — резонно и даже с некоторой заносчивостью заявил Иван Николаевич супруге.

На работу он ездил в общественном транспорте, несмотря на то что в семье имелся автомобиль. Ведь что будет, если все поедут на работу на машинах? Настанет полнейший бардак и неразбериха! А вот если бы все ездили, как он, общественным транспортом, так пробок бы не было совсем! Это была его принципиальная позиция, и он ею гордился.

Особенно нравилось ему пролетать в полупустом троллейбусе по выделенной полосе мимо стоящей в глухой пробке вереницы дорогих иномарок, глядя на них сверху через огромное окно с красивой занавеской и мысленно прощаясь с каждым авто, едва успев разглядеть его. Тихо и надежно выл электромотор силовой установки троллейбуса, и стоящие иномарки с бесполезными бензиновыми двигателями сливались в один уносящийся назад поток. А поездка в трамвае и вообще дарила Ивану Николаевичу неописуемое наслаждение. У трамвая была не просто выделенная полоса — у него была своя железная дорога! Садясь же в трамвай номер тринадцать, Коржиков испытывал особую гордость, так как этим опровергал заплесневелые приметы, в которые, как человек разумный и современный, естественно не верил.

Словом, вся жизнь Ивана Николаевича была выверена, размерена, и в этой цепочке закономерностей ничему случайному места — даже случайно — просто не находилось.

Так было до того дня, когда четырнадцатый трамвай, в котором ехал Иван Николаевич, не остановился на середине маршрута — ему преградили дорогу две столкнувшиеся на путях легковушки, водители которых ждали аварийных комиссаров.

Привычный ритм существования нарушился, и, словно в матрице, сбой произошел во всей дальнейшей судьбе Ивана Николаевича. Выходя из вагона, он увидел смятый бок вазовской «шестерки» и на заднем ее сиденье — пачку бумаг в мультифорах. «Не в мультифорах, а в файлах! Хватит этой провинциальности!» — мысленно поправил себя Коржиков и невольно подумал, что, будь он месте хозяина «шестерки», то сегодня мог бы и поверить в несчастливый номер даже этого трамвая.





Дойдя пешком до площади Калинина, Иван Николаевич стал в растерянности озираться, ища, на чем бы ему теперь добраться до работы и не опоздать. Поразмыслив, решил, что лучше всего воспользоваться маршруткой, хотя не ездил на них уже много лет — кажется, в последний раз его вез еще «рафик», — и встал в очередь.

Все вокруг показалось вдруг незнакомо, словно он очутился в другом городе. Вроде бы те же дома, те же названия улиц, но как бы под другим углом, и все смотрелось как-то иначе. Очередь из людей, ждавших маршрутку, тоже была странной. Извивалась она как обычно, и хвост ее, куда всё подходили и подходили люди, был обыкновенный, однако головы не наблюдалось. Очередь ни к чему не подводила, а обрывалась в грязное снежное месиво на краю проезжей части, словно змея с только что отрубленной головой. «Словно жизнь, которая обрывается, так и не постигнув своего смысла», — возникла в голове у Коржикова не очень приятная мысль.

Он пристроился в конце за двумя оживленно беседующими молодыми ребятами, явно студентами.

Недалеко от остановки выстроилась еще одна очередь. Она выглядела чуть более осмысленной, потому что вела к высокой узкой будке с козырьком. Каждый раз, проезжая мимо площади Калинина, Иван Николаевич замечал, что к этой будке и зимой и летом, и в дождь и в зной стоит «хвост» хотя бы из нескольких человек. И каждый раз задавался вопросом, что же там продают...

И теперь, повинувшись внезапному порыву, он пошагал к этой будке и, приблизившись, разобрал наконец надпись: «Лотерейные билеты». Ведомый каким-то непреодолимым, сладко-запретным желанием, он встал в очередь и начал с замиранием сердца продвигаться все ближе к окошечку.

— Какой посоветуете? — робко спросил он наконец в темноту окна.

Продавщица равнодушно пожала плечами. Иван Николаевич замылся, весь его жизненный опыт отчаянно протестовал против того, чтобы положиться на случайность. Позади него уже стояли несколько таких же, как он, безумцев, желающих испытать судьбу.

— Берите «Магию звезд», — посоветовала полная женщина в добротном пальто с меховым воротником и в меховой же шапке; черные глаза ее смотрели пронзительно, а в ушах качались массивные золотые серьги.

— Лучше «Три семерки», — вмешалась молодая девушка с пирсингом в носу. — Там максимальная сумма меньше, но зато чаще выигрыши. Я всегда такие беру!

Теряя последнюю волю к сопротивлению, Коржиков протянул деньги.

— А как понять, выиграл я или нет?

— Сотрете вот тут — и увидите.

Он стыдливо спрятал лотерейный билет во внутренний карман пиджака. Сил стирать уже не было.

Накатил страх — ведь если под краской окажется выигрыш, придется признаться себе в том, что всю жизнь вел себя неправильно, что

можно иногда полагаться на случайность, доверяться судьбе. В случае же проигрыша тем более станет стыдно за свою внезапную доверчивость и нужно будет до конца дней скрывать эту слабость от жены. А ведь именно он, Иван Николаевич, всегда одерживал верх в их спорах — насчет ипотеки, и новой стиральной машины, и остекления лоджии, и даже тещи.

Едва он вернулся в очередь на маршрутку, как к длинному змеиному телу прицепилась огромная голова — подрулила белая «газель» и начала быстро втягивать в себя оживившихся пассажиров. Коржиков ринулся вперед вместе со всеми. Оттолкнувшись ногой от поребрика, втянув голову в плечи, он нырнул в темное чрево автомобиля и плюхнулся на продавленное сиденье. Маршрутка тронулась.

Рядом с Иваном Николаевичем сидели двое — те самые пареньки из очереди. Они продолжали перебрасываться репликами, и он невольно прислушался.

— Не должны опоздать! — сказал один, глянув на часы. — А я уже думал, пропустим первую пару.

— Матанализ нельзя пропускать, потом самостоятельно не разберешься. Кроме того, второй парой практикум у того же препода!

— А ты уже взял тему реферата? Мне попался метод Монте-Карло. И знаешь, какую прикольную штуку я узнал? Оказывается, сейчас в мире все ломают голову, где брать случайные числа!

— Да ну! — удивился его собеседник. — А в чем проблема? Я тебе сколько хочешь случайных чисел назову!

— Ну давай, назови несколько штук.

— Девятнадцать, триста двадцать восемь, сто сорок, четыреста двадцать шесть...

— Я тоже раньше думал так же, как ты. Но вот смотри — все твои числа лежат в диапазоне от одного до тысячи. Разве это можно считать случайным распределением? Спроси любого — он почти наверняка назовет тот же фрагмент последовательности. Ведь люди обычно не мыслят числами больше миллиарда, им это неудобно. В основном — до тысячи. Даже деноминацию денег проводят, чтобы держаться в этих границах. Чисел существует бесконечное количество, а для человека самое большое из представимых — триллион. И кроме того, как быть уверенным, что спрошенный не знал заранее, какое число надо назвать? Нет, человек в качестве генератора случайных чисел не годится! Его ответы расположены слишком близко друг к другу. Проще говоря, они в том числовом диапазоне, которым человек пользуется в жизни.

— А зачем вообще нужны случайные числа?

Сначала не очень внимательный, после мелькнувшего «Монте-Карло» Коржиков слушал с большим интересом: как-никак в его кармане лежал лотерейный билет, а значит, он мог выиграть, совершенно случайно, кругленькую сумму. Но главная мысль, которая пришла ему в голову и поразила, — это то, что можно продавать числа! Не раковины, унитазаы, краны и шланги подводки, которые он продавал ежедневно, — а просто числа!





Ведь это какой бизнес чудесный — не надо ничего закупать, делать возвраты, платить за аренду торговых площадей...

Втайне — впрочем, как, наверное, все мы — Иван Николаевич мечтал рано или поздно открыть свой бизнес или хотя бы обзавестись источником стабильного «пассивного», как говорили в его кругах, дохода. Желательно такого, чтобы можно было, полагаясь только на свой ум, работать дистанционно. Или не работать вообще — как делал один его знакомый клиент, который как раз сегодня должен был прийти к нему на работу, в большой строительный магазин.

Так, пригревшись на сиденье у окна, Иван Николаевич предавался сладким мечтаниям. Грезилось ему, что... Впрочем, не будем вторгаться в это сугубо личное и даже интимное занятие каждого человека, ибо заглядывать в чужие грезы неприлично, пусть даже и в общественном транспорте.

Тем временем маршрутка, и правда как отбившаяся от стада газель, продолжала стремительное движение по зимним улицам. Молодые разговорчивые попутчики вышли, и Ивану Николаевичу вновь показалось, что он в чужом городе, поскольку он совершенно не узнавал окрестности. В последнее время и в центре, и на окраинах, как грибы из-под земли, выростали новые кварталы с чудными названиями вроде «Нормандия — Неман», «Чикаго», «Беринг», «Марсель» и с красивыми комфортными многоэтажками, совсем не такими, как его дом в Родниках. А ведь он привык считать, что идет в ногу со временем...

Его новый дом в сравнении с этими выглядел так же, как в советское время пятиэтажная хрущевка на фоне девятиэтажек с лоджиями и лифтами. Эти здания светились огнями, как инопланетные космические корабли, и казалось, что в них действительно живут иноземные существа, которые покупают и продают случайные числа, торгуют криптовалютой, едят тофу и авокадо.

Настолько непривычной была вся эта обстановка — незнакомые виды, мелькающие за стеклом, и мягкое просиженное кресло у запотевшего изнутри окна маршрутки, и так плавно покачивалась бархатная шторка с кисточками, и так тепло дула в ноги печка под сиденьем, и так натужно взывал двигатель, когда маршрутка отчаливала от очередного островка-остановки, чтобы влиться в грязный поток других машин на широкой автостраде, что Коржикова ненадолго укачало и он прикорнул, уткнувшись головой в толстой шапке в оконное стекло.

Неизвестно, сколько он проспал — может, несколько минут, а может, и несколько остановок, — но очнулся от свежего, холодного воздуха, что ворвался в душный салон из открывшейся на мгновение, выпуская темный силуэт пассажира, и тут же захлопнувшейся с протяжным гулом боковой двери. Спросонья Иван Николаевич был совершенно дезориентирован и почувствовал себя невыносимо одиноким, как только что вышедший за тюремные ворота после многолетней отсидки зэк. Спустя минуту он понял, что вызывало в нем такую специфическую тоску.

В полутьме салона уже невесть сколько звучал включенный шофером шансон, и все время, пока Коржиков дремал, сиплый голос надрывно пел про белого лебедя на пруду:

Мало шансов у нас, но мужик-барабанщик,
Что кидает шары, управляя лотом,
Мне сказал номера, если он не обманщик,
На которые нам выпадет дом¹.

Коржиков много раз слышал эту песню, но только сейчас до него дошло, что она про лотерею, где нужно угадать пять номеров из шести. «И тут случайные числа!» — охнул он.

Наконец Иван Николаевич добрался до работы. Никогда еще путь сюда не казался таким долгим. Слава богу, в магазине все было как обычно — пахло свежими стройматериалами, ОСБ-плитой; где-то под потолком чирикали электронные птички. Но спокойно заниматься привычными делами не выходило, и лишь пообедав в служебной столовой котлетой с рожками, Коржиков понемногу пришел в себя.

Как раз к тому времени явился за покупками Герман, «старший товарищ», как Иван Николаевич его уважительно называл при своих сотрудниках, хотя тот был младше по возрасту, — важный знакомый, приятельство с которым Коржиков считал полезным и соответствующим своему нынешнему уровню. По этой причине Герман был самым желанным гостем на вечеринках с суши и импортным пивом, которые Иван Николаевич устраивал у себя в новой квартире раз в квартал.

Герман был молчаливым высоким, узкогрудым молодым человеком лет тридцати или около того (точнее определить по тщательно ухоженной внешности было затруднительно), чуть напоминавшим ящера из-за длинной, незаметно переходящей в голову шеи. Эту свою неприятную особенность он пытался сгладить одеждой — туго заправленными в серые брюки дорогими рубашками с неизменным светлым галстуком. Во время разговора Герман поворачивался к собеседнику всем телом, а лицо его выражало исключительную вежливость и — по его мнению — максимальную доброжелательность. Блеклые, чуть навывкате, глаза при этом как будто смотрели сквозь собеседника, что люди, не знавшие Германа, легко могли бы принять за высокомерие. Он занимал в банке важную должность, связанную с выдачей ипотеки, и был, что называется, «в рынке».

Свое состояние он сколотил на этой же ниве: покупал на полученную в своей же банке ипотеку самую дешевую квартиру, затем делал в ней самый дешевый ремонт и сдавал ее в аренду. На деньги с аренды гасил ипотеку, покупал следующую — и так владел уже, слуханное ли дело, семью ипотечными квартирами! Ремонт Герман делал по возможности своими силами — сам выдумывал нехитрый дизайн, подглядев образцы в строймаркетах, и там же лично закупал обои, сантехнику,

¹ Из песни «Я куплю тебе дом» группы «Лесоповал».





кафель и другие материалы. На этой почве они и сошлись с Иваном Николаевичем Коржиковым. Ну и еще на том, что случайностей и Бога Герман тоже не признавал, а верил, как любил повторять, только в себя и в аннуитетные платежи.

Сейчас он чинно шел меж рядов, толкая перед собой огромную, еще пустую тележку.

— Уж полночь близится, а Германа все нет! — Иван Николаевич встретил дорогого приятеля обычной своей присказкой, широко улыбаясь и раскинув объятия. Эту фразу он помнил откуда-то еще со школы и козырял ею всегда, когда видел своего «старшего товарища».

Побеседовав о том о сем — о текущем ремонте, о погоде — и узнав о планах Германа приобрести очередную малосемейку, Коржиков вдруг, сам того не ожидая, сообщил, что у него тоже есть новость — он купил случайное число. Решил, так сказать, вложить свободные средства.

К его величайшему изумлению, Герман оказался осведомлен и в этой области и важно сказал, что слышал от программистов об остром дефиците случайных чисел, в том числе в банковском секторе. Единственное, предостерег Герман, стоит проверить, действительно ли это настоящее случайное число. И если в самом деле настоящее — то дело верное, потому что такие всегда растут в цене, ведь «истинно случайных чисел не становится больше, а потребность в них стабильная» (так ему объяснил по большому секрету изрядно подвыпивший сисадмин на новогоднем корпоративе, когда они выходили в курилку).

Коржикову почудилось, что Герман теперь даже смотрит на него иначе — как на равного.

Надо ли говорить, что беседа произвела на Ивана Николаевича серьезное впечатление и полностью захватила его мысли. Еще несколько дней он обдумывал все и так и этак, изучил досконально материал, чтобы тоже быть полностью «в рынке».

Интернет подтвердил, что случайные числа действительно очень нужны. Например, в интернет-казино для имитации рулетки: ведь если в выпадении шарика будет хоть какая-то закономерность, казино может проиграть. В программировании — для шифрования данных: оказалось, что шифруется буквально вся информация, даже телефонные звонки в «Ватсапе» или «Телеграме».

Но самое главное, что вынес для себя из всего этого Коржиков: получить по-настоящему случайное число — огромная проблема (он специально посмотрел на «Ютубе» ролик на эту тему). И носит она мистический характер. Ведь что такое случайное число, если разобраться? Это число, которое никто-никто не может предсказать. Разве что крупье, если бы точно понимал, как он кидает шарик и как крутится барабан, мог бы назвать нужные цифры, но ведь и ему такое не под силу. А вот шарик знает, куда упадет! Или, иными словами, Господь Бог-то знает, что выпадет! Потому Он и не играет в кости — так сказали в конце ролика. Что-то там еще говорилось

о том, что существование человека противоречит закону увеличения энтропии. Но Коржиков сам чувствовал себя частицей этой энтропии. «На Бога надейся, а сам не плошай» — таков был с детства его жизненный девиз.

Поэтому он наконец решился на покупку.

Дальнейшее было делом техники. Чаще всего Коржиков выгодно покупал новые вещи через интернет — как было уже упомянуто, он слыл в кругу знакомых современным человеком, в том числе и потому что чувствовал себя как дома на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Не гнушался покопаться и на «Авито», где часто попадались новые, не подошедшие прежним хозяевам вещи.

Купить случайное число оказалось легко — как раз на «Авито» он быстро нашел нужное объявление. Продавец, не пожелавший открыть свой телефонный номер и общавшийся только в мессенджере, сообщил, что у него остались последние десять случайных чисел. «А как вы докажете, что они точно случайные?» — усомнился Коржиков. «Все берут, еще никто не жаловался, — обиделся продавец. — Можете отзывы почитать!»

И действительно.

«Прекрасные случайные числа, равномерно распределенные. Беру у этого продавца постоянно». «Пользуюсь методом Монте-Карло, большая потребность в числах, когда не хватает запаса. Иногда покупаю тут. Хотя и дорого, но оно того стоит». «Брал шефу в подарок. А что еще подарить человеку, у которого все есть?!»

Больше всего Ивана Николаевича поразил отзыв компании-застройщика, возводившей его новый дом в Родниках: «Разыгрывали квартиру, нужно было гарантированное случайное число для определения победителя, чтобы исключить подлог и махинации. Выбрали его тут. Дорого, но репутация дороже».

«А что будет, если я проверю, а оно окажется не случайным?» — спросил на всякий случай осторожный Коржиков. «Вернете назад — я без проблем верну деньги», — заверил его продавец.

Когда речь зашла о цене, Коржиков ахнул. Выяснилось, что, пока он думал, случайное число осталось последнее. Поступление следующей партии ожидалось, но в туманном будущем: главный генератор случайных чисел вышел из строя, а когда привезут запчасти из Европы, неизвестно — санкции. Брать китайские по понятным причинам нельзя. А если кому-то снова понадобится разыгрывать квартиру? Да что квартиру — а если лотерею «Гослото», где выигрыш сто миллионов?! В общем, на сегодняшний день, очевидно, оставался последний шанс. Медлить было нельзя, и...

Иван Николаевич Коржиков купил случайное число.

Если бы еще неделю назад кто-нибудь из знакомых сказал ему, что он совершит столь безрассудный поступок, он бы даже не рассмеялся в ответ, а просто не понял бы, о чем ему толкуют.

Спустя неделю он получил случайное число заказным письмом по почте, и теперь оно лежало перед ним на столе в запечатанном





конверте. Последнее неиспользованное случайное число в стране, а может быть, даже в мире и во всей Вселенной. Такие неожиданные идеи Коржиков стал у себя замечать, размышляя, почему Господь не играет в кости, и более того, даже как-то раз отогнал возникший из ниоткуда грустный и бесперспективный вопрос о том, зачем он сам появился на свет.

Даже жена заметила, как сильно изменился Иван Николаевич за последнюю неделю.

— На работе неприятности. Вместо трех четвертей краны пришли на полдюйма! — соврал он ей первый раз в жизни, думая при этом совершенно о другом.

Главное, что он осознал за это время, — то, что случайностей в жизни не бывает. И даже генераторы случайных чисел выдают псевдослучайные числа. А значит, все предопределено. И его жизнь — тоже. Как ни старайся ее изменить — финал будет один. Тогда пусть, как сказали в том ролике, все идет как идет и продолжает дальше размеренно крутиться колесо Махаяны. Но неужели смысл его, Ивана Николаевича Коржикова, жизни заключается в продаже сантехники? Неужели для этого он родился на свет?

Почему-то не нравилась ему эта мысль. Не мог он с ней смириться, чувствуя, что смысл его жизни в чем-то другом.

Он вышел с работы. На улице потеплело, державшиеся много дней морозы наконец отпустили, и пошел снег. Мягкие снежинки, словно радуясь потеплению, кружились в свете уличных фонарей, не спеша опускаться вниз, на старые грязные сугробы. Так было на улице хорошо, что Коржиков, глядя на этот бессмысленный танец снежинок, тоже неожиданно решил прогуляться пешком хотя бы одну остановку.

На душе у него вдруг стало спокойно. Можно никуда не спешить — ведь все равно в жизни не изменить ничего. Он шел, и с каждым шагом становилось все легче и легче на душе, словно он постепенно скидывал с плеч на грязный снег копившийся годами груз. Повинуясь внезапному порыву, он извлек из пиджака лотерейку «Магия звезд» и стер защитный слой.

Выигрыш!

Случайное число лежало глубже, во внутреннем кармане. У очередного фонаря, на перекрестке с трамвайными путями, Иван Николаевич остановился, медленно достал конверт и вскрыл... За спиной раздался мелодичный звон. Коржиков обернулся и увидел, что прямо на него летит огромное число тринадцать.

В маленьком филиале Галактического центра поиска случайностей, находящемся в центре спирали Млечного Пути, в этот момент тоже прозвенел сигнал. Моргнула лампочка регистратора истинных случайностей. Прикорнувшие на рабочих местах дежурные сотрудники вздрогнули. Неужели наконец удача?

Обретение случайных чисел давно стало проблемой для обитателей Вселенной. На этот раз сигнал пришел с окраины Галактики — с третьей

планеты небольшой звездной системы. Случайное число равнялось секундам, прошедшим от момента получения аборигеном этой планеты письма с последним во Вселенной истинным случайным числом до его вскрытия и прочтения. Так было задумано — чтобы последнее число, исчезая, порождало новое. Оператор проверил свежее число вручную — оно было истинным. И — о чудо! — прежнее случайное число осталось неиспользованным, даже неповрежденным.



Вера ОХОТНИКОВА

ПИХТОВНИЧЕК

* * *

Моим желаниям лес
умел всегда потакать.
И никаких чудес —
деревья, кусты, река.

Моей беспутности дождь
всякий раз потакал,
и ветер, когда не ждешь,
вовремя окрылял.

Теперь я в долгу у всех,
пора платить небесам.
...А нынче посыпал снег,
он и долги списал.

* * *

До краев набежало! Давай зачерпнем
из бочонка небесной водицы.
Мы с тобой причастились июльским дождем
и затеяли солнцем сушиться.

Позабыли на время земные труды —
неземное такое везенье!
Огородное счастье — достаток воды —
испытала умытая зелень.

Старый двор обновленным казался, другим:
невесомым, блестящим, летящим.
Заодно были птицы веселые с ним.
Да и ты был другим — настоящим.

* * *

Рождество. Небольшой снегопад.
Кто на лыжах — заведомо счастлив —
заприметит сосновый детсад,
чуть подальше — пихто́вые ясли.

Там рождается новый Христос
и дарами засыпана зыбка.
Это чудо январь нам принес
ни за что. Просто так. За улыбку.

* * *

Пихтовничек пошел —
нельзя не прикоснуться.
Дыханью хорошо,
нигде не встретишь лучше,

не сможешь обомлеть,
не сможешь надышаться,
не запасешься впредь
ни воздухом, ни счастьем.

* * *

С небольшим рюкзаком поутру
навещаю дорогу лесную.
Может, ягод каких наберу,
может, воздуха впрок наворую.

Перепачкаю руки смолой,
пропитаются волосы дымом,
запекутся каленой золой
пять картошек, немного сладимых.

А домой неохота ничуть,
здесь друзья — ветерок и лишайник.
Я приду в этот лес как-нибудь...
Размечталась... И ты не мешай мне.



* * *

Два слова о моей стране,
о том, что есть в ее длине
размах вселенского пошиба.
Длина — вернее, чем вершина.
А что сказать об остальном?
Покоя нет в краю родном,
где вечно брат сестру качает,
где вечно чай из иван-чая,
где ветер свищет просто так,
где всех милей Иван-дурак.

* * *

На белой скатерти друзьям накрою,
ни белого, ни черного не скрою,
и белый снег идти не перестанет,
и белая поземка не устанет.

И за стаканом белого вина
душе простится черная вина.



Сергей МАКСИМОВ

СИБИРСКИЙ КАПРИС

Пронизанная ярким солнцем, наполненная запахом цветущей черемухи атмосфера раннего майского утра не предвещала дурных вестей. Телефонному звонку альтиста Андрея Чудакова я не удивился. Завтра у нас выезд в Новосибирск. Вероятно, друг хочет что-то уточнить. Вместе давно не работаем. Андрей по-прежнему преподает в Томском государственном университете, но вернулся и в местную филармонию. Аккордеонист Вячеслав Крестинин, кроме того, что остался преподавателем Томского губернаторского колледжа культуры и искусств, солирует в ансамбле русских народных инструментов «Сибирские узоры». Я, неожиданно не только для окружающих, но и для себя, стал автором исторической прозы. Из поэта, режиссера и музыканта преобразился в прозаика... Завтрашнее выступление в столице Сибири особого рода. Нам предстояло играть на научно-практической конференции врачей-дерматологов...

— Серега, Леха Зимаков умер, — без каких-либо предисловий объявляет друг.

— Когда?

— Позавчера. Приехал из Ростова-на-Дону.

— Что случилось-то?

— Говорят, тромб оторвался...

— Когда похороны?

— Завтра, в двенадцать...

Думая об одном и том же, оба молчим. Если бы дело касалось денег, мы, не задумываясь, отменили бы любой, даже самый выгодный, концерт. Но здесь дело другого рода... Отработать на конференции попросил наш верный друг и давний поклонник нашего прекратившего свое существование примечательного музыкального коллектива. По жанровой классификации это был камерный ансамбль, состоявший из аккордеона, альта и гитары. Плюс мой вокал.

— Что думаешь? — спрашивает Андрей.

Что тут думать! Смерть даже близкого родственника в артистической среде не является уважительной причиной для отмены концерта или спектакля.

— Леша нас простит, — отвечаю сдержанно и спокойно.

Алексею Зимакову, как и нам, не единожды приходилось выходить на сцену вместо того, чтобы навсегда проститься с дорогим человеком. Однако смерть его наступила не вчера... Все самое страшное произошло гораздо раньше...

Зима и Зимаков

Чрезвычайно морозное раннее утро накануне Нового 2013 года вступало в Томск, продираясь через густой туман сизого, сковавшего город холода. Из-за сильных морозов в доме из маневренного фонда, где я тогда проживал, замерзали трубы отопления, и я с утра пораньше занимался тем, что в предрассветной темноте с фонарем во лбу утеплял пустующие квартиры. Двухэтажная деревяшка готовилась к расселению и во многих помещениях было отключено электричество. Из темноты возникли жена и увязавшийся за ней наш сибирский кот по кличке Саня, брошенный одним из прежних жильцов накануне...

— Андрей Семенович звонит, — выдыхая изо рта пар и протягивая мне телефон, говорит моя Юлия. Утро не то время, когда музыканты расположены к телефонным звонкам... Было понятно, что случилось нечто чрезвычайное. Во мраке вибрировал и сиял синим цветом мобильник.

— Серега, Леха Зимаков, кажется, руки отморозил, — без каких-либо предисловий встревоженно объявляет мой друг.

Ничего, кроме мата, в тот момент мной не произносится. Никакими другими словами не выразить понимания произошедшего и почти мгновенного осознания свалившейся беды. Музыкант-гитарист отморозил руки... Последствия очевидны...

— Андрей, давай сначала...

— Сейчас мне позвонил... Говорит, вчера вечером потерял где-то ключи... Не мог попасть в подъезд. То ли домофон не работал, то ли тыкал непонятно куда. На улице около часа стоял, пока кто-то из соседей не открыл. Сейчас руки черные... Что делать будем?

Что делать, Андрей знает не хуже меня. Это не тот случай, чтобы ограничиться походом в травмпункт или вызовом скорой медицинской помощи.

— Андрей, дай я соображу... Перезвоню...

— Жду...

— Саня! — кричу на кота, путающегося под ногами и сбивающего с мыслей.

Судорожно соображаю, соотнося все сложности свалившегося несчастья. Круг общения у нас достаточно широкий. В том числе во врачебной среде. От ректора медицинского университета Вячеслава Новицкого до многих томских врачей. Подумав, набираю телефон Владимира Байтингера. Знакомы с тех времен, когда Владимир Федорович еще не был академиком медицины и директором НИИ микрохирургии. Главное, что он знаком с Зимаковым лично.



— Хватайте его и везите в клинику. В каком бы состоянии ни находился, — с полуслова поняв, в чем дело, с распорядительностью хирурга почти приказывает Байтингер. — Я сам не в Томске, но бригаду подниму. Вас будут ждать...

Перезваниваю Андрею. Все делаем правильно. Хватает ума, чтобы понимать, — попади Алексей в дежурную по скорой помощи клинику, там не мудрствуя лукаво оттяпают руки сразу, с запасом... Почернение при обморожении — приговор конечностям.

Виртуоз

Ох, Леха, Леха! Интернет-ресурс music-education.ru сообщает: «Алексей Викторович Зимаков родился 3 января 1971 г. в сибирском городе Томске. Является выдающимся российским гитаристом. Гениальный исполнитель, потрясающий виртуоз. Обладает необычайной музыкальностью, недостижимой техникой и чистотой исполнения. Получил признание в России и за рубежом». Вероятно, скоро будет добавлено: «Проживал в Томске», с указанием даты кончины... Судьба любого выдающегося музыканта не лишена драматизма. В нашем случае житейская, казалось бы, драма трансформировалась в трагедию.

«Не от мира сего» — это про Лешу. «Полное погружение в музыку» — тоже про него. На одном из зарубежных концертов учудил небывалое... Разыгрываясь перед выступлением, снял тесные концертные туфли и до самого выхода сосредоточенно репетировал. Пока его не растолкали, как погруженного в сладкий сон ребенка, и не подтолкнули на сцену. Так в носках, с гитарой в одной руке и с подставкой под ногу в другой руке он вышел на сцену. Искушенная публика не могла не заметить необычность происходящего, но качество последовавшего исполнения увело зрительское восприятие от смехотворной бытовой детали к категориям вечным... Только шквал аплодисментов, перешедший в овацию, вернул потрясенный зал на грешную землю, к личности высокого, красивого, курчавого, полубосого музыканта из Сибири с русской фамилией Зимаков.

Не следовало бы вообще писать о Зимакове, чтобы повторять общие фразы из энциклопедии. Руководствуюсь правилом писать только о том, о чем, помимо меня, вряд ли кто напишет...

Леша был не просто чрезвычайно одаренным музыкантом. Он был уникален. Кроме природной одаренности и трудолюбия, существовала еще одна характерная особенность, объясняющая его уникальность как исполнителя, — совершенно особенные руки... Ладони были огромны, что выглядело органично при его немалом росте. Здороваясь с ним, многие замечали, что их рука тонет в объятии его гигантской ладони... Однажды, взглянув пристально, поразился уникальным анатомическим свойствам кистей рук. Первые от ладонки мощные, крупные фаланги пальцев плавно переходили в менее крупные и сильные средние, тогда как крайние фаланги были тонки и изящны. Добавьте к этому необычайную растяжку... При



(извиняюсь за выбор слова) растопыренной ладони большой палец и мизинец образовывали прямую линию совершенно невыносимой для обычного человека длины. Сколько ладов на грифе гитары он точно перекрывал пальцами левой руки, теперь никто не скажет. Из двенадцати не менее пяти-шести...

При исполнении это выливалось в нечто непостижимое... Обладая непревзойденной техникой, за свою исполнительскую карьеру, точно из озорства, он исполнил на гитаре все 24 скрипичных каприса Паганини. Это хорошему скрипачу крошечный, по сравнению с гитарным, гриф скрипки позволяет внятно и четко проиграть в ускоренном темпе сложное скрипичное произведение. Каким нужно быть виртуозом, чтобы адаптировать скрипичную вещь для гитары, можно понять, просто соотнеся длину скрипичного и гитарного грифов. Вероятно, Алексей Зимаков был единственным гитаристом в мире, которому удалось перенести скрипичную технику левой руки на гитару. Сам характер личности музыканта точно соответствовал итальянскому термину *capriccio*, или *caprice* по-французски. Что значит — каприз, прихоть, причудливый изыск. Произведение академической музыки, написанное в свободной форме.

Довелось быть свидетелем его работы над двадцать четвертым, последним, каприсом Паганини... На гастролях.

Гастрольные скитания

В начале нулевых директор Томской государственной филармонии Ольга Лесина предложила нам с Андреем Чудаковым вспомнить лихие девяностые, когда из-за нехватки средств на пропитание мы вдвоем с Андреем год или два гастролировали за весь концертно-камерный отдел филармонии. За свой счет... В те годы учреждения культуры финансировались государством даже хуже, чем организации здравоохранения и образования... Схема нашей гастрольной деятельности была примитивна, но действенна и оригинальна... На свои личные средства рейсовым автобусом мы выезжали на север Томской области, за три-четыре дня отработывали концертную норму (12 концертов), возвращались в Томск и прощались с филармонией до следующего месяца. Месяца через три-четыре директор этого учреждения выполняла взятые на себя обязательства, и мы впервые за многие дни, недели и месяцы получали положенную нам зарплату, командировочные, суточные, квартирные и проездные... Получалась приличная сумма... Однажды злопыхатели стали интересоваться:

— А чекой-то артисты так много у нас получают?

— Действительно, — стала вторить злым языкам директриса. — Что это за творчество у вас такое? Три-четыре концерта в день... И почему репетируете не в филармонии?

Как будто не знает, что, кроме филармонии, нам приходилось подрабатывать еще в ряде мест, включая ресторан... Не ведает, что смета гастролей с участием бригады артистов непомерно больше,

нежели приглашение нашего примечательного дуэта. Ежедневно ходить на репетиции, как музыканты симфонического оркестра, мы не собирались и не имели физической возможности... Словом, мы уволились...

В начале нулевых финансирование наладилось, но культурно-просветительские учреждения в томской глубинке оказались на грани вымирания. Концертных площадок почти не осталось, гостиницы практически исчезли, а отели еще не появились. Потому Ольга Викторовна решила вернуться к проверенному жизнью экстравагантному гастрольному формату прежних лет. Артисты-экстремалы опять оказались востребованными.

В этот раз Чудаков перехватил у Лесиной инициативу. В нем уже жил будущий руководитель камерного ансамбля *Sonore* (итал. «звонкий звук»). Позже он стал приглашать под каждую новую концертную программу разных музыкантов. А тогда в ответ на предложение администрации предложил сам:

— А давайте мы не с Максимовым вдвоем съездим, а вчетвером...

— Кто еще?

— Зимаков и аккордеонист Крестинин...

— Если они согласятся, я только за! — воскликнула потрясенная руководительница. Алексей и Вячеслав были за...

— С этими гениями хлопотно нам с тобой будет, — предупредил меня друг. И сам, в тот момент человек совершенно непьющий, добавил:

— Серега, я тебя умоляю, не бухай с Лехой...

Это он перестраховывался. Знал, что такой безответственности я не допущу... К тому же с нами была совесть нашего коллектива — Вячеслав. Так однажды Крестинина окрестил я. Как-то на перекуре в ресторане он мне заявил:

— Сережа, ты — ум нашего коллектива...

— С чего это вдруг? — удивился я.

— Сам посуди... О выступлениях договариваешься, зарплату выдаешь. Когда играть, а когда заткнуться, решаешь тоже ты.

— Приятно слышать. А ты, Слава, — совесть нашего коллектива!

— Почему?

— Не пьешь, не куришь, по бабам не бегаешь, спортом занимаешься, — перечисляю я его достоинства. — Совесть в истинном смысле этого слова.

Слава рассмеялся вместе с вышедшими покурить официантами.

День приезда и начало гастролей в северном районном центре Томской области Парабель Леша отметил вечерним походом на близлежащую речку. Из похода он вернулся с головы до ног перепачканный прибрежной грязью, но довольный. Выяснилось, что он соблюдает традицию купаться во всех реках, которые протекают в местах проведения гастролей, если они еще не покрыты льдом. В его активе все великие реки Сибири — Иртыш, Обь, Енисей и Ангара. Из зарубежных — Рейн и Сена...



— В Америке не удалось искупаться, — сокрушался он, — в Огайо (река на востоке США, крупнейший приток Миссисипи) вода такая грязная, что в ней даже рыба не водится и водоросли не растут.

— И плавки растворяются, — пошутил Чудаков.

— Про плавки не знаю, — ответил Леша, — но волосы на голове, говорят, могут повывлезать...

— То ли дело у нас, — замечаю я, — пришел на водопой для скота, выкупался и еще грязевые ванны принял...

Иногда кажется, что 1990-е годы смогли пережить только те, кто, несмотря ни на что, не утратил чувства юмора. С юмором у нас все нормально, особенно со смехом над собой.

Нашу концертную группу разместили в деревянном двухэтажном, приготовленном под снос здании бывшего райисполкома. Говоря современным языком, местной администрации... В одном углу просторного, освобожденного от кресел актового зала для нас поставили четыре железные кровати с панцирными сетками и большой стол. Продукты и электрическую плитку с электрочайником мы привезли с собой. Бытовые гастрольные тонкости у нас с Андреем отточены до мелочей. В девяностые годы мы иногда выезжали на маршрут с палаткой, охотничьим ружьем и даже рыболовной сетью...

Утро в Парабели начиналось с раннего подъема Алексея. Это был многолетний установленный ему отцом с детства распорядок дня. В семь утра под метроном он начинал играть этюды для гитары. На него не распространялся принцип «от простого к сложному»... Несложных этюдов он не играл и, в конце концов, переходил к каприсам Паганини.

— За что люблю гитару, — шутит Чудаков, натягивая на голову одеяло, — так это за то, что под нее спать можно...

Пробудившийся Слава занимает со своим инструментом дальний угол зала.

— Как насчет аккордеона, Андрей Семенович? — спрашиваю тоже из-под одеяла.

— Я говорил, что с этими гениями натерпимся, — бурчит Андрей.

Под аккордеон не разоспишься. Ругаясь, Чудаков идет на улицу курить, чтобы чуть позже занять свой репетиционный угол. Он не одобряет фанатизма коллег, но не может выйти на сцену, не разыгравшись. В моем понимании Андрей не менее гениален и виртуозен, чем они. Чудаков — непререкаемый авторитет для всех томских музыкантов, включая Алексея и Вячеслава.

Леша младше нас. Его уважительное отношение ко мне и к Славе проецируется через его почтение к Андрею. Для меня Чудаков тоже не просто друг, а наставник и учитель. Именно благодаря ему я, не имеющий законченного музыкального образования, не могу утверждать, что у меня его вовсе нет. К тому же на театральном отделении Кемеровского государственного института культуры, который я закончил, будущие режиссеры, кроме специфического предмета «музыка в спектакле» и обязательной «истории театра», изучают

чисто музыкальную дисциплину «история музыки». С обязательной музыкальной викториной во время сдачи зачетов и экзаменов. Это когда ты обязан назвать прозвучавшее музыкальное произведение, указать его автора и разобрать услышанное...

У меня, кроме администраторских, по-армейски старшинские обязанности... Иду на рынок, покупаю мясо, затариваюсь свежей зеленью. Заодно выясняю, где баня и какой день в ней мужской. Возвращаюсь. Готовлю завтрак, делаю закладку обеденного борща. В это время маэстро переходят из угла в угол и репетируют отдельные номера вместе и попеременно. Завтрак готов, и я объявляю бессмертное:

— Кушать подано! Садитесь жрать...

На завтрак салат из свежей зелени, каша с мясом и маслом, бутерброды с ветчиной и сыром. Андрей и я едим быстро, что не мешает над чем-нибудь посмеиваться. Маэстро Алексей не уступает в темпе поглощения пищи, и тоже успевает потрепаться на отвлеченные темы... Он, как и я, страдает бытовой скороговоркой. Это врожденное сибирское свойство речи, иногда превращающееся в непреодолимую преграду по пути на сцену... Маэстро Вячеслав ест медленно и молча, будто в армии не служил. Может только пожаловаться на плохой аппетит. Чем мы с Андреем Семеновичем время от времени пользуемся...

Маэстро

Первый концерт в музыкальной школе. Программа составлена Андреем. Моя принадлежность к режиссерской профессии учитывается только из уважения ко мне. Сегодня моя основная роль — ведущий и музыковед. К концерту готовлюсь соответственно. Перечитываю материал о финском композиторе Сибелиусе, чье произведение исполнят Вячеслав и Андрей, а представлять предстоит мне. Для рассказа об аргентинском авторе Асторе Пьяццолле использую соответствующую статью Андрея. Я сам ее когда-то набирал под его диктовку. Специально для гастролей Чудаков с Зимаковым сделали переложение двух частей пьесы «История танго», написанной этим композитором для гитары и флейты. Нужно не забыть сказать об этом... Заодно рассказать об альте, который будет звучать вместо флейты... Распеваюсь и разыгрываюсь сам. Мне проще. Уровень владения инструментом у меня по сравнению с ними средний, но моя задача специфическая... В совместных выходах я должен держать ритм, что для музыканта иногда важнее музыкального слуха. Слух у моих коллег абсолютный. Андрей льстит мне словами, что у меня приближенный к абсолютному... Может, я и слышу как надо, но из-за недостаточной исполнительской техники не всегда могу взять нужную тональность на гитаре.

— Что играем?

— Услышишь.





— Какая тональность?

— Увидишь...

Так, как умеет Слава, редко кто сумеет... Рядом с ним можно пнуть консервную банку и спросить: «Какая нота?» Вячеслав Анатольевич безошибочно скажет какая... Причем не просто си, а скажем, си-диез или си-бемоль. И добавит, какой октавы...

После утренней репетиции и завтрака мы с Зимаковым пьем кофе, Чудаков с Крестининым — чай. О чем-то болтаем. Алексей не выпускает из рук гитару. Он машинально гоняет пальцами какие-то пассажи... Слушая других и сам что-то рассказывая, продолжает скакать по струнам... Со слов Андрея знаю, что даже дома за телевизором Леша сидит с инструментом в руках. Звучание гитары не мешает ни сну, ни беседе, ни дружеской попойке... Но у нас в данном случае сухой закон.

— На ней просто рукой по струнам проведи, — поясняет Чудаков, — сразу аккорд. Одну-две струны зажал — другой... На скрипке, чтобы что-то приличное зазвучало, лет десять надо пахать...

Профессиональный уровень этих трех музыкантов таков, что говорить «звездный состав» — еще большая пошлость, чем это сомнительного свойства определение. В связи с этим у меня проблемы с Андреем... Он категорически запрещает мне говорить со сцены, что он является лауреатом последнего в истории Всесоюзного конкурса исполнителей. Но ему деваться некуда. Если Зимаков и Крестинин лауреаты международных конкурсов, то нельзя умалчивать почетное звание еще одного участника концерта.

— Тогда и про себя говори, — бурчит Андрей Семенович. — Ты тоже лауреат...

— Ага. Многократный лауреат фестивалей самодеятельной песни в Мухоморенске и Пендюренске... Не какие-то ваши сраные Мадрид с Парижем...

Чудакову с Зимаковым доводилось бывать в Париже. Они охотно бросаются в рассуждения о «сраности» и «засранности» французской столицы.

В конце концов договариваемся о том, что представляю всех со званиями в финале. О себе скажу, что член... Союза писателей России.

Смех смехом, а мы, все четверо, еще и преподаватели — в Томском государственном университете, Томском областном музыкальном училище и Томском областном колледже культуры и искусства. Я работаю в двух из названных учебных заведений... Для Томска, где каждый четвертый житель студент и на каждую тысячу жителей приходится полтора профессора и доктора наук, это обыденность. Для выпускников Новосибирской консерватории Андрея и Вячеслава и Института имени Гнесиных — Алексея (у двух из вышеупомянутых еще в активе аспирантура) преподавание — долг и священная обязанность. Если мне нужно ко всем трем обратиться одновременно, звучит это примерно так:

— Чего сидим? Встали и пошли на сцену, консерваторы!
— Мы не консерваторы, — возражает Вячеслав.
— А кто вы?
— Мы — новаторы, — говорит Алексей.
— Инноваторы, — иронизирует часто имеющий перпендикулярное мнение Чудаков.

Концерт проходит на ура. Леша поднимает планку исполнительского уровня так высоко, что остальным участникам концерта приходится соответствовать. Большая часть нашей публики — благодарные и искушенные преподаватели музыкальной школы и их ученики, собравшиеся, несмотря на каникулы, почти все до одного. Чтобы не подниматься на высокую сцену, веду концерт из зала. Это даже не сцена, а подобие открытой эстрады, четверть которой занимает старый, помутневший от времени, матово-черный рояль. Смотрю концерт как зритель. Как зритель, увлекаюсь блестящим исполнением. Как режиссер, знаю, что внимание слушателей концерта или спектакля начинает расфокусироваться на пятидесятой минуте выступления. Как артист с концертным опытом и преподаватель, осведомлен, что пик восприятия учеников и студентов сокращается до сорока пяти минут — длительности урока. Что бы ни происходило на сцене, в подсознании школяров через это время наступает перемена... Сейчас нужно взбодрить зал, чтобы не потерять его перед выходом на финал. Взбираюсь на сцену. Вместе с залом мяукаем в моей почти взрослой «Песенке про зайку» (автор Сергей Максимов. — *Ред.*). Посмеялись, погрузили. Будем считать — передохнули. С популярной классической музыкой движемся к финалу. Потом вчетвером исполняем «Либертанго» Астора Пьяцоллы. В заключение беспроегрышный в любой зрительской аудитории «Чардаш» Витторио Монти.

Несмотря на малочисленность публики, зал бисирует и долго не отпускает. После выступления артистов обступают зрители. Живая легенда Зимаков в центре внимания. Долго беседуют. Я проставляю у директора школы печать на наряд-путевке, подтверждающей состоявшийся концерт, и, не дожидаясь товарищей, отправляюсь к месту расположения в бывший райисполком кормить личный состав...

Борщ более чем удался. Свежайшая говядина и весь спектр зелени, доступный в конце лета в Сибири. Помидоры здесь созревают не хуже, чем на Алтае, огромные и сочные. Роскошный салат с деревенской сметаной и мясом курицы. Даже Вячеслав ест с нескрываемым аппетитом. Смели все, против обыкновения не проронив во время обеда даже слова.

Послеобеденное время проводим на школьной спортплощадке поблизости. Спортивные Алексей и Вячеслав поочередно совершают подходы к турнику. Мы с Андреем тоже можем, но сейчас курим и подтруниваем:

— Тяжела, родимая, — как сержант в учебке, комментирую Лешино подтягивание.





— Нет, — возражает Андрей, — это все из-за борща...

В итоге музыкант-виртуоз со смехом срывается с перекладкины.

— Да идите вы, — беззлобно отмахивается Алексей и начинает делать упражнения на растягивание.

Он имеет черный пояс по карате. При всей своей технической вооруженности он время от времени умудряется получать по лицу от всякой шпаны.

— Это что, — продолжаю я, — вот у Славы растяжка так растяжка...

Долгое время в колледже культуры Вячеславу, кроме преподавательской работы, доводилось аккомпанировать на хореографическом отделении. В конце занятий с первокурсниками заведующая отделением Валентина Петриева иногда прикалывалась:

— Теперь, девочки, можете отдохнуть. А Вячеслав Анатольевич покажет вам, что такое настоящий гранд батман.

При этих словах Слава вставал, ставил на стул аккордеон, подходил к танцевальному станку и без всякого напряжения забрасывал ногу в продольном шпагате вертикально вверх.

По моей просьбе он разыгрывает этот аттракцион на школьной спортплощадке для Алексея. При этом не тянет носок, а оставляет здоровенную ступню согнутой в суставе. Мы с Андреем смеемся. Леша удивляется как ребенок...

Все трое маэстро своими психофизическими данными опровергают обывательские представления о рафинированности музыкантов и их якобы изнеженных музыкальных пальцев. Например, у Вячеслава ладони такие же большие, сильные и пластичные, как у Алексея. Андрей, если что-то захватит своими паучьими пальцами, то вырвать это практически невозможно. К тому же он завзятый рыбак и охотник. У Славы еще и аккордеон весом двенадцать килограммов. Из-за немалых физических нагрузок при игре стоя среди баянистов бытует поговорка: «Курица не птица — баба не баянист»... Баянистка или аккордеонистка может хорошо играть только сидя. Кстати, чтобы вывести Славу из душевного равновесия, достаточно назвать его аккордеон баяном. Воспринимает как личное оскорбление...

Аккордеонист

Вячеславу Крестинину

Аплодисменты.
И мгновенья
ведут артиста на поклон.
Я поражаюсь совпаденью:
он и аккордеон...

Непостижимая элитность
и несказанное родство...
Какая с инструментом слитность!
И кто был создан для кого?!



На вечернем концерте в районном Доме культуры зал сначала был заполнен на две трети. Начинается уборочная страда, еще не закончилось время дойки коров. Сельским труженикам не до концертов. К тому же реклама концерта выполнена так себе — плакат, нарисованный фломастером с перечислением имен участников.

Вспоминаю казус из времен своей режиссерской молодости в советское время. Ко мне на репетицию Народного театра при районном Доме культуры в городе Асино, где я в то время работал, с выпученными глазами врывается методист отдела культуры. Она панически тараторит:

— Сергей Григорьевич, там от филармонии артисты Большого театра приехали, а народу почти нет. Вы не могли бы со своим коллективом на концерт сходить?

— Где концерт? Кто приехал?

— В музыкальной школе. А приехали какие-то женщины и мужик... Певец. Фамилию не помню. Зовут — Артур.

— Эйзен? — спрашиваю ошарашенно я.

— Точно! Эйзен! Артур.

Какие пути привели на север Томской области Артура Эйзена, можно было только догадываться, но в советское время такое было возможно.

Вот и здесь какой-то Зимаков приехал, а то, что это величина мирового уровня, никто знать не знает. Хотя лица некоторых зрителей узнаваемы по утреннему выступлению.

Менее искушенные в музыке, чем слушатели в музыкальной школе, зрители Дома культуры не менее доброжелательны. К тому же во второй половине концерта зал заполняется полностью. Конечно, успех! Конечно, зрительский восторг, привыкнуть к которому настоящему музыканту невозможно...

Таежные реки

Специфика нынешних гастролей такова, что путешествуем в основном по воде. Теплоходы из бассейна Оби к тому времени исчезли, и мы перемещаемся от одного населенного пункта к другому на плоскодонных водометах. Только эти ветераны речного флота смогли пережить лихолетье девяностых.

Алексей и Вячеслав в этих краях впервые, поэтому мы с Андреем выступаем в роли гидов. Вспоминаются байки речников с упоминанием местных топонимов:

— Видишь звезду, сынок?

— Вижу.

— Там Крым. А Полярную звезду видишь?

— Вижу.

— Там — Нарым...

У присказок такого рода ссыльнокаторжные корни. «Бог создал Крым, а черт Нарым» или «Бог создал рай, а черт Нарымский край».

Из Оби перебираемся в Васюган.

Я опять в том краю,
где везут речники,
где короче,
чем крик чайки, лето...
Где настоем хмельным
льется запах тайги,
где текут реки
чайного цвета...

Чайный цвет воды в реках томского севера не фигура речи. Жизнь многим из них дают ручейки из торфяных болот. У Васюгана вода черная и густая, как чифир. Подарив название целой равнине и одному их самых крупных в мире болот площадью пятьдесят три тысячи квадратных километров, Васюган переводится с хантыйского как «узкая река». Если сравнивать с Обью, это узенькая речушка свыше тысячи километров длиной и, в нижнем течении, в шестьсот метров шириной.

Алексей и Вячеслав прожили всю жизнь в Томске и впервые на Васюгане. Как и положено выдающимся музыкантам, они экспрессивны и не скрывают своих эмоций. Свои черные воды быстрое течение реки несет мимо обрывистых берегов, почти целиком состоящих из многометрового слоя торфа.

Мы с Андреем раззадориваем коллег:

— В среднем течении высота берегов достигает пятидесяти метров...

Не вспомню точно, в каком селе, но Алексей продолжил традицию купания в реке по месту пребывания. Впечатление изложил кратко:

— Вода ледяная...

— Вот поэтому, Леша, ханты, манси и селькупы всю жизнь на реке живут, а плавать не умеют...

— Слушай, точно! — восклицает Леша. Эти гастроли для него полны неожиданных открытий.

Удивление и восхищение качеством наших выступлений со стороны зрителей следуют из концерта в концерт. Каждое выступление завершается тем, что можно назвать зрительской конференцией. Нас еще и угостить норовят. Следующее село не исключение. Отказываемся от спиртного, но благодарно принимаем рыбу. На нашем столе постоянно стерлядь в любом виде. Ночуем где придется. Как правило, это сельсовет, сельская библиотека или клуб, если они еще не пришли в полную негодность. Постельным бельем обеспечивают жители. Здесь библиотека недавно пережила пожар. Уцелевший книжный фонд свален в кучу в фойе клуба. Грустно...

Зрители разошлись. Наконец можно перекурить. Неодобрительно глядя на нас, некурящий Вячеслав отходит в сторону.

— Слава, я недавно узнал, что страдающим болезнью Паркинсона запрещают бросать курить.



Я не лгу. Это действительно так.

— Мало того, — продолжаю я, — английские ученые утверждают, что курильщики не страдают болезнью Альцгеймера.

— Они до Альцгеймера не доживают, — в своей манере уточняет обладатель критического мышления Чудаков.

Проводив зрителей, подходит представитель принимающей стороны — директор местной сельской школы, миловидная женщина средних лет. В ее же ведении полуразрушенный клуб. Ее восхищение и удивление сопровождаются подозрительностью:

— Вы женаты? — настороженно интересуется она у Славы.

— Да, — спокойно отвечает Вячеслав.

— Вы тоже? — вопрос к Андрею.

— Да.

— А вы?

— Не единожды, — не понимая, к чему она клонит, признаюсь я.

— И дети есть?

— И дети есть.

— Я один тут неженатый, — точно он в чем-то виноват, объявляет Алексей.

— Но женщина есть? — не унимается наша собеседница.

— Конечно.

— Надо же! Такие красивые, талантливые и не педерасты! — с провинциальной непосредственностью радостно изрекает лапочка-директор.

— Нас не это сближает, — с серьезным лицом ставит точку в разговоре Андрей Семенович.

Это было время, когда исполнители нетрадиционной ориентации заполонили собой российский телевизионный эфир. Позже понимаем, что женщину смутили длинные, приклеенные к пальцам правой руки ногти Алексея. Ногтевой способ звукоизвлечения предполагает отращивание ногтей. Появление новых технологий избавило гитаристов-профессионалов от достаточно хлопотного выращивания оных. Теперь гитаристы-виртуозы стали использовать искусственные ногти. Нашей собеседнице, скорее всего, ни разу не доводилось видеть такие вблизи... У Леши они были не только длинные, но и черные, как у вампира из фильмов ужасов. В продаже были только такого цвета...

На мой взгляд, Алексей Зимаков до конца жизни оставался романтиком. Это проявлялось в исполнении им любого произведения. Нарочитой грубостью Леша защищался от грубой реальности, лишенной всякой, кроме уголовной, романтики. В результате у него создалась репутация человека неуживчивого, драчливого и злоречивого. При этом еще и пьющего... Его специально задирали...

— Алексей Викторович, а как у вас сейчас насчет этого? — при трудоустройстве на работу сопровождает вопрос характерным щелчком пальцев по горлу одна невысокого ранга руководительница.



— А как у вас насчет этого? — в свой черед спрашивает Зимаков, сопроводив вопрос жестом, обозначающим обладание сексуальным партнером...

На работу его принимали, но добрые отношения с администрацией, как правило, не складывались.

Уходящее лето

Сейчас понимаю, что в те августовские дни Алексей был по-настоящему счастлив. Как правило, одаренность такого уровня порождает невыразимое чувство одиночества. Музыкальная среда часто отравлена подозрительностью и подлой злобной завистью. Рядом с Андреем и Вячеславом ему это не грозило. Это было искреннее и плодотворное содружество творческих людей.

Струны

Алексею Зимакову

Когда Бог радость разделил и муку,
а человек охоту и войну,
то кто-то первым тетиву от лука
осознанно воспринял как струну...

Таинственен путь звуковых потоков...
Свои имеют горы, море, лес...
Но знают путь от нас и до истоков
лишь птицы — толкователи небес...

Календари, и солнечный, и лунный,
не все хранят, что кануло в веках...
И нечто есть, что знают только струны,
и звук их в Богом избранных руках...

Леша потрясен тем, что ему посвятили стихи. Снова и снова просит прочесть. Его немного смущают строки о богоизбранности рук, но зато «Струны» понравились Андрею и Вячеславу. Я более чем доволен.

Много лет потом Алексей при встречах будет повторять:

— А помните, чуваки?..

Затем последует упоминание какого-нибудь эпизода из тех памятных гастролей. Его воспоминания подобны ложной памяти. Как это часто бывает, он будет вспоминать даже то, чего не было. Как литератор, знаю, что на ложной памяти выстроены все воспоминания о чем-то хорошем, дорогом и значимом. Срабатывает правило, открытое Валентином Пикулем: «Исторический роман — не то, что было на самом деле. И не то, что логично выдуманно. Это то, что было вопреки всему...»



Эти гастроли тоже были вопреки всему... Начиная от уникального состава нашего камерного ансамбля до географии передвижения... Гастроли оказались первыми и последними в этом составе... Молодые посетители наших концертов впервые увидели наяву музыкантов такого уровня. Услышали, как вживую звучат альт, гитара и аккордеон. Такие вещи в корне меняют восприятие музыки. Может, после этого кто-то не станет спешить переключать свой телевизор в пользу музыкального мусора... Память, особенно детская, отошлет к первому, лучшему впечатлению...

Каждый новый день Алексей и Вячеслав встречали и провожали с инструментами в руках... После концерта в Тымске, под вечер, очередной раз поработав над каприсом Паганини, Алексей подсел к Вячеславу. Не выпуская из рук гитару и аккордеон, традиционно Зимаков пил кофе, а Крестинин — чай... Мы с Андреем были больше расположены к созерцанию, чем к музыке, поэтому отправились на обрывистый берег тымской протоки. С высокого яра, украшенного реликтовым кедром, открывался вид на темное неподвижное зеркало старицы и гигантские заливные луга на другом, пологом берегу. На той стороне, в метрах пятистах от воды, пасся небольшой лошадиный табун. В полном безветрии застыла нарушаемая лишь орлиным криком таежная прохладная тишина уходящего лета.

Впервые в Тымске я вместе с сыном оказался с делегацией томских писателей в сентябре в начале 1990-х годов. Тымский кедр встретил нас небывалым урожаем орехов и бесчисленным беличьим поголовьем.

Встречала делегацию литераторов директор школы и один из ее учеников. Этаким Вовочка из анекдотов.

— Володя, пробеги по деревне. Скажи народу, чтоб в клуб шли. Писатели к нам приехали.

— Марья Ивановна, какие писатели! Они все давно умерли, — удивился непосредственный пятиклассник.

Где теперь этот Вова? На концерте той учительницы и ее ученика точно не было... Но зал клуба снова был переполнен.

— Завтра сводим наших гениев в кедр, — говорю Андрею.

Рассказываю, как собирали с сыном в нем шишки и как белки быстрее людей оказывались рядом со сбитыми ветром природными ореховыми контейнерами...

— Сейчас еще рано собирать, — замечает Андрей.

Знаю, что рано, но белки уже начали сбор ореха. Они безошибочно вычисляют созревшие шишки и легким прикосновением сбрасывают их с верхушек таежных гигантов на землю. Будет, что посмотреть...

Наш выход на природу закончился комически... Стояли и беседовали до того момента, пока пролетающий в вышине коршун не нагадил Чудакову на плечо куртки. Что сказал Андрей вслед улетающему «толкователю небес» я по известным причинам опущу. Утешал друга:

— Не расстраивайся... Радуйся тому, что так вышло... Вообще-то он в голову тебе целился...



По возвращении в клуб, где мы располагались на ночлег, загадал коллегам загадку:

— Стояли на берегу реки два музыканта... Пролетавший в небесах орел нагадил сверху на одного из них. Спрашивается: кого обверзал коршун, если у одного фамилия Максимов, а у другого — Чудаков?

«Верзать» на музыкальном жаргоне значит справлять естественную нужду. С удовольствием посмеялись перед сном. Народная примета утверждает, что пережившего такое происшествие человека ожидает увеличение доходов или карьерный рост. Крылатый толкователь не обманул...

Coda¹

— Пропадет он без меня, — говорил о сыне накануне своей кончины папа Алексея Виктор Зимаков.

Так оно и случилось... Сына ему пришлось воспитывать одному. Нельзя сказать, что Алексей вырос неприспособленным к жизни. Отец — бывший морской офицер — держал сына в ежовых рукавицах.

Если Андрея, Вячеслава и меня привели в музыкальные школы воспитывавшие нас без отцов мамы, то первой музыкальной школой для Алексея был его отец. В музыкальное училище будущий маэстро поступал, можно сказать, после домашнего обучения... Ситуация была похожей на историю юного Пабло Пикассо и его отца, академиком живописи. До 14 лет он позволял Пабло лишь дорисовывать лапки голубей на своих работах, а позже, после написанного сыном «Пикадора», заявил: «Учить тебя больше нечему...» Где-то в архивах томской ВГТРК хранится любопытная запись выступления замечательного дуэта — отца и сына, учителя и ученика. Невооруженным взглядом видно, что исполнительская техника Зимакова-младшего уже превосходит умения его отца. Это тот случай, когда партнер не только радуется за коллегу, но и гордится, что выступает с ним вместе на одной сцене.

По прошествии лет для меня очевидно, что трагедия могла не состояться, получи Алексей подобающее ему официальное признание. Несмотря на перечень необходимых для этого достижений, стать заслуженным артистом России ему было не суждено. Хотя в то время даже при меньших творческих свершениях будущие иноагенты из числа музыкантов становились заслуженными и народными артистами или даже кавалерами ордена «За заслуги перед Отечеством»...

Ситуацию усугубляли его жесткий характер и отношение к нему руководителей от культуры... С одной стороны, своими концертами он открывал сезоны во многих областных филармониях России. С другой — довольствовался выступлениями на томских второстепенных

¹ С *итал.* coda — «хвост, конец, шлейф». В музыке — дополнительный раздел, возможный в конце музыкального произведения и не принимающийся в расчет при определении его строения; пассаж заключительной части произведения. В жаргоне музыкантов coda — эмоционально неприятное окончание чего-либо.

площадках. Как чрезвычайно одаренный музыкант, он не нуждался в подпорках званиями и наградами, но это было нужно для психологической устойчивости. Душа у него, как это принято говорить, была не на месте. Как артист, Алексей был лишен эпатажности, чрезвычайно органичен как в жизни, так и на сцене. Никогда не задирал носа и не задавался, но при этом все окружающие невольно отмечали присутствие в нем чувства внутреннего достоинства.

В день похорон Леши после концерта ближе к вечеру возвращаемся в Томск из Новосибирска. Томск несколько часов назад уже простился с музыкантом-виртуозом. Наша троица его не успела даже помянуть... Андрей за рулем... Вячеслав трезвенник... Я не прикоснулся к спиртному, чтобы не смущать своих друзей-товарищей в дороге. Да и домой мне нужно было срочно... По внешним признакам мой кот Саня, тот самый, что некогда путался у меня под ногами и мешал разговаривать с Андреем, тоже надумал помириться... Почти всю дорогу молчим. Выясняется, что все трое вспоминаем наши гастрольные скитания. Но окрашенная грустными улыбками эта печаль светла...

Смерть Леши воспринимается как избавление от мук... Господь прибрал, в смысле, смилостивился... Несмотря на усилия врачей, после обморожения все его пальцы сохранить не удалось... Два уцелевших на обеих руках больших пальца позволили бы сносно существовать. После соответствующих операций и с помощью ультрасовременных протезов ему можно было бы приспособиться жить дальше... Но такие «возможности» замены живых музыкальных пальцев только усиливали депрессивное состояние маэстро. По большому счету, теперь понятно, что он был обречен...

«...Черт догадал меня родиться в России с душой и с талантом!» — восклицал А. С. Пушкин в письме супруге Наталье Николаевне. В случае с Алексеем еще хлеще... «Он сибиряк. Настырные они», — не без иронии пел Владимир Высоцкий... Вместо того, чтобы переехать в столицу, где только одни концертные перспективы совершенно несравнимы с провинциальными, Алексей не мыслил себя вне Томска.

Как и Андрей. Однажды я спросил у Чудакова:

— Ты почему в Москву или в Питер не перебрался? Ведь не раз приглашали...

— Мне только здесь комфортно, — ответил рыбак и охотник, подтверждая музыкантское присловье, что «альтист — это скрипач с темным прошлым».

Лично для меня лето и черноморское побережье Кавказа — любимые время и место отдыха, но с раем это не ассоциируется. За Вячеслава говорить не берусь, но Алексей неоднократно признавался, что и в столице, и за границей он будто задыхается... Зимаков всегда тосковал по родному Томску.

Три года после трагедии он тщетно пытался приспособиться к новым обстоятельствам. Его характер, и без того сложный, стал невыносимым. В общении со студентами его больше раздражало



не то, что они играют не столь хорошо, как бы ему хотелось, а то, что он не в состоянии показать, как следует играть...

Участие и внимание равнодушных людей он стал воспринимать как унижительную жалость. Единственный человек, к мнению которого он прислушивался до последнего, был Андрей. Сам Чудаков неоднократно сетовал на то, что Алексей ведет себя по отношению к самым первым друзьям «как последняя свинья»...

Особенно натерпелась Ольга Самохина, его единственный и бесценный аккомпаниатор. За день до своей кончины в своем блокнотике она сделала последнюю запись: «Завтра у нас с Лешей концерт»... и умерла.

Вернувшись из Новосибирска, я с котом в сумке отправился в ветеринарную клинику... После всех медицинских процедур три дня Саня лежал почти без движения. На четвертый с улицы я увидел его на подоконнике в окне квартиры. Было видно, что он что-то мяукает мне через стекло. Значит, жить будет...

С тех памятных дней минули годы. Мы с киской много чего пережили. Лето по-холостяцки проводили на природе. Кто-то ловил мышей и птичек... Недавно справили новоселье. Из окон лоджии на восьмом этаже кот-долгожитель отслеживает передвижения белок в сосновом бору, слушает стук дятла и молодецки реагирует на пролетающих мимо птичек. Душевная близость творит с близкими чудеса. Если повезет...



Народные мемуары

Марина ЧЕРНЫХ

ХАРЬКОВСКИЙ ДНЕВНИК — 2014

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забуть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый ответ в лицах есть.

А. Блок

Вместо вступления

Я родилась в городе Новая Каховка Херсонской области, где и прошло мое детство. Когда мне было десять лет, семья переехала в Донбасс, в город Славянск. Там я окончила школу, а затем поступила в Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. В Харькове встретила своего будущего мужа Андрея Черных. Будучи еще студентами, мы поженились и планировали после завершения учебы остаться жить и работать в Харькове. Но судьба сложилась иначе...

В основу очерка легли дневниковые записи 2014 года. Имена главных героев и некоторые факты их биографий изменены из этических соображений. Те части, в которых рассказывается о событиях в Славянске, записаны по рассказам моих родителей.

Декабрь 2013 — январь 2014 года, Харьков

Не сразу и не всем жителям Донбасса стало ясно, что события в Киеве зимой 2013—2014 года¹ приведут к распаду страны. Люди просто не принимали всерьез протесты на Майдане, хотя уже тогда многие факты вызывали подозрение.

В декабре 2013 года мы с мужем смотрели по ТВ выступление председателя политсовета Всеукраинского объединения «Батькивщина» Арсения Яценюка, обещавшего украинцам со сцены Майдана золотые горы в виде европейских пенсий и зарплат.

— Вместо европейских зарплат получим европейские налоги и европейскую коммуналку, — хмыкнул Андрей. — Но это неважно, ударит мороз покрепче, и они все разбегутся.

Я была с ним полностью согласна. Мы успешно сдали сессию, впереди были новогодние праздники и каникулы. Научный руководитель Андрея уже намекал, что возьмет его в аспирантуру. Впереди нас ожидали приятные хлопоты. Не хотелось задумываться о сомнительных политических играх.

Однако вскоре иллюзия благополучия исчезла. В Киеве совершился государственный переворот. По Западной Украине прокатилась волна захватов административных зданий сторонниками евроинтеграции, ведомыми националистами. При негласном попустительстве местных властей и СБУ они дрались с милицией, ломали исторические памятники и агрессивно продвигали свои идеи. Многие телеканалы и интернет-СМИ горячо одобряли протестующих против президента Виктора Януковича. Одновременно в восточных регионах Украины набирал силу Антимайдан.

23 февраля 2014 года, Харьков

В ночь на 23 февраля в Харькове майдановцы захватили городскую администрацию и пытались сломать памятник Ленину. Была потасовка. На стороне майдановцев выступили анархисты. Для меня было странно видеть их в одной толпе с националистами. Пока муж пошел посмотреть, что там происходит, я отправилась по магазинам — хотела сделать ему подарок к мужскому празднику.

Вечером мы отмечали День защитника Отечества. Супруг рассказал, что памятник Ленину «прогрессивные европейцы» облили краской. Недовольные этим горожане стали отмывать памятник. Когда Андрей подошел и предложил помочь, одна пожилая женщина протянула ему тряпку и ацетон.

¹ В ноябре 2013 года на Украине начались события, которые называют Евромайданом, или Майданом. В это время начались гражданские протесты против приостановки подписания Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В январе — феврале 2014 года они переросли в массовые акции неповиновения, переходившие в кровавые стычки между сторонниками и противниками Евромайдана, а позже и милицией.



Чтобы круглосуточно охранять монумент, вокруг памятника построили баррикаду. Еще Андрей узнал, что сторонники Майдана засели напротив памятника, в здании Харьковской областной государственной администрации, и забаррикадировались. Их костяк составляли приезжие, но там встречались и харьковчане.

В общем и целом я гордилась своим мужем, радовалась тому, что еще не перевелись разумные люди, и удивлялась, как можно не видеть очевидного: воинствующие борцы за евроинтеграцию Украины не только преступны, но и не очень умны.

24 февраля 2014 года, Харьков

На следующий день, перед началом занятий в университете, я решила сама посмотреть, что происходит на площади. Вокруг памятника была выстроена баррикада и дежурили крепкие мужчины средних лет в теплой одежде. По ночам еще держались морозы, поэтому защитники памятника Ленину в центре площади находились в невыгодном положении по сравнению со своими противниками, занявшими здание областной администрации.

В университете преподаватели — сторонники евроинтеграции и «новых порядков» — не скрывали своего торжества: один из них (с кафедры микологии — это наука о грибах) участвовал в захвате администрации и провел там ночь.

Мы с Андреем, а также наш однокурсник и друг Никита решили вместо третьей пары пойти на разведку. Центр огромной площади Свободы был занят не очень большим количеством пенсионеров, студентов и праздных зевак. Какой-то парень раздавал георгиевские ленточки. Женщины повязывали их на сумки, мужчины с гордостью прикалывали к груди. Баррикада была украшена самодельными лозунгами: «Памятник — не взяточник», «Русский язык — наш родной язык», «Харьков — не Киев», «Нет вандалам», «Оставьте историю нашим детям, ее вам не изменить», «Мы тоже народ Украины».

Спустя некоторое время мы снова пошли посмотреть, что происходит возле захваченного здания, и были удивлены. На этот раз баррикаду охраняли молодые парни в ярко-оранжевых касках, большинство с закрытыми лицами. Людей старшего возраста было мало. Место георгиевских ленточек заняли желто-голубые (цвета украинского государственного флага. — Ред.). Несколько пенсионеров — сторонниц Антимайдана — специально пришли увещевать «евроцентричную» молодежь. Дискуссия зашла в тупик, но народ с обеих сторон был настроен мирно.

Мы решили проникнуть внутрь здания администрации. Вход сторожили крепкие парни и мужчина средних лет — очевидно, их старший. Нас пропустили, предварительно попросив показать содержимое сумок. Обстановка за дверями напоминала бивак — в холле на столе разбросаны чайник, чашки, каски, бумаги. По стенам развешаны





лозунги и плакаты, которые я не разглядела. После того как нас молча изучили, к нашим парням подошел мужчина, очевидно один из командиров, и предложил им вступить в ряды «самообороны».

Путь в сердцевину здания был перекрыт турникетом. Я чувствовала себя неуютно. Мне казалось, что, если я выдам свое негативное отношение к Майдану, с нами сделают что-то плохое. К счастью, вскоре мы оттуда ушли. Настало время возвращаться на учебу.

1 марта 2014 года, Харьков

Еще за неделю до событий 1 марта (1 марта 2014 года Совет Федерации России одобрил обращение президента Владимира Путина и дал согласие на использование Вооруженных сил РФ на территории Украины. — *Ред.*) в сети разошлась информация о грядущем грандиозном митинге на площади Свободы. Ожидалось выступление мэра Харькова Геннадия Кернеса. Большинство горожан надеялось, что местные власти займут четкую позицию по отношению к двум враждующим лагерям.

Мы с Андреем хотели с утра прогуляться до центра города и узнать новости, но проспали и подошли к площади около полудня. Еще на подходе меня удивили тишина и спокойствие на улицах. Немногочисленные прохожие, в основном мамы с детьми или гуляющие подростки, ничем не нарушали обычной картины дня.

Подойдя поближе, мы услышали усиленные акустической аппаратурой звуки речи. Многократно отражаясь от окрестных зданий, они создавали какофонию, в которой было ничего невозможно разобрать. Весь центр огромной площади был заполнен людьми. Над митингом реяли российские флаги. Мы потолкались в толпе, пытаюсь разобраться в общественных настроениях. Вроде ничто не предвещало обострения ситуации, однако муж настоял, чтобы я вернулась домой. В феврале мы узнали, что ждем ребенка, и Андрей заботился, чтобы я не переутомлялась.

Я прошла мимо зоопарка и спустилась к супермаркету «Класс», чтобы прикупить печенья к чаю. Выйдя с пакетом, я от испуга выронила его: по направлению к площади мчались три машины скорой помощи с включенной сиреной и проблесковыми огнями. Беспокойство за супруга погнало меня назад. По пути я несколько раз пыталась дозвониться до Андрея, но он не отвечал.

Внезапно улица пустела. Навстречу мне бежала перепуганная женщина, кричавшая в телефон: «Ужас что происходит! Война началась!» Эти слова заставили меня ускорить шаг.

Обстановка на площади изменилась. Люди окружили баррикаду вокруг памятника Ленину. Они сомкнулись так плотно, что я не смогла подойти близко. С баррикады что-то выкрикивал невидимый из-за толпы оратор. Теперь аппаратуру почему-то отключили и не было никакой возможности разобрать его слова. Другой оратор пытался

руководить толпой со сцены, но никто не обращал на него внимания. Главные события происходили вокруг администрации. Я поняла, что здание было взято штурмом, и почувствовала тревогу: мой муж не из тех, кто во время таких событий будет стоять в стороне. Тут раздались крики:

— Ведут! Ведут!

— На колени! Бандерлогов на колени!

— Прочь из Харькова!

— Коридор позора! Устроим коридор позора! На колени бандерлогов!

Толпа расступилась и по образованному людьми «коридору позора» сотрудники милиции вывели помятых активистов Евромайдана. Те находились в довольно плачевном состоянии, некоторых почти несли. Мне было искренне жаль совсем юного паренька с окровавленной головой. По возрасту он мог быть школьником или студентом-первокурсником. Юноши такого возраста не могут предвидеть всех последствий своих поступков, им просто нравится играть в революционеров.

Люди вокруг были охвачены каким-то радостным и злым возбуждением. Некоторые окружили автомобили скорой помощи и милиции и требовали выдать евромайдановцев для расправы. Милиция подобные действия пресекала. Творилось что-то неопишное. Люди почувствовали свою власть, им хотелось действовать.

Когда в разбитом окне второго этажа администрации показался российский триколор, его появление было встречено аплодисментами и радостными криками. Немного позже рядом с ним повесили красный флаг.

Я пыталась поближе подобраться к зданию, а потом вернулась к баррикаде. Беспокойство за Андрея не оставляло меня, и я тщетно набирала его номер телефона. Внезапно он позвонил сам:

— Ты где?

— Возле баррикады, справа.

— Я сейчас подойду.

Издали я заметила в его руке оранжевую каску евромайдановца и догадалась, что Андрей принимал участие в штурме. Когда он подошел ближе, я испуганно вскрикнула — его правая рука была залита кровью. Я знала, что на баррикаде есть аптечка, окликнула ребят, стоявших там, и мне дали бинт. Мы отошли в сторону, чтобы без помех осмотреть рану. Тут к нам подскочила какая-то женщина. Она воскликнула:

— На баррикаде есть врач! Раненого нужно к доктору!

Дама потащила Андрея внутрь баррикады со словами: «Пропустите раненого!» Мне пришлось остаться снаружи. Вход контролировали два крепких парня, которые отгоняли любопытных и впускали «своих». Один из них принялся раздавать георгиевские ленточки, и я взяла для нас две. Стояла невообразимая суматоха, меня толкали, парень из оцепления шутил, успокаивал напугавших женщин





и обсуждал с ними последние слухи. Через полчаса вернулся перевязанный Андрей. У него оказался сильный порез руки.

Мы уже почти выбрались из толпы, когда низко над городом пролетели два военных самолета. Их встретили аплодисментами и радостными криками: «Наши идут! Россия придет!» Наверное, в душе каждого присутствовавшего на площади всколыхнулась надежда на спасительное вмешательство России. Почву для таких ожиданий давали стремительно развивающиеся события в Крыму.

Как поведал Андрей, штурм начался после того, как кто-то из евромайdanовцев распылил на сотрудников правопорядка газовый баллончик. Тогда милиционеры перестали сдерживать толпу и люди снесли баррикады, выбили в здании областной администрации двери и окна. Внутрь полетели дымовые шашки. Андрей стоял в стороне рядом с группой мужчин. К ним подошел милиционер и сообщил, что майdanовцы убегают через выход с другой стороны здания. Супруг вместе с другими добровольцами побежал, чтобы перехватить их. Во внутреннем дворе возле служебного входа валялись брошенные оранжевые каски и была выворочена брусчатка — видно, оппоненты готовились к штурму. Обнаружив, что задняя дверь заложена изнутри, нападающие стали выбивать окна. Влезая в разбитое окно, Андрей и порезал руку.

Мужчины бросились обыскивать здание. Андрей и еще несколько антимайdanовцев спустились в подвал. Одна дверь там была заперта, но за ней горел свет. Взлом показал, что за дверью никого нет, а потом штурм кончился...

После такого насыщенного событиями дня я как-то резко ощутила усталость и тяжесть сумки с покупками. По дороге домой нам пришлось пробиваться через плотный человеческий поток, текущий с площади. Противники Евромайdanа шли освобождать здание клуба «Оплот», захваченное их оппонентами накануне.

Чуть позже я смотрела любительское видео из освобожденного клуба: сломанная мебель, разрисованные стены, испорченная карта СССР. В здании не осталось ничего целого, как будто там побывали не люди, а какие-то бандерлоги. Моя неприязнь к Майдану росла как на дрожжах.

Март 2014 года, Харьков

В марте ситуация в Харькове оставалась зыбкой и неопределенной. После успешного штурма активисты Антимайdanа добровольно очистили областную администрацию. Неделю здание оставалось «ничейным». Потом его снова заняли антимайdanовцы, провозгласившие Харьковскую народную республику.

Мое отношение к этим событиям было неоднозначным. С одной стороны, я сочувствовала новообразованной республике, а Майдан надел хуже горькой редьки. С другой стороны, здравый смысл говорил,

что такими действиями добиться успеха нельзя. Все происходившее напоминало эпизод из трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам», когда анархисты пытались захватить власть в Москве. Даже мне, человеку неискушенному в тактике, было понятно, что просто занять здание областной администрации для удержания контроля над городом недостаточно.

Больше мы в этом «хождении» не участвовали. Андрей простудился и заболел. О штурме здания администрации силами милиции и аресте активистов Антимайдана мы узнали из интернет-новостей. Как бы ни хотелось отрицать очевидное, попытка провозглашения Харьковской народной республики потерпела поражение.

Некоторое время администрацию круглосуточно охраняли спецназовцы в полной экипировке: со щитами, дубинками, в бронежилетах и касках. Что случилось с памятником В. И. Ленину, спросите вы? В один из теплых дней начала апреля баррикада вокруг монумента и люди, дежурившие там, тихо исчезли. О памятнике на время забыли (памятник Ленину в Харькове был разрушен украинскими националистами 28 сентября 2014 года).

Апрель 2014 года, Харьков

В середине апреля к нам в гости приехали мои мама и папа. Они подарили кроватку для будущего малыша, помогли переставить мебель в квартире. Весь день прошел в семейных хлопотах, не было времени даже посмотреть новости. Вечером позвонил наш знакомый и тревожным голосом поинтересовался, что происходит в Славянске. Андрей зашел в интернет, и мы узнали, что народ, недовольный новой киевской властью, захватил здание управления МВД, у протестующих есть оружие, а в городе возводятся баррикады и блокпосты. В те же дни мы впервые услышали имена лидеров пророссийской оппозиции Славянска Игоря Стрелкова и Вячеслава Пономарева.

Май 2014 года, Славянск

До начала мая в Донбассе еще сохранялась надежда на мирный исход событий. Никто не воспринимал всерьез угрозу войны.

День 1 мая прошел спокойно. Я созвонилась с родителями, мы поздравили друг друга с праздником. Мама с папой гуляли в парке и ели мороженое. Переломной датой стало 2 мая. В 4:30 утра (почти как на западе СССР 22 июня 1941 года!) город подвергся обстрелу со стороны авиации ВСУ. Отец все равно собирался идти на работу, но ему позвонил начальник и велел оставаться дома.

Ситуация развивалась от плохого к худшему. В тот же день в Одессе фашиствующие активисты Евромайдана живьем жгли своих противников, запертых в Доме профсоюзов. Тех, кто сумел выбраться





из горящего здания, забивали насмерть на месте. Немногие уцелевшие от расправы были арестованы по надуманным обвинениям. По официальной версии, активисты Антимайдана якобы сами подожгли Дом профсоюзов. Приверженцы Евромайдана не скрывали животную радость по поводу этой кровавой драмы. На интернет-странице харьковского Евромайдана были размещены веселые комиксы про «угарную вечеринку колорадов» и видео, на котором толпа националистов превзошла все пределы жестокости, а от торжествующих комментариев к их зверствам пробирал озноб. В этот день все несогласные с киевским режимом содрогнулись от гнева и бессилия.

Несмотря на начавшиеся обстрелы, мои родители и наши знакомые в Славянске сохраняли спокойствие. В начале мая все желающие могли без особых препятствий покинуть город. Однако большинство жителей питали иллюзии по поводу мирного урегулирования конфликта. Первые посланные в Славянск украинские солдаты воевать не захотели и даже отдали ополченцам два БТР. Жители окраин выходили на дороги, чтобы своими телами остановить боевую технику ВСУ. Ополченцы надеялись, что, когда дойдет до прямого столкновения с войсками, будет достаточно жечь покрышки и бросать камни, как это было в Киеве. Но этим надеждам не было суждено сбыться.

11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях состоялся референдум о самоопределении (отделении от Украины). Родители пришли на избирательный участок рано, но им все равно пришлось стоять в очереди. Все наши соседи и знакомые в те дни поддерживали создание Донецкой народной республики. Несмотря на продолжающиеся военные действия, настроение у жителей Донбасса было бодрое. Многие шутили, что Славянск станет столицей ДНР.

Также была сильна надежда на заступничество России. Ожидалось, что президент РФ Владимир Путин введет в Донбасс миротворческий контингент и война тут же прекратится. Украине образца 2014 года было не по силам воевать с регулярной армией России. Однако 25 мая положение ополченцев сильно ухудшилось. Они потеряли выгодную стратегическую позицию — гору Карачун. Славянск находится в низине и виден с этой горы как на ладони. Украинские войска подтянули туда артиллерию и начали непрерывные обстрелы города.

В результате массивной бомбардировки перестал работать водопровод, некоторые районы остались без электричества. Родителям приходилось ходить к соседям просить воду — в нашем колодце вода была ржавая, перенасыщенная железом. Поскольку банки закрылись еще в начале мая, появился дефицит наличных денег. Чтобы купить продукты, родители ездили в центр города или в микрорайон Артема. Там сохранилось электричество и в супермаркетах можно было расплатиться банковской картой. Покупали продукты длительного хранения, иногда немного мяса и корм для кошки. С огородом в этом году по понятным причинам возиться не стали.



В первые дни во время обстрелов в припаркованных по городу машинах срабатывала сигнализация, а в церквях начинали звонить в колокола. Однако спасения это не приносило — артобстрелы начинались внезапно и у застигнутых врасплох людей не хватало времени спрятаться.

Район, где проживали мои родители, основной целью артобстрелов не являлся, там не было важных стратегических объектов. Но 30 мая и на нашей улице взорвался снаряд. В результате пожилой мужчина погиб на месте, еще пять человек получили ранения. Один из осколков попал в сливу возле нашего дома, другие испортили крышу. В крепости дома мы не сомневались: дом с каменными стенами метровой толщины выстоял в Великую Отечественную войну. Прямого попадания могла не выдержать крыша. Не говоря о том, что маме и папе было необходимо выходить за продуктами или чтобы позвонить. Еще в середине мая возникли перебои со связью. Чтобы поговорить по телефону, родителям приходилось выходить на открытое место, где проходили заброшенные железнодорожные пути. После отключения электричества мама стала экономить заряд телефона, включая его только для звонков.

Началось повальное бегство жителей. Многие люди уходили, оставляя жилье, вещи и домашних животных. Улицы заполнили брошенные голодные собаки и кошки...

9 мая 2014 года, Харьков

Перед 9 мая в Харьков привезли бойцов бывшего «Беркута»². Среди них был один мой знакомый. Зимой он участвовал в противодействии Майдану в Киеве. После смены власти «беркутовцев» уволили, затем приняли обратно, но уже в новую структуру. А сейчас прислали в Харьков для подавления возможных беспорядков.

Утром 9 мая мы с Андреем отправились в центр города. День был ясный и солнечный. Подойдя к площади, мы увидели, как группа рабочих разбирает сцену. Городские власти решили не проводить концерт по случаю «неполиткорректного» праздника — Дня Победы. Также были отменены традиционный парад и выставка военной техники.

Дойдя до парка Шевченко, мы отметили, что посетителей не больше, чем в обычный выходной. Чуть поодаль находилась группа празднично одетых и ждущих торжественного шествия людей. Вскоре показалась колонна демонстрантов. Заиграл духовой оркестр. Мы шагали вместе со всеми. Люди несли огромную георгиевскую ленту и красные флаги. Во главе колонны со знаменами Победы шествовали ветераны войны.

² «Беркут» — подразделения милиции специального назначения при территориальных управлениях Министерства внутренних дел Украины, существовавшие с 1992 по 2014 год.



У памятника Ленину прошел митинг. Звучали давно знакомые лозунги: «Харьков — русский город!», «Одессу не простим!». Затем участники митинга прошли по проспекту Ленина до станции метро «23 Августа» к памятнику Воину-освободителю. Путь был неблизкий — три станции метро, поэтому до конца дошло не больше половины демонстрантов.

Несмотря на флаги, ленты и оркестр, мы с Андреем в тот день окончательно уверились, что проект Харьковской народной республики провалился. Просто недовольным дали покричать и покрасоваться в последний раз.

Вечером я связалась с родителями. У них все было более торжественно — в центре города прошел парад с участием БТР, которые солдаты передали ополченцам. На боевых машинах катали детей, а люди бросали защитникам цветы...

Июнь — июль 2014 года, Славянск

В последние дни осады жизнь в Славянске стала невыносимой. Обстрелы начинались ежедневно в три-четыре часа утра. Люди были лишены возможности выспаться. Присылаемая в город гуманитарная помощь была скудна, и ее на всех не хватало. За первые недели лета родители два раза получали крупы, макароны и сахар. Семьям с детьми досталось немного мяса.

Стало очевидно, что после потери горы Карачун ополченцам армию Украины не сдержать. Сдача Славянска была вопросом времени. В конце июня во время перемирия украинские военные также подтянули на позиции крупнокалиберные орудия. Город сотрясала агония.

Ополченцы оставили Славянск 5 июля. Они отошли почти до Донецка, забрав с собой все оружие. Украинская армия не предпринимала попыток их задержать. Поползли слухи, что Игорь Стрелков договорился с украинским командованием. Многие обвиняли его в предательстве.

А 6 июля украинские войска вышли на окраины Славянска. Несколько дней в городе царил хаос и мародерство. Грабили не только украинские солдаты, но и активизировавшиеся уголовники. Стало опасно выходить из дома. Разгулявшиеся укросолдаты цеплялись к прохожим, заставляли их кричать «Слава Украине!». Как-то отец, выйдя за покупками, столкнулся с боевой машиной ВСУ, из которой нарочито целились в прохожих из пулемета.

Осень 2014 года, Харьков

После окончания университета Андрей стал все чаще заговаривать о переезде в Россию. Он не поступил в аспирантуру, так как поссорился со своим научным руководителем. Профессор, человек известный в научных кругах, высказал мнение, что жители Донбасса сами виноваты в постигшей их печальной участи: в них не оказалось украинского национального самосознания. Андрей не сдержался и нагрубил наставнику.

Изначально я была против переезда. Мне не хотелось бросать Родину, менять привычный уклад жизни, расставаться с друзьями и близкими. Но надо было думать о своем будущем и о ребенке, родившемся в сентябре 2014 года. Мы с Андреем не желали, чтобы сына учили в школе кричать «Москалів на ножі», не хотели молча наблюдать за развалом страны...

В итоге в октябре 2014 года мы втроем сели на поезд Харьков — Москва и отправились навстречу новой жизни...

Послесловие. Ноябрь 2023 года, Курск

Сейчас мы с Андреем живем в городе Курске. Мы получили гражданство России, устроились на работу, взяли в ипотеку квартиру. Сын пошел в детский сад, а потом в школу. Мы — благополучная среднестатистическая семья.

Мои родители остались в Славянске. Они не захотели покидать родной дом. До начала пандемии коронавируса они каждый год приезжали к нам в гости. Почти ежедневно мы общаемся через интернет.

До сих пор оккупированный СБУ Славянск так до конца и не оправился от последствий войны. С 2014 по 2022 год закрылись все крупные заводы. Захирело производство посуды, которой издавна славился город. Санатории Славянского курорта (лечебный курорт и региональный ландшафтный парк возле города Славянск в оккупированной части Донецкой народной республики. — *Ред.*) заняли украинские военные. Те, кто не смог смириться с происходящим, уехали.

Большинство оставшихся жителей демонстративно поддерживают проукраинскую позицию. Кто-то разочаровался, кто-то подпал под влияние националистической пропаганды или скрывает свои убеждения, чтобы не попасть в лапы СБУ.

Начало российской Специальной военной операции 24 февраля 2022 года родители встретили спокойно, даже радостно. «Наконец-то будем в одной стране!» — одобрительно сказал мне отец. Они строили планы, как приедут к нам праздновать 9 Мая, а потом возьмут к себе внука на лето. Когда стало ясно, что боевые действия затянутся, родители не потеряли бодрости духа и сумели



приспособиться к новым условиям. Мы остаемся на связи и продолжаем надеяться на лучшее.

После переезда в Россию в 2014 году я забросила свой дневник. Тогда не все в нашей жизни шло гладко, были свои трудности, приходилось много работать и учиться. Возникавшие в связи с этим проблемы были решаемыми, обыденными, и мне казалось, что об этом не стоит писать. Но осенью 2022 года я слушала интервью политолога Семена Уралова, который рассказывал о когнитивных войнах — технологиях сведения с ума. Чтобы противостоять давлению на психику, он советовал вести дневник. Идея показалась мне разумной, и я возобновила записи.

Возможно, спустя какое-то время я смогу рассказать новые истории о жизни в курском «приграничье» и дописать для своих «Записок» счастливый конец. Верю, что когда-то смогу вернуться на свою несчастную Родину и помочь ей. А если для этого пригодятся мои скромные способности, буду счастлива повторить слова основателя Харьковского университета Василия Назаровича Каразина: «Блажен уже стократно, если случай поставил меня в возможность сделать малейшее добро любезной моей Украине, которой пользы столь тесно связаны с пользами исполинской России»³.

³ Цитата была выгравирована на памятнике В. Н. Каразину в Харькове, открытом в 1907 году и представляющем историческую и культурную ценность. В настоящее время цитата с упоминанием России ликвидирована.

Валерий ИВАНЧЕНКО

БУДУЩЕЕ В ГОЛОВАХ

Типология заказного рассказа

Два тематических сборника, выйдя в разных издательствах с разницей в год, имеют одинаковый формат, объем (в каждом по тринадцать рассказов), похожее оформление и даже некоторых общих авторов¹. Главное же, их объединяет одна идея: популярным современным прозаикам предложено изобразить свою версию будущего.

Да, концепции несколько отличаются. Первая книга уже в заглавии обещает пессимистический взгляд в тревожное завтра. В предисловии второй составитель объясняет, что представления о грядущем все время меняются, нынче мы его видим не так, как вчера, и очень интересно увидеть наиновейшие версии. Но, несмотря на предувещания, различия в содержании сборников минимальны. Их авторы не спешат буквально следовать техническому заданию. В антиутопиях немало оптимистического, а новые взгляды и подходы перемежаются самыми что ни на есть традиционными и замшелыми. Да и типовой набор подходов в обоих сборниках одинаковый. Одни авторы отделяются необязательными юморесками и наскоро придуманными сюжетными зарисовками, другие ищут что-нибудь подходящее в своих закромах, третьи напрягаются и пробуют со всей ответственностью выполнить требования заказчика, выдавая штучный товар.

Оригинальнее всех поступил Андрей Рубанов, сочинив научно-фантастический очерк «Выход в деньги», стилизованный под историческое исследование (именно им открывается сборник «Время вышло»). Вспомнив финансовые увлечения молодости, Рубанов решил придумать новую экономику и начал с изложения биографии математика Иванова, родившегося в 2006 году в Горно-Алтайске и предсказавшего войну искусственных интеллектов, разразившуюся в 2033 году. Война длилась три секунды, за которые ведущие ИИ мировых держав уничтожили друг друга, стерев заодно абсолютно все цифровые базы данных планеты. Тут-то и пригодилась концепция «умных денег», которую Иванов разработал еще в конце 20-х годов. Запущенная после войны мировая

¹ Время вышло. Современная русская антиутопия [рассказы]. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022. — 280 с. и Новое будущее / составитель Сергей Шикарев. — Москва: Эксмо, 2023. — 352 с.



валюта под названием «азио» получила собственный электронный разум, а главное — она обнулялась в конце каждого года, а значит, до первого января все накопления необходимо потратить. К тому же такие деньги невозможно украсть. Далее автор скупыми чертами рисует процветание нового мира, управляемого мыслящими деньгами, девизом которого стали слова Василия Шукшина: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым».

Следующими в сборнике стоят рассказы Сергея Шаргунова и Германа Садулаева, контрастирующие с изящной работой Рубанова некоторой прямолинейностью. У Шаргунова мир поразила эпидемия ускоренного старения, двадцать пять лет — уже глубокая старость. Результатом стала нарастающая анархия и человеческое озверение. Редкие долгожители вызывают у людей-бабочек ненависть. Автор раскрывает все эти моменты в короткой семейной сцене, написанной в его обычной манере.

Рассказ Садулаева тоже характерен для автора — речь в нем идет о революции. Примечательно, что центральной фигурой будущего восстания масс стал советский писатель Самохин. По Садулаеву, жил он не в Новосибирске, а в Красноярске, и звали его не Николаем, а Костей, но в остальном биография та же, включая обстоятельства смерти. В новом веке творчество Самохина запрещено, и вокруг него сложился тайный культ, возникло подпольное движение, возглавляемое внучкой писателя. («Саммохин» переводится с санскрита как «собирающий иллюзии», — объясняет внучка неопиту. — Я наследница, во мне дух и тело Самохина.) Нельзя не вспомнить елизаровского «Библиотекаря», хотя механизм действия советских книг здесь описывается туманнее. Дескать, в каждом тексте автора есть «двойное дно». «Мир шит белыми нитками... Но есть другое. И нам надо туда». «Истинный марксист Самохин провозгласил, что жизнь пролетария в майя-сансаре не имеет никакой цены». В финале повстанцы уничтожают Москву ракетным залпом. Автор ясно и даже самопародийно виден в этом легко написанном, вдохновенном рассказе — со всем его садулаевским коммунизмом, ведантизмом, нонконформизмом.

Эдуард Веркин отметил в обоих сборниках и в обоих случаях показал себя перфекционистом, точно выполняя заказ. Просили антиутопию — получите. Описываемый мир полон впечатляющих деталей и крайне неприятен, это мир социальной сегрегации и массовой безработицы. Персонаж рассказа имеет неплохо оплачиваемую должность, о сути которой до срока умалчивается, но, как и все, он подвергается ежедневным мучениям по дороге на службу и обратно. Чтобы спуститься по обледенелым ступенькам, надо нанимать помощника-лестничного, чтобы пробиться сквозь толпу на вокзал и не быть задавленным — платить трем проводникам в специальном снаряжении (старшине-кольщику, олежке и кормачу). Одно только описание путешествия через привокзальную площадь занимает несколько страниц. В конце концов, выясняется, что работа персонажа — развлекать домашних питомцев в домах богатых господ. Играть им на рояле, стойчески переносить

раны от их зубов и когтей, терпеть придирки старшей прислуги. Рассказ чрезвычайно подробен, мастерски написан, читать его мучительно. Совершенно ясно, что Веркин испытывал еще большие страдания, совершая этот немного бессмысленный, но очевидный авторский подвиг на пятьдесят пять страниц.

Александр Иличевский представлен бессюжетным лирическим этюдом, выполненным в самой типической для него манере тонкого интеллектуала-космополита. Ради соответствия предъявленным условиям он предварил свою акварельную безделицу беглым обзором проходящих времен: «в сущности, вокруг процветали посильное рабство и эластичный тоталитаризм». Есть и никак не влияющее на сюжет допущение — персонаж сдал часть мощностей своего мозга в аренду вычислительной корпорации. Подобные мотивы не редкость для этого автора-математика.

Самым ловким образом вышел из положения Александр Снегирев. Его четырехстраничная миниатюра рассказывает о бывшей провинциальной жительнице, приноровившейся гноить на московском балконе компост, выращивать помидоры и лук. Поначалу ее сын страдает от заполонивших квартиру банок с соленьями, но скоро ему объясняют, что мать — человек будущего, проводник современных экологических веяний. Нельзя не отметить автора специальным призом за сообразительность и лаконизм.

Александр Пелевин (по прозвищу Младший) известен стремлением изображать из себя серьезного писателя и даже преуспел в этом деле три года назад, получив последнюю в истории премию «Национальный бестселлер». Однако в сборнике «Время вышло» он выступил в самом естественном для себя амплуа комика, выдав веселый абсурдистский прогон, из тех, что подвыпившие мастера КВН могут гнать бесконечно. Получилось довольно гладко (его романы сделаны куда топорнее). В тексте есть порабощение Земли неведомыми пришельцами, агенты разумных грибов и персонаж по фамилии Енотов, решающий вопрос «Тварь я дрожащая или право имею?». Есть дежурное издевательство над бардами и уничтожение планеты Жирными Котами (подлинными хозяевами нашего сегмента Галактики). Это забавное чтение, и надо отметить, что сам автор вне игры с амбициями кажется симпатичнее.

Алексей Сальников, как и Веркин, участвует в обоих проектах и открывает в каждом из них неожиданную грань таланта. Если свои четыре романа он писал в основном скучновато, без огонька, то здесь вдруг оборачивается автором остроумным, умеющим зажечь не на шутку. Его «Кадрили» из сборника антиутопий — это разнузданный микст зощенковского фельетона, футурологии Пелевина-старшего и пародии на обзоры журнала «Афиша». Рассказано там о перипетиях судьбы видного блогера и деятеля сериалостроения, отвечающего за соответствие продукции ветреной моде. («Кадрили» — это и есть сериалы будущего.) Уследить, а главное — предсказать, что будет пользоваться успехом у зрителей, — дело нелегкое. Сегодня все угорают по вампирам, завтра по динозаврам,





послезавтра — по маньякам. После ряда профессиональных провалов персонажу пришлось записаться в неблагонадежные граждане, и вот там-то удача ему поперла. Сумел показать себя довольно мощным бунтовщиком, получил от властей статус иконы бунта. «Спасибки, — говорит он, — не ожидал, что так выгодно побунтую».

Зато Дмитрию Захарову удивлять читателя нечем, он антиутопии пишет всю свою писательскую жизнь и другого ничего не умеет. В рассказе «Сучий потрох» — о жизни криминальных корреспондентов — все та же его извечная злоба на окружающую действительность и тот же корявый, невозможный язык, должный обозначать вроде бы профессиональный жаргон: «опера бабятся, источники ссутся даже под эмбарго, в общем, ... плюшевая». Фабула рассказа придумана без затей. На этот раз мерзость российской власти дошла до запрета крупных собак, которых разрешено изымать у хозяев и уничтожать неким общественникам. Разумеется, есть и движение сопротивления, которое уже самих этих общественников показательно потрошит. Что ж. Особенность мировоззрения автора состоит в том, что он не имеет никакого представления о реальном устройстве гражданского общества страны проживания, но зато свято верит в собственные фантазии и безумные заблуждения своего круга.

Писатель Ксения Букша, еще, кажется, не объявленная официально иноагентом, но делающая для этого все возможное, поступила и на сей раз как смогла экстремально — сочинила бессмысленный, но легко читаемый текст на гуманные восемь страниц. Это как бы выдержки из сюрреалистических инструкций безумного бюрократа, начинающиеся с пункта «гаджетом считается все, у чего есть хотя бы тачскрин, за исключением человека с тачскрином на лбу» и заканчивающиеся утверждением «молоко не является гаджетом, молоко имеет смысл».

Вадим Панов выступает в этом сборнике от лица конвенциональных форматных фантастов, однако, сознавая ответственность миссии представлять цех в именитой компании, постарался выбрать из своих заготовок самую неформатную и сложно устроенную. Мы видим мир, обозримая территория которого поделена между всемогущими богами, своей волей и мановением рук управляющими как физическими стихиями, так и безропотными подданными. Сюжет в том, что невесть откуда появляется неподвластное им существо в образе девушки. Позже читатель начинает догадываться, что боги — это достигшие бессмертия и овладевшие нанотехнологиями олигархи прошлого. Рассказ сделан по-восточному пафосно, цветисто, он льстит читателю, позволяя тому проявить проницательность. Правда, в конце выясняется, что девушка-то и есть настоящий бог, время от времени лично убивающий самозванцев. Неожиданный ход, что и говорить.

Два последних текста написаны авторами с активной политической позицией и сходны двумя свойствами: лишенной индивидуальных черт профессиональной гладкописью и resentmentом в отношении отечественного жизнеустройства. Оба текста гротескны,

но глубиной и смелостью различаются. Алиса Ганиева ничего нового не рассказывает — ее фельетон о тотальном контроле человека обязательными соцсетями получился плоским, хохмы и преувеличения лежат на поверхности. Даже финал, в котором персонажу отказано в регистрации и росгвардейцы тащат его в кутузку, выходит банальным — такое возможно сегодня в любой стране мира, причем в нашей в последнюю очередь. Другое дело — рассказ Дениса Драгунского, сюжет которого не столь зауряден. Драгунский не выступает против несменяемости власти и не зовет к переменам, он считает, что в России всегда будет только хуже. Новая Честная Власть, свергнув Антинародный режим, люстрирует всех, кто ему служил, — кого вешает, кого бросает в лагерь, а самых безобидных ссылает в глушь на СЖ (вести Скромную Жизнь). В глуши же вообще никакой власти нет. Там местные жители вместе с ссыльными предаются грабежам и насилию.

Итак, подведем итоги. В тринадцати рассказах сборника мы находим: одну экономическую утопию (Рубанов), две социальные антиутопии (Шаргунов, Садулаев), два сатирических предупреждения, доводящих до предела некие наблюдаемые тенденции (Веркин и Сальников), один рассказ в жанре фэнтези (Панов), три признания в ненависти к устройству страны (Захаров, Ганиева, Драгунский) и несколько самопрезентаций, ни на что большее не претендующих (Иличевский, Снегирев, Пелевин и Букша). Таков расклад среди писателей, представляющих сегодня мейнстрим.

Сборник «Новое будущее» отличается тем, что его авторы менее склонны подчеркивать свою уникальность и больше расположены к развитию фантастических допущений (то есть не новички в жанре). Последнее обстоятельство приводит к тому, что некоторые даже не стремятся наладить контакт с широким читателем, обращаясь к специально воспитанной для их понимания аудитории. Еще одна особенность сборника — авторов легко разделить на поколения, не только по возрасту, но и по качеству полученного результата. Молодые пишут старательно, а читать их трудно из-за сложности формы, обусловленной стремлением произвести впечатление, скрыть неискушенность в писательском деле, и главное — неясно, зачем их читать, ведь за путаной формой скрыто примитивное содержание. Им нечего нам сказать, они сами с собой, друг с другом, делятся какими-то только их собственному кругу интересными открытиями. Для опытных читателей их творчество представляется наивным, их находки — туманными и по большому счету бессмысленными. Другое дело — старики. Они могут работать «на отвяжись», производить халтуру, но из текстов хотя бы понятно, как и зачем они сделаны.

Начнем с молодежи. Вот рассказ Артема Хлебникова, устроенный в виде сообщений некоего интернет-чата, посвященного японской поп-музыке 80-х годов. Участники рассказывают, как на них буквально физически действует некая таинственная песня, а потом один за другим навсегда покидают чат. Здесь не сложно увидеть современную





модификацию японо-американской франшизы «Звонок». А вот рассказ Ольги Брейнингер — эзотерическая дневниковая переключка двух подруг по переписке. В глубинах тайного интернета они пытаются найти легендарную точку, в которой «смерть отменит жизнь, а жизнь будет бесконечно отменять смерть». «Настя существовала в мире и не существовала, была здесь и нигде, была человек и была мысль...» Ну детский сад ведь, подготовительная группа. Но это такой особенный жанр — о тайнах сети, называется «крипипаста», молодым нравится. Литература будущего, говорят.

Другая молодежная крайность — подражание разным случайно подсмотренным образцам жанра, которые нетронутый культурой ум принимает за нечто восхитительно новое. Длинный рассказ Константина Куприянова «День Рэндала» представляет собой мешанину нуара, постапокалипсиса, психоделики и научно-фантастических идей эпохи, самое позднее, 90-х годов. Ладно бы автор проявил какое-то остроумие, но он пишет нудно, тяжело и вряд ли сам до конца понимает, что происходит в его творении. После него с удовольствием читаешь даже мрачное произведение Дениса Дробышева «Будь ты проклят, Марс!», которое тоже насквозь вторично, но хотя бы ясно по форме и содержанию. В нем жителям России, прозябающим в ужасных условиях, обещают за особые заслуги переселение на цветущий Марс. Однако никакого Марса нет, а «переселенцев» просто потихоньку утилизируют.

Лучшим рассказом сборника в номинации «подражание образцам» следует назвать текст «На грани» авторства Сергея Жигарева. Это герметический детектив с регулярно убывающими персонажами в антураже марсианской станции. Он наполнен грамотными отсылками к первоисточникам и недурно написан.

К условно молодым авторам можно отнести Рагима Джафарова, лауреата премии «Новые горизонты» 2021 года. Его «Освобождение» рассказывает о мире без смерти. Умирать здесь запрещено, тебя воскресят при любых увечьях, поэтому вместо религии у бессмертных психотерапия. Говорить о праве человека на смерть — государственное преступление, но тайной наградой для самых достойных служит капсула с ядом. Джафаров имеет репутацию человека, разбирающегося в психологии, но его уверенно написанный (хотя и скучноватый в силу своей предсказуемости) текст совсем не убеждает в психологических компетенциях автора. Очень уж он облегчает себе работу, слишком уж недалеко его персонажи.

Какие представления о будущем открывают нам эти молодежные тексты? О том, что скоро даже смерти не будет, одна психотерапия. Или о том, что будет один сплошной интернет. Что все станет так, как написано в старых фантастических книгах. Или о том, что Россия — очень плохая страна. Ничего не скажешь, поразительные открытия.

Творчество стариков в «Новом времени» включает в себя как старые заготовки, так и новые хохмы, есть в нем и движение по легкому пути, и решение сложных задач, но представления о грядущем у ветеранов куда сложнее и парадоксальнее, нежели у молодых.

Персонаж Олега Овчинникова попадает в руки дельцов, гарантирующих моментальное излечение от пристрастия к алкоголю. Они дают своим клиентам попробовать некий настолько прочищающий мозги напиток, что больше уже ничего не хочется, кроме как глотнуть его еще раз. Но вкусить снова можно только через год, да и то — если год не будешь бухать, соберешь денег и приведешь новых клиентов. То есть будущее за препаратами и сетевым маркетингом.

У Белоброва-Попова Луну превратили в свалку, куда вывозят мусор со всей Земли. Потерпевший аварию космонавт-мусоровоз бродит по этой свалке и знакомится с лунными бомжами, которые оказываются борцами за справедливость. Они принимают мусорщика в свою тайную организацию и теперь он отвозит мусор обратно на Землю. Значит, в будущем будет такой же идиотизм, как сейчас, только космический.

Вообще старики-фантасты склонны саркастически брюзжать и доказывать, что новые веяния не доведут до добра. В рассказе Михаила Гаёхо люди подчинены навигаторам в телефонах, те не только подсказывают дорогу, но и командуют всеми жизненными отправлениями. Впрочем, они только часть машинного интеллекта, который сам со всем на планете прекрасно справляется, но у него еще есть задача чем-то занять людей, чтобы не чувствовали себя лишними.

Обращенность в прошлое и недоверие к будущему особенно ясно видны у Владимира Березина, изобразившего альтернативно-исторический мир, в котором Россия — католическая страна с латинским алфавитом. Герои-школьники расследуют тайны и недомолвки взрослых и открывают, что так было не всегда, что прошлое переписано.

Какими бы дурацкими ни выглядели их фабулы в пересказе, но «стариковские рассказы» (самый молодой автор Олег Овчинников только разменял шестой десяток) имеют в моих глазах огромное преимущество: они душевно написаны, то есть опираются на массив лично пережитого и осмысленного многими. Не знаю, ценит ли такое качество молодежь, гоняющаяся за оригинальностью.

Наиболее ответственно подошел к решению задачи Шамиль Идиатуллин. Он придумал будущее, какое никому еще в голову не приходило. Рассказ ведется от лица подростка, который очень и очень занят, так как управляет массой логистически сложных процессов, исправляя в режиме цейтнота возникающие факаты, и скоро выясняется, что его деятельность не компьютерная игра, а реальная производственная и хозяйственная работа. Притом рассказчик повторяет, что работа эта последняя, и скоро он навсегда выйдет в отставку, потому что ему уже скоро шестнадцать. Фабула не связана с ускоренным старением (как у Шаргунова), просто в мире Идиатуллина взрослых не подпускают ни к чему сложнее бытовых приборов, их удел — радоваться жизни и развлекаться. Идея кажется абсурдной, но автор обосновывает ее жизнеспособность как может, а поскольку производственная проза — его конек, в целом получается убедительно. Да, служить обществу здесь положено в юности, пока не заостенели мозги, а дальше — делай что хочешь, только не мешай





трудящейся молодежи. Автор даже находит место для традиционной (в литературной утопии) лекции, в которой устройство процветающего социума обрастает необходимыми подробностями. Остается важный вопрос: каким же образом произошел переход к такому укладу? И вот эту интригу автор делает несущим элементом своей истории. Обычно Идиатуллин склонен к ломаному (якобы естественному) языку и околичностям. Здесь — ничего подобного. «Это наша работа» — продуманный, стройный рассказ, написанный хоть и от первого лица, но чисто и ясно. Классический образец жанра.

Сальников в «Новом будущем» будто бы опять валяет дурака, и сначала это кажется смешным, но потом проникаешься нарисованной им картиной, от которой захватывает дух. На первый взгляд речь здесь идет о простых наших людях (которые еще и живут в коммуналке с общей кухней), только мозги им слегка проапгрейдили, так что стали доступны разные удобные функции: можно на ходу менять профили (субличности — бытовую, рабочую, дружескую, для флирта), или архивировать ненужное, или отправить свое настоящее «я» на хранение в облако. На последнем и погорел персонаж рассказа «Субчик», у которого пропала сначала отдельно хранимая основная личность (вместе с уничтоженным огнем дата-центром), а потом и ее резервная копия. Бывшая жена предлагает завалившийся у нее вариант, который она тайком сохранила, но персонаж сомневается — уж больно много было в той конфигурации всяких страданий. Проблема! Скоро, правда, выясняется, что тут не только бытовой киберпанк, но и русский народный трансгуманизм, потому что персонажи у Сальникова не просто люди, а какие-то уже сверхчеловеки, и дети у них с супервозможностями, и живут они не на Земле, а захватывают в космосе планету за планетой, сражаясь с космическими врагами. Но все эти обстоятельства мало-существенны и остаются на заднем плане, поскольку главное для них по-прежнему — пустяковые переживания и личные проблемы, которые никакими цифровыми манипуляциями не решишь. Такой вот добрый рассказ про грозное будущее.

Закрывающая сборник повесть Эдуарда Веркина «Крылья» написана вызывающе старомодно. Это фантастика о тайнах устройства Вселенной и романтике научного поиска с отчетливым духом начала шестидесятых годов. Сюжет выстроен вокруг новейшего течения мысли, способного открыть перед человечеством невиданные перспективы и в то же время опасного для основ мироздания. Уже много лет готовится глобальный эксперимент, должный либо поставить точку на этом направлении, либо открыть доступ ко всему космосу, однако новое осознание исходящей от эксперимента угрозы может привести к его запрету и к остановке работ. На этом философско-производственном конфликте основана драматургия рассказа, весьма минималистичного — он, в сущности, состоит из трех сцен с диалогами и фрагмента неких записок. Сама тематика, идея новой науки, продумана автором глубоко — это не первое его произведение о синхронистике и «потоке Юнга». Но фантастические идеи не главное, они лишь повод для

размышлений о возможностях познания и роли человека мира, в которых Веркин не только умело интригует читателя, но и поднимается до настоящей поэзии.

Очевидно, что три последних шедевра тоже обращены в минувшее. Утопия Идиатуллина с витающим над ней призраком вывернутой особым образом армейской дедовщины имеет прямо-таки античные черты. Детская фантазия Сальникова о сверхлюдях смешана с впечатлениями начинающего компьютерного пользователя. «Крылья» Веркина, начавшись как бодрая шестидесятническая НФ, под конец скатываются в какую-то ренессансную духовную алхимию, если не в оккультизм.

Будущего нет — вот главный вывод, который мы можем сделать, прочитав все двадцать шесть рассказов. Оно настолько темно, что, обращая к нему взгляд, мы видим лишь проекции своего прошлого.

Другое обобщение можно сделать, изучая типологию авторских ответов на предложение составителей (практика подобных тематических антологий в последнее десятилетие стала распространенной). Редко кто пользуется таким вызовом как возможностью создать нечто новое и значительное. Задача большинства участников — не обидеть организаторов отказом (другой раз могут не предложить) и не дать читателям забыть о себе. Впрочем, и сам я написал этот обзор ровно по этим же причинам.



Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ

ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ И ВТОРАЯ КНИГА

*О книге Павла Арсеньева
«Литература факта и проект литературного
позитивизма в Советском Союзе 1920-х годов»¹*

«Этюд по научно-технической истории литературы», как обозначает свое исследование автор, предлагает совершенно иной — свежий — и, безусловно, передовой взгляд на жанровые и технологические изменения культуры, вызванные общественно-политическим сдвигом октябрьской революции. Бытие здесь явно определяет сознание, начиная с обычного языка и заканчивая языками культуры, весьма зависимыми от того, что творилось в стране. «Как быть писателем и делать полезные вещи?» — вопрошает исследователь вслед за авангардистами, на себе ощущавшими колоссальный сдвиг не только творческих, но и бытовых потребностей. Виктор Шкловский, к примеру, считал, что писателю необходимо иметь вторую профессию — «не для того, чтобы не умирать с голода, а для того, чтобы писать литературные вещи. И эту, вторую профессию не должен забывать, а должен ею работать: он должен быть кузнецом, или врачом, или астрономом...»

Книга Павла Арсеньева, декларативно подхватывающая лозунг Сергея Третьякова, главного ее персонажа, — «Покончить с литературой!» — тоже ведь начинается с времен возникновения «дискурсивной инфраструктуры авангарда» (то есть самой возможности говорить, писать и думать как-то иначе, не так, как это было принято в традиционной культуре и классической литературе, которую Арсеньев обозначает как «парадигму литературного позитивизма», идущего еще от Белинского) и попыток строить литературу вне литературы, отталкиваясь от возможностей «новых носителей» — в первую очередь фотографии, фонографа и радио.

В центре весьма объемной и насыщенной непривычной культурной фактурой книги — фигура Сергея Третьякова, одного из центральных

¹ Арсеньев Павел. Литература факта и проект литературного позитивизма в Советском Союзе 1920-х годов. — Москва: «Новое литературное обозрение», 2023. — 552 с. (Научное приложение № CCLVII)



проводников в искусство тогдашних технологий, важнейшего из лефовцев и авангардистов, в основе работы которого была прежде всего действенность любого творческого акта. Так, Третьяков воспевал ежедневную газету, заменившую людям эпос в духе Толстого, создавал синтетические жанры (биоинтервью, путьфильмы, коллажи и травелоги, где главное место занимали фотоснимки), становясь зависимым от технологических новинок, позволяющих распространять «слово писателя» максимально широко, как это и было нужно социалистической отчизне. С другой стороны, Третьяков как никто зависел от быстро менявшейся политической конъюнктуры, от услуг радикальных экспериментаторов очень скоро отказались — для того, чтобы возвратить большевистское искусство в русло литературного позитивизма середины XIX века (о его истоках Павел Арсеньев пишет сейчас второй том своего очерка истории научно-технической стороны культурного процесса).

Итак, Арсеньев последовательно разбирает самые разные стороны деятельности Третьякова (работу в газетах и журналах, поездки в экзотические места и обустройство в колхозе, куда он вывез целую типографию; театральную работу с Мейерхольдом и Эйзенштейном, зарубежные лекции и контакты Третьякова с модернистами Германии и Франции, на которых выступления русских практиков производили шокирующее впечатление, попутно цепляя параллельные творческие прорывы экспрессионистов и сюрреалистов).

Кстати, именно эти части «Литературы факта», посвященные поездкам Третьякова в Европу, понравились мне более всего, особенно детально отслеженная автором связь сюрреализма с антропологией и социологией. Автору важно «анализировать сюрреализм как французскую версию литературного позитивизма, то есть особый вид художественной активности, находящийся в некоем отношении с естественными науками...» То есть важно перестать только наблюдать факты и начинать их переживать, как это уже произошло ранее в русском формализме.

Из-за всего этого методичного следования маршрутами Сергея Третьякова поначалу начинает казаться: главное, что интересует Арсеньева, — творческая биография творца, продвигающего самые актуальные технологические новинки на фоне меняющегося политического фона.

В отличие от подавляющего большинства авангардистов, скоро понявших, к чему идет дело в государстве рабочих и крестьян, Третьяков долгое время умудрялся «не замечать» консервативного поворота в сторону уже отработанных культурных пластов, за что, видимо, и заплатился арестом и скорым расстрелом.

Однако одна из последних глав монографии посвящена «литературе чрезвычайного положения» Варлама Шаламова — прямого наследника лефовцев и культурного авангарда по прямой. Отказ от личностного начала революционной поры в пользу фактологии («литературы факта высказывания», по Третьякову) как раз и оборачивается у Шаламова «новой прозой»:

Шаламов продолжает мыслить в лефовско-формалистских категориях, где всегда существует пропорция материала и конструкции, фактов и монтажа...

Технологическая революция, поддержанная литературой факта на формальном уровне, продолжается и во второй половине XX века (так, например, Арсеньев приводит цитаты об интересе Шаламова к кибернетике):

Тем самым, мы ставим перед собой невозможную задачу — вообразить, какой могла бы быть история авангарда, если бы он не стал историей, а продолжался как перманентная практика смещения границ между искусством и жизнью...

Павел Арсеньев создал сложную, многоуровневую книгу, почти до самого финала прикидывающуюся относительно традиционными (по форме) литературоведческими штудиями. За его размышлениями, петляющими вокруг одних и тех же тезисов и тем, но постоянно приходящих к каким-то неожиданным, перпендикулярным выводам, надо следить не отвлекаясь. Любое звено его аргументов, пропущенное по невнимательности, затуманивает общую картину поиска.

Из-за чего, к примеру, я бы порекомендовал читателю не сильно отвлекаться на избыточные примечания и комментарии, где подчас автор спорит сам с собой («...отметим в сноске, в необходимости которой мы сомневаемся...»), они сбивают общий накал размышлений. В них и без того слишком много неочевидного, как это порой и бывает в исследованиях, торящих новые пути и открывающих малоизученные области. Влияние техники на писательский (любой творческий) труд — тема важнейшая и для сегодняшнего дня особенно актуальная. Искусство меняется вслед за технологиями так же радикально, как и сама повседневная жизнь.

До сих пор, к примеру, толком не осмыслена массовая пересадка литераторов с печатной машинки за компьютер, изменивший структуру текста на самом что ни на есть атомарном уровне. Теперь же к этому, безусловно тектоническому, сдвигу в любой «творческой мастерской» добавляются еще и антропологические (да и какие угодно, от анатомических до социальных) последствия всеобщей интернетизации. Детально исследовать их в наглядности, которой Павел Арсеньев достигает в лучших главах своей книги, — важнейшая, насущнейшая задача, и мне жаль, что вместо того, чтобы обратить исследовательский пыл к синхронии, Павел Арсеньев решил в следующем томе своих исследований вернуться к литературному позитивизму времен «физиологических очерков» и критической деятельности Белинского.

Тем не менее в творческой смелости Арсеньеву все равно не откажешь. «Литература факта» и есть его «вторая книга», созданная в рамках «второй профессии». Он знал и знает, на что идет, ибо «сознательно допускаем (и даже призываем) упреки в неквалифицированности нашей квалификационной работы по истории литературы, в которой оказывается так мало анализа “собственно литературных текстов”...», поскольку самое важное здесь — не сами отдельные библиографические единицы,



но общий настрой эпохи, исподволь меняющий не только условия труда, но и форму бытования культурных объектов. Всей парадигмы ее. Проявлений не только внешних, но и внутренних.

Эта практика и предполагаемая на ее основе теория строго противостоят методу «анализа отдельных текстов» и требуют внимания скорее к пространственной логике **перехода** (жанровых и родовых границ искусства), **отхода** (от традиционных техник и новых медиа) и **выхода** (за пределы искусства в производственную практику)... (Выделения Арсеньева. — Д. Б.)

С помощью заимствований из других модернистских литератур (в первую очередь французской и немецкой), а также примера экстремальной фактографии Варлама Шаламова автор показывает непрерывность авангардных техник в российской культуре, которые будто бы и не прерывались никогда. Несмотря на все общественные и политические пертурбации. Поэтому для Арсеньева важнее всего не отдельные тексты и даже судьбы практиков и теоретиков авангарда, но общие тенденции развития «культурного строительства». Что, как кажется, и делает «Литературу факта» особенно современной. Это уже для нашей эпохи «обмолвки и черновики» могут показаться материей гораздо более существенной, нежели тиражи многомиллионных брошюр.

Поскольку эта тенденция, с одной стороны, была нацелена на распрямление практик искусства, а с другой стороны — может быть схвачена только методом материальной истории, в фокус которой попадают не столько единицы хранения художественного музея или литературного канона, сколько обмолвки и черновики, красноречивые даты и место публикаций и загадочный список соавторства, почти случайные фотографии и, наконец, повседневная реальность нашего героя и ее материальные атрибуты.

Если верить Арсеньеву, двигающемуся вслед своим главным героям (среди них упомянем Шкловского и Беньямина, Брехта и Бахтина), то именно нематериальное наследие авангардистов, словно бы все еще растворенное в ноосфере, продолжает подспудно влиять на становление нынешних творческих технологий. Того же новомодного автофикшна. Альтернативная история (то, что Вячеслав Пьецух некогда обозначил «ромматом», романтическим материализмом) — нормальный прием для беллетристического нарратива, но я впервые сталкиваюсь с примером филологической штудии, системно описывающей структуры несбывшихся последствий того, что давным-давно списано в музей.

Нас интересует не история искусства и литературы советских 1920-х, но определенная тенденция в ней, которая испытывает дефицит объектов, которые можно было бы в свое время купить и выставить, а сегодня изучать даже столь странную историю, как история советского авангарда.

Книга Павла Арсеньева — одна из самых странных и нелинейных монографий, вышедших в научной библиотеке «НЛО». Это какое-то головокружительное интеллектуальное путешествие в поля, занесенные избыточными знаниями, которые еще только следует систематизировать. И в этом, конечно же, автор явно следует за персонажами собственного



исследования, когда толком еще не знаешь, чем сердце успокоится и в каком странном месте обнаружишь себя на выходе из поездки.

Мы стремимся не столько соревноваться в градусе радикализма с героями исследования, сколько следовать тому теоретическому вектору, который двигал и их собственной практикой — разворачивалась ли она за письменным столом, в художественной мастерской, радиостудии или колхозной типографии...

В этом следовании теоретическому вектору Павел Арсеньев ближе всего подходит к практике французских сюрреалистов, создавших жанр «второй книги». Ну, это когда очередной антрополог возвращается из длительной экспедиции в Африку или в Амазонию, отчитывается перед научной общественностью конвенционально изложенными полевыми наблюдениями за автохтонами, тогда как для себя почти обязательно пишет «вторую книгу». В ней, поэтически и раскованно, вне научного формата и обязательных риторических фигур (вроде использования «мы» в ситуации личного высказывания) такие исследователи раздвигают границы собственно литературы. Французский авангард и высокий модерн обязаны жанру «второй книги» лучшими образцами своей интеллектуальной прозы.



Валерий КОПНИНОВ

УБРАТЬ ВСЕ ЛИШНЕЕ...

Штрихи к портрету художника Валентина Шипило

Живопись — это поэзия,
которую видят,
а поэзия — это живопись,
которую слышат.

Леонардо да Винчи

Взять и рассказать формально о художнике Валентине Ивановиче Шипило практически невозможно. Он и сам не из тех, кто стремится к форме в ущерб содержанию. Скорее наоборот. Не такие и его картины — они живут авторским восприятием жизни, они дышат, нужно только внимательно посмотреть на них, и вскоре вы тоже начинаете погружаться в эту жизнь и дышать с ними в такт. Собственно говоря, из человеческой сущности Валентина Ивановича, из его душевных качеств творчество и произрастает, равно как и художественная реализация. А человек он светлый, оттого наполнены светом миры Валентина Шипило — и малый мир мастерской, с отмеренными для работы квадратными метрами, и большой мир, что для художника тоже является мастерской, но без конца и края.

Светлы и его картины, даже если на холсте осень, как в пейзаже «Тучи», и треть пространства занимает перекопанный после уборки картошки огород, лоснящийся мокрым черноземом, а на две трети раскинулось небо, готовое то ли пролиться холодным дождем, то ли сыпануть снегом. И в такой картине сохранен внутренний свет, а носители его — люди, несмотря на то, что в композиции людей нет, но их присутствие (и понимание — какие они, пусть эти люди всего лишь заявлены художником и в какой-то степени домыслены зрителем) чувствуется и в прибранной с огорода ботве, и в перекопанной земле, и в свежих латках на крыше, и в потемневших от времени досках забора.

— Вот эти домики деревенские мне очень дороги, такие простые. Они меня больше привлекают, чем небоскребы одинаковые городские... — признаётся Валентин Шипило.

Человек в своем земном предназначении — его великая значимость и одновременно его житейская простота — это одна из тем



художника. И в этом тоже его мировоззрение, отношение к жизни. К примеру, есть один этюд у Валентина Ивановича — «подготовительный материал», как он называет такие работы, на нем изображено одинокое дерево, раскинувшее обширную крону над стареньким домиком, что композиционно дает ощущение тех самых значимости и простоты. Мы видим, что дом пустой, в нем больше нет хозяина. И холст... Трудно представить, не видя, но холст тихо и обреченно тоскует, излучая это щемящее чувство. Мотивом для этюда послужила история о том, что когда-то в этом доме жил ветеран Великой Отечественной войны, проживавший здесь один до самого своего смертного часа. Дом словно осиротел, пережив хозяина. Услышав об этом от местных жителей, Валентин Иванович перенес свои сильные впечатления на холст. Можно не знать мотив художника, но щемящее чувство пустоты в покинутом доме, переход его — хранителя тепла и семейного очага, защитника от ветров и дождей, кровя над головой — в нежилое качество после смерти человека, отзывается глубоко в сердце. И это заставляет задуматься о цене памяти, которую человек оставляет после себя.

— Я помню, меня с детства влекло к рисованию, — просто, будто о чем-то само по себе сложившемся рассказывает Валентин Шипило о своем пути в профессию, на который он шагнул осознанно, с желанием, — и первой пробой пера были мои попытки срисовать родителей с фотографии. Какое-то время наша семья жила в Сибири в Томской области на разъезде 48 километр, там всего-то два барака стояло, а в школу мы, дети с разъезда, ходили в деревню. И у нас был преподаватель один — художник, он пытался нас чему-то научить, прямо как в художественной школе (ну тогда я этого, конечно, не знал) — спичечный коробок ставил, а мы его срисовывали. И вот как-то он сказал, показав на меня: «А вот из него что-то получится». Эти слова запали мне в душу... А потом, когда мы уехали в Семипалатинск, так совпало, что по соседству тоже художник жил. Тогда меня живопись уже как магия тянула и увлекала — как это так, он берет краску, раз-раз и у него получается лужа, получается небо. Для меня это было чем-то невероятным. Я тоже так хотел уметь. И к концу школы я почувствовал, что надо заниматься рисованием систематически и пришел в изостудию, год там прозанимался, писал этюды. Я очень любил акварель, так трудно было переходить на масло. Но потом я все-таки перешел, и теперь, наоборот, — уже трудно уйти от масляных красок, хотя возвращаюсь, пытаюсь что-то сделать акварелью. В целом изостудия мне многое дала, а мой педагог Сергей Нургазин сказал: «Тебе нужно поступать в училище». И я поступил во Фрунзенское художественное училище. Ну а там тем более понял, что я в свою струю попал, мне ничего больше не надо было — я только писал и писал этюды. В училище оказался очень хороший состав преподавателей, в основном с академическим образованием — кто закончил Репинку, кто Суриковский институт. Педагоги учили свободе, старались готовить художников. Программа,

конечно, соблюдалась, зато этюды... Не было беспросветного академизма, развивали в каждом свои индивидуальные способности. Художественное училище учит, и после него созревают художники, когда начинают реализовываться практически. В дальнейшем я поступил в Дальневосточный институт искусств и два года проучился, но, к сожалению, его не окончил... Горевал потом, но все-таки успел и там научиться многому...

Необходимо обратить внимание на слова Валентина Ивановича: «Я очень любил акварель, так трудно было потом переходить на масло...» И это признание тоже ляжет важным кирпичиком в определенную приверженность художника к импрессионизму. Манера работы Валентина Шипило с масляными красками — без нажима и густоты (как будто в один слой), — безусловно, носит на себе отпечаток легкости, неуловимости, словом, некой акварельности. Размытость, воздушность и внутреннее свечение фактур, как бы нивелирует конкретику мазка, наполняя почти на молекулярном уровне картину воздухом и светом.

Весьма показательны в их «скрытой» акварельности пейзажи Горного Алтая. Сразу стоит заметить, что пейзажи в творчестве Валентина Шипило занимают особое место. У художника с природой своеобразные отношения.

— Природа и правда всегда готова позировать, — делится сокровенным опытом Валентин Иванович. — Только меняет состояние, и вот его необходимо уловить. Она ждет, зовет: «Я вот она, я такая красивая, пиши меня...» И я думаю, природа всегда благодарна художнику за то, что художник сумел разглядеть ее красу — зимнюю, летнюю, осеннюю, сумел услышать поэзию природы... «В багрец и золото одетые леса...» Природу нужно понять. Она очень этого хочет. Следует небезразлично к ней отнестись.

Этюдов и завершенных пейзажей Горного Алтая у Валентина Шипило довольно много — «Долина реки Чуи», «Жеребёнок», «Воздух Алтая»...

Стоп! Внимание невольно останавливается уже на названии картины — «Воздух Алтая». Как так — воздух? Можно ли его написать красками?

Оказывается, можно! Просто (разумеется, это фигура речи — на самом деле не просто) масляными красками, точно найденным цветом, тонами цвета, полутонами. И филигранно выверенной (а может, уловленной интуитивно) композицией. В картине воздух действительно ощутим: все его физические качества, все оттенки — кружащий голову воздух высоты, пьянящий воздух наполненный ароматом лиственных и хвойных деревьев, холодящий воздух камней в ущелье и жаркий от камней прогретых солнцем, пряный от земли... На этих ощутимых, видимых глазом слоях воздуха построена перспектива картины. А еще — на смешанных между собой (взаимодействующих, меняющихся, движущихся) слоях воздуха, что верхней частью уходят в бесконечность неба, а нижней частью





невесомо опираются на три хрупких фигурки — девочки, мальчика и собаки. Оказывается, не только атланты способны держать небо «на каменных плечах».

— Иногда хочется цветом поиграть, — рассказывает о работе над картиной «Воздух Алтая» Валентин Иванович, — ну раз к цвету тянет, а в нем столько возможностей, над ним можно работать, кажется, всю жизнь... Вот картина — и здесь, на вершинах гор, эти краски, и здесь, на равнине у подножия, эти же краски, а когда отойдешь, все равно перспектива чувствуется, а дети всю композицию завершают... С небом очень долго работал, нужно было показать воздух...

«Нужно было показать воздух» — слова, сказанные легко, по-детски непосредственно, словно нет ничего невозможного для человека, искренне увлеченного делом.

Нужно было показать воздух — и удалось! И удалось не только в картине «Воздух Алтая». А кроме воздуха, в последующих работах требовалось показать реку, облака...

— Как-то раз на выставке, — с улыбкой вспоминает Валентин Иванович, — подходит ко мне одна девушка и говорит: «Я живу в Голландии, вы мне объясните, пожалуйста, а как вы написали облака?» Я отвечаю: «Разве я могу объяснить за пять минут? Я сорок с лишним лет этим занимаюсь...» Ну, конечно, что-то пытался там рассказать. А на самом деле все это на интуиции, на чувствах, и сколько с ними возни было с этими облаками. И она состоялась, эта работа...

К слову сказать, Алтай всегда присутствовал в жизни Валентина Шипило, и несмотря на то, что перебрался на Алтай Валентин Иванович только в 2007 году, с этой землей он связан с рождения.

— У меня и мама, и жена с Алтая, — рассказывает художник. — Я и раньше часто бывал на Алтае. И хотя детские годы прошли в Томской области, мне всегда нравился Алтай. И мне многие говорят, что здесь, на Алтае, я как художник раскрепостился. Может, это просто из-за взросления живопись стала более солнечной, не знаю. Мама все время вспоминала, что, когда отец впервые приехал на Алтай, он удивился: «Да что вы отсюда уехали? Это же чудо, сказка! А природа какая!» Я потом, когда приезжал сюда, всегда брал этюдник. И много писал. Столько здесь простора, столько воздуха. Хотя, как говорят, если у живописца глаз поставлен, он красоту везде найдет. Жена смотрит в окно и говорит: «Ну до того грязно, кругом лужи...» А я ей: «Ты посмотри, какие они живописные!»

И действительно, можно сравнить работы, сделанные в Семипалатинске и здесь, на Алтае. Они отличаются. Алтайские более светлые. Впрочем, сам Валентин Иванович считает, что в разной местности — взять те же горы — разная выразительность, разная поэзия. На умение видеть (и в увиденном услышать) своеобразие поэзии гор его вдохновил еще в давние годы учебы во Фрунзенском художественном училище народный художник Киргизии Семен Афанасьевич Чуйков. Тогда — один из самых любимых художников Валентина Ивановича.

— Пейзажная живопись, — убежден Валентин Иванович, — это когда ты о природе говоришь как о человеке.

Именно таковы пейзажи Валентина Шипило — они глубоки и сложны и вместе с тем естественны и покойны, стало быть, человечны. В них заложена упомянутая великая значимость и житейская простота. Взять, к примеру, картину «Обские просторы» (ту самую, что заинтересовала девушку из Голландии волшебными написанными облаками) — на холсте земля, слитая воедино с проточившей русло Обью, и небо с облаками, в которых нет бессмысленной покорности ветру, что обычно несет их по своей ветреной прихоти неведомо куда. Облака также не завеса, прикрывающая бездонный и безжизненный космос — холодный антипод Земли. Облака — душа человека с ее и безмерной благостью, и бесконечной тоской, а Земля — его тело, которое укоренилось предками и прирастает потомками. И вроде две разные стихии — Земля и Небо, тело и душа, но неразрывные, друг без друга не существующие. А еще можно увидеть в этой картине и особую дань неповторимому характеру сибиряка, что твердо стоит на земле, но головой упирается в небо, умело сочетая в себе упорядоченность и основательность с неистребимой жаждой простора и воли. Возможно, облака и получились такими (непонятно как созданными рукою человека), потому что художник писал образ, проецируя в этот образ всю глубину и объем души человеческой.

— Живописцем нужно родиться, — утверждает Валентин Иванович. — Я наблюдал за художниками, и если они не живописцы, то пусть даже четыре академии закончат, живописцами так и не станут. Рисунку можно научить, а вот насчет живописи — что-то такое существует, чему не научишь. Я лично доволен тем, что я чувствую цвет, он захватывает. Для меня важное в живописи — это колорит. Колорит — это и есть живопись, собственно. То есть как в музыке, если вылетает неверный звук, сразу слышно, что звук фальшивый. А в живописи не каждый это замечает. Но если живопись музыкальна и нет в ней фальшивых тонов, человек смотрит на картину, и она его трогает. Значит, не соврал художник. У нас много художников, хорошо чувствующих цвет: Андрусенко, Гнилицкий, Красикова... У нас много хороших художников...

— Валентин Шипило любит цвет, — полностью подтверждает признание Валентина Ивановича член Союза художников России Наталья Красикова. — Источник его вдохновения — цветовая роскошь природы, ее бесконечно разнообразные состояния, настроения, которые волнуют художника и открывают возможность для поиска новых и новых впечатлений. Его занимает сам процесс создания картины, едва уловимые цветовые вибрации, нередко уводящие за пределы формы, приближающие изображение к абстракции. Это образы, рожденные цветовой атмосферой, чувствами, эмоцией, легкостью и свободой живописного воплощения.

Надо признать, что иногда в работах Валентина Ивановича цвет словно прорывает своей внутренней силой запруды отведенных



замыслом рамок и берет верх над общепринятым чувством меры, подчиняя себе руку и кисть художника в их колористической щедрости.

Таков натюрморт «Подарок сентября».

— Вот, — рассказывает В. Шипило, — в трех кувшинах букетище — захотел написать и написал. Один хороший художник, Юрий Чулюков, сделал замечание: «Ты переборщил, перегрузил немножко. Слишком ярко». Он привык в другой гамме работать. Я говорю: «Да? А я считаю, что не перегрузил. Я захотел так сделать. Вот цвет, если он так есть, я его должен белить? Здесь такое состояние...»

Здесь такое состояние — точнее и не скажешь!

Но — не цветом единым...

Уже зная, что Валентин Иванович в своем творчестве о природе говорит как о человеке, хочется проследить логику художника — тогда как он говорит о самом человеке? Человек для него — тайна, в полном согласии с классиком. Восемнадцатилетний Федор Достоевский писал брату: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». И каждый портрет работы художника — это если не полная разгадка тайны человека (чем глубже содержание личности, тем сложнее раскрыть его полностью), то в любом случае открытие одной из граней его характера, его души.

В жанре портрета показательна работа Валентина Шипило «Маршрут детства». Хотя это и не совсем портрет — в картине более сложный образный ряд, и вместе с тем в ней сюжет строится на личности конкретного человека — товарище Валентина Ивановича, скульпторе Евгении Павлове. На картине «Маршрут детства» изображен человек в достаточно зрелом возрасте, что сидит в трамвае у окна. Он сдержан, задумчив. В его позе еще не читается возрастная усталость, но уже явно угадывается желание (и необходимость) экономить энергию, не тратиться попусту. А за окном проплывает город, вероятно знакомый ему с раннего детства. И мы отчетливо видим, как детство, сшитое из ярких воспоминаний, словно бабушкино лоскутное одеяло, просвечивает сквозь современность. Оно есть и... И его нет. Его нет — и оно есть! Композиционно вектор трамвая направлен вверх, а вектор города вниз — настоящее и прошлое уже не пересекутся никогда. Оттого светлой печалью наполнены небесно-синие глаза едущего в трамвае человека. Вот такая в нем тайна.

— Всё в глазах у человека, — говорит о картине «Маршрут детства» Валентин Шипило, — а остальное должно легко подчиниться этим глазам. Глаза — зеркало души. А Женя пришел и мне попозировал, как говорится, сложилась идея, немножко обостренно получилось, все лишнее убиралось, это он, узнаваем, но немножко с настроением...

Человек, человеку, о человеке. Снова и снова убеждаешься, что во главе угла творчества Валентина Шипило находится именно человек. Даже если он не виден в пейзаже деревенском или в пейзаже городском.

— Городской пейзаж, — рассуждает художник, — это не просто стены, бетон, стекло... Там дома́, а в домах люди. Жизнь, живое... И к городскому дому, более близкому, чем деревенский домик, надо свой подход найти, там тоже своя динамика имеется. И красота. Есть у меня картина «Город», я ее не считаю законченной, все пытаюсь город уловить, его настроение почувствовать, пока еще не совсем то получается. Но думаю, что я близко. Как живет город, даже словами не всегда объяснишь. Это надо почувствовать, это надо увидеть. Я картину «Город» выставял. Для чего? Если в работе зритель почувствовал то, что я хотел сказать — значит, получилось. Я всегда наблюдал и видел, что около этой работы люди стояли и мимо не проходили. Значит, что-то их останавливало. Город... Люди живут не на земле, а как бы между небом и землей. И это требует более объемной выразительности. Вроде бы город немыслим без машин, а к машинам у меня нет особой любви, и поэтому я здесь ограничился трамваем. И в этом трамвае свой смысл. И в утре раннем, и в том, что ты в панораме видишь полгорода одновременно, и что открывается такое особое пространство, и оно манит... Работа не закончена, но она будет закончена. Хотя иногда меня незаконченность захватывает. Однажды молодой искусствовед Виталий Одинцов сказал мне: «Валентин Иванович, а вы знаете, что незаконченные работы, это как раз ваше!» Я и сам чувствую, но мера все равно какая-то нужна, хотя не люблю работы, где всё-всё-всё разжевано и еще написано-нарисовано как на фотографии. Хочется от такой «подлинности» отойти, убирая все лишнее...

Нет, неслучайно Валентин Шипило употребляет формулу *убрать все лишнее*, ведь умение убирать все лишнее — очень важное, краеугольное, и, если художник приходит к пониманию этого, значит, все хорошо с ним. Он идет в правильном направлении. В нужном направлении.

Вот что говорил об умении «убрать все лишнее» великий Илья Репин: «Сначала художник рисует плохо и просто. Потом сложно и плохо. Потом сложно и хорошо. И только потом — просто и хорошо».

— Так вот, до этой простоты тоже нужно дойти, — поясняет Валентин Иванович. — И когда доходишь, начинаешь лишнее отбрасывать. Лишнего очень много — нужно увидеть это и отбросить. И все время трудиться и трудиться, чтобы не стоять на месте, чтобы не откатиться назад...

«*Все время трудиться и трудиться*» — не просто слова, сказанные для красоты слога. Коллеги и друзья знают Валентина Шипило именно таким.

— Валентин — человек, для которого живопись неотъемлемая часть его бытия, — свидетельствует друг и единомышленник художник Виталий Борисов. — Все свободное время он пишет. Портреты, пейзажи, цветочные натюрморты. Он использует любую возможность для того, чтобы написать этюд. В том числе и в отпуске, этюдник всегда с ним. Так появилась серия турецких этюдов, кипрских, питерских.



Самым ценным для Валентина в живописи является цвет. Именно через цветовое видение он трансформирует видимое, создавая свои работы. Мне не раз приходилось быть свидетелем того, как Валентин Иванович приходил в восторг от красоты окружающего мира, от цвета, присущего миру. Восторг — чисто детский, искренний, ничем не замутненный. Я уверен, что все творчество Валентина — попытка поделиться этим восторгом со зрителем.

И еще один штрих к портрету художника, вернее сказать — к его автопортрету.

— Что такое труд художника? — размышляет Валентин Иванович. — Это когда каждый делает свой кирпичик и вкладывает его в общее здание, я так думаю. Одну из своих картин — «Тишина», я подарил в город Углич, в картинную галерею женского монастыря. Мой товарищ (мы вместе учились когда-то) — Николай Давыдов, он академик, впрочем, это неважно, главное, что он художник, который болеет за дело, — предложил помочь галерее. И многие художники помогли. В том числе и я. Свернул картину в трубочку и отправил, а там Давыдов натянул ее на подрамник — теперь висит. Настоятельница матушка Ольга очень довольна. Лично позвонила и поблагодарила. И это приятно.



АВТОРЫ НОМЕРА

Бабанская Алена родилась в городе Кашире. Окончила филологический факультет Московского педагогического государственного университета. Публиковалась в журналах «Арион», «День и ночь», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Волга», «Сибирские огни» и др. Автор пяти книг стихов. Живет в Москве.

Бавильский Дмитрий Владимирович родился в 1969 г. в Челябинске. Писатель, литературовед, литературный и музыкальный критик, журналист. Окончил Челябинский государственный университет, аспирантуру при ЧелГУ по специальности «зарубежная литература». Занимал различные должности в региональных и федеральных периодических и сетевых изданиях. Работает на стыке литературы и эссеистики. Член Союза российских писателей. Действительный член Академии русской современной словесности. Живет и работает в Москве и в Челябинске.

Гербер Денис Владимирович родился в 1977 г. в Ангарске. Окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Писатель, журналист, радиоведущий. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Сибирские огни», «Новый берег», «Сибирь», «Традиции и авангард» и др. Автор трех романов, лауреат ряда литературных премий. Член Союза писателей России. Живет в Ангарске.

Иванченко Валерий Георгиевич родился в 1963 г. в Магадане. Окончил исторический факультет Алтайского государственного университета. Работал обозревателем газеты «Книжная витрина». Член жюри и номинатор литературной премии «Новые горизонты». Лауреат премии «Сибирских огней» за 2023 год. Живет в Барнауле.

Копнинов Валерий Павлович родился в 1963 г. в Барнауле. Окончил Алтайский институт культуры и ГИТИС. Автор книг «Сукины дети», «Двенадцать затмений луны», «День чистой воды». Публиковался в журналах «Север», «Огни Кузбасса», «Сибирские огни». Работает режиссером телевидения. Член Союза писателей России и Союза театральных деятелей РФ. Живет в Барнауле.

Мазуренко Матвей Владимирович родился в 1972 г. в Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Окончил физико-технический факультет НГТУ, инженер-физик. Работал трактористом, комбайнером, байером бутика итальянской одежды, директором химчистки. Публиковался в «Сибирских огнях». Автор

фантастического романа «Пока летит апельсин», вышедшего в Нью-Йорке. Живет в Новосибирске.

Максимов Сергей Григорьевич родился в 1959 г. в Анжеро-Судженске Кемеровской области. Окончил Кемеровский государственный институт культуры по специальности «режиссура театра». Член Союза писателей России. Поэт, прозаик, режиссер, музыкант. Автор исторических романов «След грифона», «Путь грифона» и др., сборников стихов и песен «Концерт без заявок», «Образ жизни», «Почерк». Публиковался в журналах «Наш современник», «Сибирские Афины», «Огни Кузбасса», «Начало века», альманахе «Сибирская старина». Живет и работает в Томске.

Николайцев Тимофей Вячеславович родился в 1974 г. в Петропавловске-Камчатском. Получил высшее образование. Работал вахтовым методом в северных регионах, после жил и работал в Новосибирске. Поэт, писатель-фантаст. Публиковался в периодических изданиях, в том числе в журнале «Сибирские огни», несколько раз номинировался на литературные премии. В настоящее время проживает на севере Крыма, в Армянске.

Охотникова Вера Александровна родилась в 1953 г. в селе Коптелово Алапаевского района Свердловской области. Работает преподавателем рисунка и живописи в детской школе искусств. Публиковалась в журналах «Урал», «Арион», «Южная звезда». Автор двух книг стихотворений. Живет в Верхнем Тагиле.

Пырков Иван Владимирович родился в 1972 г. в Ульяновске. Доктор филологических наук, профессор Саратовской государственной юридической академии. Автор двух книг поэзии, книги очерков о саратовских писателях и монографии, посвященной русской усадебной литературе XIX в. Лауреат премии имени И. А. Гончарова, лауреат просветительской премии «Знание». Живет в Саратове.

Черных Марина Вячеславовна родилась в 1990 г. в городе Новая Каховка Херсонской области. Окончила Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Прозаик. Живет в Курске.

Яковицкий Игорь Анатольевич родился в 1994 г. в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), инженер-проектировщик. Публиковался в журналах Edita и MuZa. Живет в Санкт-Петербурге.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 25, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 20.03.2024. Дата выхода № 4 за 2024 г. в свет 20.04.2024.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 11,78. Тираж 1500 экз.

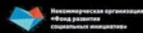
Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.



Валентин Шпило. Тишина. (2023)



Валентин Шпило. Обские просторы. (2014)



Общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева

3 приза
по 500 000 р.

в трёх
номинациях

- Длинная проза
- Короткая проза
- Проза для детей

Прием заявок
с 1 февраля
2024 года

18+



премияарсеньева.рф